

ДЮРЕР



Сотворенный
Зарюбацкий



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Annotation

Альбрехт Дюрер — крупнейший представитель немецкого Возрождения, величайший художник, чье искусство воздействовало на художников Германии и других стран Западной Европы. Борьба света и тьмы, разума и темных страстей — лейтмотив его творчества. Книга повествует о полной исканий жизни художника-ученого, протекавшей в бурное время широких народных движений в Германии, завершившихся Реформацией и Великой крестьянской войной.

- [ДЮРЕР](#)

-
- [ГЛАВА I,](#)
- [ГЛАВА II,](#)
- [ГЛАВА III,](#)
- [ГЛАВА IV,](#)
- [ГЛАВА V,](#)
- [ГЛАВА VI,](#)
- [ГЛАВА VII,](#)
- [ГЛАВА VII,](#)
- [ГЛАВА IX,](#)
- [ГЛАВА X,](#)
- [ГЛАВА XI,](#)
- [ЭПИЛОГ,](#)
- [Основные даты жизни и деятельности Альбрехта Дюрера](#)

- [notes](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
-

ДЮРЕР

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ АЛЬБРЕХТА ДЮРЕРА, НЮРНБЕРГСКОГО
МАСТЕРА,

ПОВЕСТВОВАНИЕ О ВРЕМЕНИ, В КОТОРОМ ОН ЖИЛ, И
ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ ЕГО ОКРУЖАЛИ,

О ЕГО МНОГОТРУДНЫХ ПОИСКАХ КРАСОТЫ, ГОРЕСТЯХ И
РАДОСТЯХ,

О СМЕРТИ ХУДОЖНИКА И БЕССМЕРТИИ ЕГО ТРУДА

ГЛАВА I,

в которой рассказывается о том, как определилась судьба Альбрехта Дюрера-младшего, как был он отдан в учение к художнику Михаэлю Вольгемуту и как впервые он задумался над тем, что же такое красота.

В тот день у Альбрехта Дюрера, нюрнбергского золотых дел мастера, не работали, ибо крестный его третьего по счету сына, тоже Альбрехта, печатник Антон Кобергер пригласил хозяина вместе с супругой отобедать у него. Глядя на счастливые физиономии своих подмастерьев и учеников, беззаботно предававшихся безделью, мастер Альбрехт с утра был не в духе: чему здесь радоваться, ведь, чтобы наверстать упущенное, завтра придется приналечь основательно.

Послушать его, так выходило, что приглашение кума ему в тягость. На самом же деле был он на седьмом небе от оказанной ему чести. Кобергер-то не захудалый ремесленник, не последняя спица в колесе. Слава его вышла за пределы Нюрнберга. Даже патриции не гнушаются сидеть за его столом. Заранее проведал Дюрер: будет у кума Имхоф. Значит, предоставлялась ему благоприятная возможность попробовать уговорить патрицию стать крестным отцом его следующего ребенка, который должен был появиться на свет к пасхе.

Об этой страсти золотых дел мастера подыскивать для своих детей покровителей из богатых да знатных было широко известно в городе. Видели и то, что работает Дюрер день и ночь не покладая рук с одной целью — разбогатеть, подняться выше, ослабить оковы, ограничивающие свободу ремесленника. Правда, мастер о своих мыслях и планах предпочитал не распространяться, поэтому многие его коллеги считали его человеком себе на уме, скрытным и хитрым, с которым нужно было держать ухо востро. Уж не собирается ли он пролезть в общество патрициев? А что, с него станет! Но, задав себе этот вопрос, потешались над его нелепостью: скорее побегут воды Пегница вспять и падут нюрнбергские крепостные стены, чем подобное случится.

Дело в том, что те сорок патрицианских семей, которые испокон веков управляли Нюрнбергом, с недавних пор еще ревностнее стали охранять свои привилегии. Время было не, такое, чтобы расслабляться и отпускать узду. Привычное и устоявшееся теряло прочность на глазах. Хозяева города врожденным инстинктом политиков чувствовали это. Призрак 1348 года, когда ремесленники изгнали из города патрициев и создали из своих

представителей новый городской совет, вдруг уплотнился и стал обретать более реальные контуры. Если бы только ювелир Дюрер стремился к богатству и власти! А то, пока что, правда, вполголоса, стали намекать о своих претензиях не в меру разбогатевшие владельцы оружейных мастерских и железоплавильен, хозяева текстильных мануфактур, менялы и ростовщики, совладельцы серебряных рудников, купцы, державшие в своих цепких руках торговлю чуть ли не со всем известным миром. Как удавалось им обходить существующие законы, предписывавшие иметь в мастерских не, более трех учеников и подмастерьев, — одному богу известно. На Кобергера, к слову, работало более сорока человек, и это сходило ему с рук. Патриции напоминали чуть ли не ежедневно, что согласно запрету Карла IV, примерно наказавшего в 1349 году взбунтовавшуюся нюрнбергскую чернь, ремесленнические цехи не должны заниматься политической деятельностью. Но все эти напоминания повисали в воздухе. Деньги давали силу, хотя в соответствии со стародавними нюрнбергскими законами ходили до сих пор новоявленные богачи в домотканой одежде, их супруги не надевали золотых колец и браслетов и не оскорбляли своим присутствием балы и танцевальные вечера в городской ратуше.

Внешне, однако, все выглядело спокойно. И вроде бы никто из разбогатевших не рвался к власти. Но, как поговаривали умудренные опытом мастера-оружейники, достигла жизнь того изгиба, когда вот-вот все должно было сломаться.

Об этом усиленно думали в Малом совете, или иначе Совете сорока, вершившем судьбы города и состоявшем только из представителей сорока патрицианских семей. Они тщательно отгораживались от нюрнбергского плебса и выталкивали из своей среды тех, кто разорился, кто не мог сохранить и приумножить свое состояние. Так что и здесь деньги давали власть. Иначе и нельзя: Совет сорока — это недремлющее око, оно постоянно должно держать в поле зрения всех этих ремесленников. Чтобы как-то успокоить их недовольство нюрнбергскими порядками, было принято решение определить восемь наиболее зажиточных мастеров. Один из них время от времени получал голос и место в совете, но не право выступать от имени своего цеха. Другой отдушиной был Большой совет, куда назначались двести представителей разных сословий, получавших титул «назначенного» или «уполномоченного». Полномочия, однако, были куцые — выступать в качестве свидетелей в городском суде, заверять нотариальные акты и присутствовать при выборах членов Малого совета. Большой совет не заседал регулярно, а созывался по воле и желанию

Малого.

Итак, думали в Малом совете о все явственнее вырисовывающихся и, по-видимому, неизбежных переменах. Ломали голову, пытаясь дойти до корней происходящего. И все отчетливее стали звучать в совете голоса: не столь велика опасность, исходящая от разбогатевших ремесленников, они, мол, основ существования не тронут, от них можно откупиться — слава богу, за несколько веков поднаторели в этом. Опасность же несут пришельцы, осаждающие город. Кто они? Да ведь этот трудовой люд, который влекут к себе нюрнбергские мастерские, разорившиеся крестьяне, оказавшиеся ненужными в деревне, ибо разведение овец и расширение помещичьих посевов конопли и льна стогнали их с земель. Жить им было не на что — те же патриции и церковь отбирали у них все в виде податей с зерна, овощей, скота, с права пользования рыбными ловлями и собирания хвороста в лесах. Вот уж эти-то не разбогатеют и не успокоятся. Доходили до Нюрнберга слухи о мятежах в других немецких землях. И снова думали патриции. Пока эта напасть обошла стороной их город. А милость господня, как известно, не безгранична.

Совет сорока всегда тщательно ограждал Нюрнберг от пришлых. Даже отпрыск патриция, не родившийся в городе, не мог с уверенностью рассчитывать, что он когда-либо займет место в Совете сорока. О других и говорить не стоило. Древний закон был строг: чужим не место среди нюрнбержцев! Правда, в последнее время и здесь все изменилось. Отправлялись горожане в чужие земли, привозили оттуда жен и детей. И опять же — это бы куда ни шло, но привозили они с собою и новые веяния, новые взгляды на жизнь, новые методы. Потянулись, наслушавшись их рассказней, молодые люди в Венецию, Флоренцию, Рим, Париж и кто его ведает, еще куда. Будто дырявое сито, стали нюрнбергские городские ворота: пропускали всех подряд, даже тех, кто еще десяток лет тому назад не рискнул бы подойти близко к стенам Нюрнберга. Видимо, достигала жизнь действительно критического изгиба, и уже рвались и ломались вековые законы и традиции.

Да, строги когда-то были нюрнбергские законы и обычаи. На себе испытал их золотых дел мастер Альбрехт Дюрер. Родившись в мадьярских землях, в местечке Тюрен, много постраниствовал он по свету, по немецким и нидерландским краям, прежде чем в 1455 году пришел в славный город Нюрнберг, известный своими изделиями из металла, оружием, точными инструментами, книгопечатанием. А когда пришел, решил обосноваться здесь навсегда. Но не тут-то было. Вот тогда он и познал всю непреодолимую силу нюрнбергских законов. Согласно им давал город

гражданство лишь мастерам, и в то же время в самом городе нельзя было стать мастером, не будучи нюрнбергским гражданином. Чего не предпринимал Дюрер, чтобы разорвать этот круг, — даже сражался в рядах городских арбалетчиков против извечных врагов Нюрнберга — рыцарей Ганса и Франца Вальденфельсов. Не помогло. Упрямылась судьба, да не на такого напала. Было Дюреру уже под сорок, когда он попал в Штепсельгассе, в дом Иеронима Хольпера, золотых дел мастера.

Там Альбрехт Дюрер увидел пятнадцатилетнюю дочь Хольпера Барбару, красивую, цветущую, стройную. И отцу новый подмастерье понравился — прилежен, благочестив, рачителен. 1 апреля 1467 года Хольпер, не поскупясь на обильные подношения кому следует, добился от совета невиданного доселе решения: Альбрехт Дюрер стал контролером за качеством серебра и золота во всех нюрнбергских мастерских, хотя не был он еще ни мастером, ни гражданином Нюрнберга. Хольперовы гульдены пересилили городские регламенты. А 8 июня того же года сочетался Альбрехт Дюрер законным браком с девицей Барбарой Хольпер. Если беда не приходит одна, то, как убедился вскоре Альбрехт Дюрер, и счастье тоже не любит гулять в одиночку. Через год получил он звание мастера, и теперь ничто не препятствовало ему стать полноправным гражданином Нюрнберга.

Спустя три года после свадьбы перебрался он с молодой женой от тестя во флигель дома, принадлежавшего патрицию Пиркгеймеру.

Здесь 21 мая 1471 года от рождества Христова, когда над Пегницем отцветали яблоневые сады, а в застоявшемся городском воздухе явственно ощущался запах молодой зелени, родился у них сын, которого в честь отца окрестили Альбрехтом.

К тому времени успели Дюреры похоронить двух своих отпрысков. Всю отцовскую любовь отдал мастер Альбрехт этому третьему ребенку, молил бога, чтобы он уберег его, ибо смерть, как кажется, облюбовала их дом. Не ведающая жалости, бродила она и после рождения Альбрехта по всем закоулкам, склонялась над колыбелями. Ушли туда, откуда нет возврата, дочери Барбара, две Агнесы, Маргарита, Урсула и Катерина. Проводили на кладбище и сыновей — Иоганна, Зебальда, Иеронима, Антона, Петера... Ничто не помогло — ни обеты, ни знатные крестные. Каждый год, девятнадцать лет подряд, рожала Барбара по ребенку, но, видимо, не было суждено приумножиться дюреровскому роду. Лишь Альбрехт-младший подрастал всем смертям назло, и до поры до времени щадил господь двух его братьев и сестру.

Нет, не лез мастер Дюрер в патриции, но плоды трудов своих пожинал

аккуратно. В 1475 году приобрел он за двести гульденов у Конца Линтнера собственный дом на углу Кузнечного переуллка, у самого подножия крепости-бурга, где предпочитали селиться преуспевающие ремесленники. Только вот когда рассматривал купчую, скрепленную печатью имперского города, вставал перед глазами истинный владелец усадьбы — золотых дел мастер Петер Крафт, не смогший уплатить долги Линтнеру. Дюреру пришлось подписать заемное письмо на сто гульденов и, кроме того, обязаться выплачивать в течение неопределенного времени проценты — «вечные деньги» — по четыре гульдена ежегодно. Влез в кабалу. Через пять лет новые расходы: снял в аренду лавку напротив ратуши, тоже ради престижа — получить в этом торговом ряду место значило сказать всему городу о своем преуспевании. Ох, сколь мудры были отцы города, записавшие в законах: всякое украшательство — ремесленнику во вред и разорение! Как вол трудился теперь Альбрехт Дюрер, а его подмастерья и ученики так и вовсе работали от зари до зари. По нюрнбергским предписаниям не мог он держать больше трех подмастерьев. Но совет смотрел сквозь пальцы, когда в мастерской работали члены семьи ремесленника. И пришлось поэтому Альбрехту-младшему расстаться с латинской школой, где проучился он всего два года.

Однако нужно было искать еще и побочных доходов. В 1481 году стал мастер пайщиком золотого рудника в Гольдкронахе. Внес деньги, приобрел право на часть добычи и, если появится такое желание, на самостоятельную разработку золотой жилы. Умные люди советовали: почему бы не воспользоваться привилегией, которая издавна была предоставлена ювелирам, — подрабатывать ростовщичеством? Ведь даже патриции иногда становились на бумаге золотых дел мастерами, чтобы обладать таким правом. На соблазн мастер не поддался, ибо твердо памятовал, что некогда изгнал Христос менял из своего храма.

За честность и трудолюбие Дюрера в Нюрнберге уважали, но иногда поражал он знакомых своими странностями. Бывало, заговорит о собственном гербе и даже опишет его: распахнутая дверь стоит на вершине горы или на облаках. Дверь — понятно, ибо место, где он родился, называется «Тюрен», а это по-немецки и означает «дверь». Гора или облако — тоже несложно: вот, мол, до каких высот он добрался. Только на кой черт простому ювелиру герб? Но чаще всего из Дюрера слова не вытянешь — большим слыл молчальником. Может быть, потому, что так и не смог избавиться от своего мадьярского выговора. В трактиры, на удивление всем, он заглядывал нечасто. А где еще можно потолковать о делах, узнать новости? Воистину, странный человек! И в гости ходил крайне редко —

лишь тогда, когда требовалось заручиться поддержкой в каком-нибудь важном для себя деле.

Из близких друзей в городе у Дюрера был, пожалуй, только живший неподалеку крестный отец его сына, типограф Антон Кобергер, к которому мастер время от времени наведывался. Может быть, потому сошлись они, что были оба пришлыми в Нюрнберге. Антон обосновался здесь за год до рождения Альбрехта-младшего, будучи тогда золотых дел мастером. Решив, однако, что на этом много не заработаешь, продал свое дело и открыл печатный двор. И правильно сделал.

Кобергеру в практической сметке отказать было нельзя, и целей своих он добивался. Решил утереть нос всем на свете. Получилось: через пять лет книги его славились и по ту, и по эту сторону Альп. Печатал их Антон множество, вместе с купеческими караванами отправлял почти во все немецкие, да и не только немецкие, города. Разбогател.

А вот с непосредственными соседями не мог Дюрер найти общий язык. С живописцем Михаэлем Вольгемутом почти не знался, так как вбил себе в голову, что художник сманивает у него сына. И впрямь — парень целыми днями торчит в его мастерской, дома же вся работа стоит. Куда бы ни шло, если бы сын действительно постигал там ремесло, а то только краски растирает да болтает без умолку. Если уж говорить откровенно, то недолюбливал Дюрер «мазил», стоявших в его глазах на ступень ниже ювелиров. После нескольких ссор перестал Михаэль пускать к себе юного Альбрехта. Сегодня же опять застал Дюрер-отец своего сына за беседой с вольгемутовскими подмастерьями. В наказание велел ему весь день сидеть в мастерской и никуда не отлучаться.

С другим соседом, Шеделем, Дюреру нечего было делить. Просто невзлюбил его, и все тут, хотя, как говорили в городе, это был большого ума человек. Может, оно и так, но вежливости тоже не мешало бы занять. Пройдет мимо — даже не кивнет. Слышал Дюрер, что Шедель пишет какую-то историю, начиная ее от сотворения мира, а заканчивая бог весть чем, и вроде бы знает наизусть труды древних греков и латинян. Вот это особенно настораживало мастера против Шеделя: занимался бы лучше Священным писанием, а не трудами каких-то язычников. И пусть не убеждают его, что и отцы церкви штудировали Аристотеля. Тоже сравнили! Отцы церкви — и книгочей Шедель!

Наконец отец с матерью ушли, и сразу все затихло. Погружаясь в ночной сон, переходил дом во власть жутких скрипов и шорохов. Страшно. От старших Альбрехт знал, что это не находят покоя души некогда живших

здесь людей. А тут еще свеча еле-еле освещает большую мастерскую, будто стоящее на отцовском верстаке венецианское зеркало впитывает весь ее свет. Магическое стекло так и притягивает...

К зеркалу отец строжайше запретил не только притрагиваться, но даже подходить близко. Его принесли днем от патриция Имхофа. Заказал патриций для него серебряную раму. Сказали, что это — подарок Имхофовой невестке из Венеции, что стоит оно очень много, так как сделано известным мастером, единственным из тех, кто обладает всеми тайнами обработки стекла.

Нельзя, однако, весь вечер любоваться собой в зеркале. Дернул дверцы отцовского шкафа — неожиданно для него они оказались открытыми. Это было уже счастьем. За сборами в гости забыл старый мастер, как обычно, тщательно запереть его. Вот они — гравюры знаменитого мастера Шонгауэра. Не так уж часто доводилось Альбрехту любоваться ими. А теперь вдруг представилась такая возможность — более того, теперь можно даже попытаться скопировать их. Мадонна великого мастера чем-то неуловимым напоминает «монну Имхоф», такая же красивая. С нее и начал. Не получается — «нюрнбергская Венера» в десятки раз лучше. Все-таки неуловимая вещь красота и непонятная! Вот, например, отцу одни вещи нравятся, а другие нет. Почему? Вольгемут часто говорит: красота есть во всем, что угодно богу. Только разве это ответ?

Перебирая гравюры, натолкнулся на лист бумаги, а на нем портрет отца. Верь после этого взрослым! Сам рисует, а ему запрещает. В том, что это отцовская работа, Альбрехт не сомневался. Левый глаз на рисунке меньше правого. Вольгемутовские подмастерья его уже просветили: так всегда получается, когда художник рисует себя, глядя в зеркало.

Перевернул лист, на котором пытался изобразить шонгауэровскую мадонну. Вперился в зеркало. Впервые так близко и так четко увидел свое лицо. Скорчил рожицу — стекло передразнило его. Альбрехт засмеялся, и серебряная палочка уверенно побежала по бумаге. Время от времени сверял рисунок со своим отражением. Все точно, память не подводила. Глаза, припухшие от напряженного всматривания в выводимые на золоте узоры. Щеки подростка, пока не утратившие детской упругости. Потом заструились волосы, выбившиеся из-под ученического колпака. На бумаге рождался двойник Альбрехта-младшего, сына золотых дел мастера Дюрера. Сердце забило сильнее. Волноваться нельзя: рука гравера должна быть твердой — таково наипервейшее правило, которое постоянно внушает ему отец. Но разве можно быть спокойным, когда понимаешь, что творец наделил тебя способностью навсегда сохранить на бумаге то, что

видят глаза.

Так увлекся, что чуть было не завопил от испуга, когда протянулась через плечо жилистая рука и схватила рисунок. Отец! Альбрехт и не слышал, как он вошел в мастерскую. И ко всему прочему был Альбрехт-старший сильно не в духе. Знал сын: нет ему оправдания. Пролепетал первое пришедшее на ум: вопрос — что такое прекрасное? И тут опешил отец. Опустилась рука, уже занесенная для справедливого возмездия. Прекрасное? В самом деле, что же это такое? Ну, к примеру, прекрасной бывает вещь, от которой людям польза, прекрасно то, что радует глаз. Ну, и... Но все-таки — что же это такое?

Молча уложил мастер шонгауэровские гравюры на место. Приказал Альбрехту идти за собой — в свою комнату. Кряхтя открыл тяжелую крышку ларя, достал завернутый в чистую холщовую тряпицу сверток. Разложил на столе бесценное сокровище — несколько дюжин гравюр и рисунков. Альбрехт знал: часть из них отец собрал еще в молодости, во время странствований по Германии и Нидерландам. Иногда, будучи в хорошем настроении, рассказывал он Альбрехту о своих встречах с художниками. Вот это действительно были мастера! Разве таких сыщешь в Нюрнберге? По мнению Альбрехта, отец явно преувеличивал: кто еще мог сравниться с мастером Михаэлем? Но теперь видел — отец не лгал. Были такие художники!

— Вот что такое красота, сын!

— А разве это людям полезно? В чем она, эта польза?

Не нашел мастер, что ответить, и приказал Альбрехту идти спать: завтра ведь вставать с петухами.

Долго еще ходил старик Дюрер из угла в угол. Надо же, все мысли спутал этот упрямец своим неуместным вопросом. Действительно, в чем же заключается красота? А ведь и без того от дум голова раскалывается! Не получилось серьезного, нужного разговора с патрицием Имхофом. Вначале Антон занимал гостей пустяками — рассказывал о печатном деле в Швейцарии и Италии, показывал полученные оттуда книги. Дюрер терпеливо ждал, когда придет его черед говорить... Но потом все вдруг на него навалились. Мол, нехорошо, что Дюрер чурается соседей. И Вольгемут и Шедель — почтенные, уважаемые в городе люди, а он их знать не желает, с мастером Михаэлем живет в ссоре. Слухи об этом дошли до совета... Теперь уже и не припомнишь, как оно вышло, но только дал он обещание помириться с Вольгемутом. Да если бы только этим и ограничилось! Вырвали Имхоф с Кобергером согласие отдать Альбрехта в обучение мастеру Михаэлю. А все этот Антон! Нюрнбергу, видите ли,

нужны мастера гравюр, Нюрнберг прямо-таки не может обойтись без них, Нюрнберг, мол, еще потягается с Венецией и Флоренцией. А красота, сын мой Альбрехт, это когда... Впрочем, все, что думал, кажется, уже сказал... Хорошо, хоть согласился Антон нести половину расходов по обучению крестника. Ну и на том спасибо! А до того, что погибнет искусный золотых дел мастер, что пару рук у него отобрали, им и дела нет. Им рисовальщика, гравера подай!..

За то время, что прожил Дюрер в славном городе Нюрнберге, он хорошо усвоил, что совет патриция равносильен приказу. Никуда не денешься: надо кончать распрю с Вольгемут, но со дня на день откладывал Дюрер неизбежное примирение. Так дотянул до июня 1486 года, до самого дня святого Лойена, патрона золотых дел мастеров, когда надлежало ему как старшине братства ювелиров дать наиболее уважаемым коллегам обед. Имел он право пригласить в трактир по своему усмотрению и выбору нескольких представителей других профессий. К превеликому своему удивлению, получил тогда мастер Михаэль любезное приглашение на совместную трапезу. Более того, когда после праздничного шествия по нюрнбергским улицам все сели за стол, то оказался Вольгемут по правую руку от Дюрера, на почетном месте. То ли из-за оказанной чести, то ли по другой причине, но дождался Вольгемут соседа, чтобы вместе идти домой. Так на погруженной в ночную тьму улице под собачий брех состоялось наконец их примирение. Чтобы закрепить его, несмотря на поздний час, затащил Михаэль соседа к себе.

А просидев с час за кружкой теплого пива, которое и в горло не лезло, понял Дюрер, что жребий живописцев мало чем отличается от жребия золотых дел мастеров. У них жизнь тоже не сладкая. Особенно осуждал мастер Михаэль новые обычаи, которые насаждают в городе патриции и их отпрыски, стремящиеся превратить Нюрнберг в северную Венецию. Тащат без разбору все из-за Альп, не задумываясь, можно ли натянуть итальянский сапог на нюрнбергскую ногу. В результате же разрушают все каноны искусства.

Кивал в знак согласия Дюрер. Что ему еще оставалось? Он был того же мнения. Только не для споров об итальянцах зашел он к Вольгемуту. Чтобы направить беседу в нужное русло, сказал Дюрер, что становится стар, пора, мол, определить сына. Прищурился Вольгемут, словно кот, глядя на свечку. Согласился с гостем, что не заметили они, как подкатила к порогу старость, и, не дав рта открыть, снова пустился в воспоминания.

Как и сосед, проходил Вольгемут «курс наук» в Нидерландах и до сих

пор сохранял высокое мнение о тамошних мастерах. Прибыв в Нюрнберг, тоже долго не мог устроить свою жизнь. Работал с утра до ночи на Ганса Пляйденвурфа. Все перенес — и голод, и холод, и побои. Пляйденвурф был живописец отменный, но строг. Когда в 1472 году старый Ганс умер, Михаэль поспешил жениться на его вдове. Приобрел благодаря этому и звание мастера, и прочное пристанище. Дальше пошло все гладко. Однако слишком долго ходил он под железной пятой Пляйденвурфа и потому привык во всем следовать его вкусам. В результате выработался у Вольгемута свой, особый стиль, в котором смешались навыки и опыт местной и передовой нидерландской школы. Ну и пусть, лишь бы его ремесло приносило деньги. «Деньги сейчас в Нюрнберге — мерило всего, — вздохнул Михаэль. — Деньги — это бог, все остальное пустяки». Нужно рисовать портрет — рисует. Заказывают витражи для собора святого Лоренца — делает. Просят написать алтарь — пишет. Кто первым пришел на помощь Кобергеру, когда тот стал разворачивать в Нюрнберге свое предприятие? Он, Вольгемут, сделавший для него не один десяток гравюр. Всего сам добился, и теперь, глядишь, и забот бы не было, если бы не возвратился из Нидерландов пасынок Вильгельм Пляйденвурф, который потребовал своей доли наследства и звания мастера. Совет Нюрнберга пошел ему навстречу. Стал Вильгельм совладельцем мастерской, но решил заниматься не живописью, а изготовлением резных алтарей. Характер же у пасынка гадкий, с ним даже святой не уживется.

В ином свете вдруг представился Дюреру преуспевающий заносчивый сосед. Эх, грехи, грехи! За что же люди так жестоки друг к другу?

...Прошла ночная стража, бряцая оружием и громко переговариваясь. Дюрер поднялся, сказал, что пора и честь знать. А когда уже был на улице, спохватился, что о главном — об ученичестве Альбрехта — так и не договорился. Вольгемут, конечно, догадался обо всем. Настоящий нюрнбержец все понимает с полуслова.

С этого дня их отношения изменились: встречаясь на улице, чинно раскланивались, но об Альбрехте помалкивали. Искал Дюрер для самого себя отговорки: скажем, как без помощи сына выполнить заказ патриция Кресса — изготовить дюжину золотых кубков, украшенных орнаментами? Ведь это большие деньги, да и с заказчиками сейчас туговато, и платежи на носу, а сбережений почти никаких. Только все это было ложью во спасение. Просто страшила Дюрера мысль, что покинет сын его мастерскую.

Однако все рано или поздно приходит к своему концу. Был завершен и пресловутый заказ. Отправился мастер Альбрехт вместе с сыном в церковь святой Девы Марии, но не молиться, а посмотреть работы мастера

Михаэля, в том числе недавно законченный алтарь. До сих пор шел от него дразнящий запах красок, который не могли перебить даже благовония, пропитавшие за столетия здание. Особого восторга старый мастер не испытал. Алтарь как алтарь. Таких дюжины. Допрашивал знакомого монаха, сколько же получил Вольгемут. Оказалось, что заработал сосед поболее, чем он за свои кубки. Это как-то утешило. Но все-таки, когда возвращались домой, суковатая, отполированная до блеска годами и руками старого мастера палка необычно сердито опускалась на мостовую.

Вернувшись, прошли сразу в мастерскую. Снял отец праздничный костюм, надел одежду, в которой работал, и приказал то же самое сделать сыну. Сел за рабочий стол, достал самую лучшую бумагу, серебряные палочки. Пусть-ка Альбрехт нарисует его. Забегал карандаш по бумаге. Уверенно. Быстро. Лишь изредка бросал юный художник взгляд на модель. Глубокие морщины, опустившиеся книзу уголки губ, жесткие седые волосы, выбившиеся из-под колпака. Понял, почему отец захотел быть нарисованным не в нарядном облачении. Ведь не в праздниках, а в повседневном труде прошла жизнь мастера. Старческие складки на шее, суровые озабоченные глаза с покрасневшими веками... Отец сидел вполоборота, словно застыл. Ни разу не дрогнула его рука, державшая тяжелую статуэтку, изображавшую воина.

Не видел сын, что невеселые думы теснились в голове мастера-старика. Какой золотых дел мастер пропал! Ведь еще будучи учеником, создал Альбрехт серебряный кубок с изображением страстей Христовых, которому иной мастер мог бы позавидовать. Жаль, что не в Альбрехтовы руки перейдет мастерская. Конечно, может он запретить ему заниматься рисованием. Слава богу, еще не отменили в Нюрнберге закона, по которому волен отец сам избирать для сына ремесло. Но что это за мастер, который работает без охоты? Может случиться еще худшее: умрет он — бросит сын мастерскую и будет добиваться своего. А время уже упущено. Станет тогда вечным неудачником и проходит до смерти в подмастерьях у какого-нибудь захудалого живописца. Знал он и таких — спившихся, с потухшим взором и омертвевшим разумом...

Наступал вечер. Все труднее становилось различать линии. Все ниже склонялся юный художник над листом бумаги. Наконец портрет был готов. Альбрехт-старший расправил занемевшие плечи, взял рисунок. Долго рассматривал, отодвинув его почти на расстояние вытянутой руки. Сказав несколько похвальных слов, отец снова переделся. Поднялся наверх и приказал Барбаре собирать ужин. Но сам он есть не будет, так как идет к Антону и, видимо, задержится у него.

Трудный это был разговор — начистоту. Не скрывал Дюрер, что ставит свое ремесло превыше всех прочих. А Кобергер всю расхваливал гравюры. Понятно, конечно: не восхвалять же ему ювелирное дело, которому он изменил ради издания книг. Оправдывает свое отступничество, других убеждает: шире, мол, надо смотреть, идет новое время, когда художник будет выше любого ремесленника. Так же, как в Италии, в Германии тоже сколько новых церквей строится, а для них нужны и алтари, и роспись, и скульптура. Нюрнбергские купцы и патриции потянулись к наукам и искусствам. Раньше хозяин поражал гостя золотыми тарелками и кубками, а теперь прежде всего показывает книги и картины. Да почему, скажите на милость, Вольгемут не ровня ему, Дюреру? Мастер плохой? Денег у него меньше? Не известен ли он, что ли, в городе? Трудно было не согласиться с Антоном, что, коль дело по душе, человек может многого достичь и если предопределено Альбрехту быть художником, то мешать этому не следует. Пусть он не станет Апеллесом, а уж Вольгемута наверняка превзойдет. Кто такой Апеллес, Дюрер не знал, но то, что сын не сможет сравняться с ним, почему-то вдруг обидело его. Когда же вдруг выяснилось, что Кобергер говорил с Вольгемутом и тот согласен взять к себе Альбрехта, настроение у мастера совсем испортилось: почему это все без него решают? Может быть, он не желает, чтобы Альбрехт учился у Михаэля; вот возьмет да и отправит сына в Кольмар к Мартину Шонгауэру. По крайней мере, мастер Мартин гравёр отличный.

Однако сказано было это для красного словца. Желал Дюрер, чтобы сын был ближе к родному дому. Боязно отпускать от себя любимца тому, кто сам долго странствовал и узнал, каково чужаку приходится в дальних краях.

Был день святого Андруса — 30 ноября 1486 года, — самый счастливый день в жизни Альбрехта Дюрера-младшего.

Подписал отец с соседом договор. Он, золотых дел мастер Альбрехт Дюрер, отдает своего сына в учение мастеру Михаэлю Вольгемуту сроком на три года. Обязуется платить означенному мастеру ежегодно четыре гульдена. Плату за первый год вносит вперед. Достал отец из потертого кошелька четыре золотые монеты, передал их Вольгемуту. Внесли вино. Вот здесь и решился Дюрер спросить Михаэля, кто же такой этот живописец по имени Апеллес и правда ли, будто писал он столь хорошо, что птицы слетались клевать изображенный им виноград? Сосед отвечал, что правда, но что, мол, только от того Апеллеса ни одной картины не осталось. И сдается ему, что все это лишь одни сплошные рассказы.

Кобергер был мудр. Видел далеко вперед и тысячу раз был прав, говоря Дюреру: для Нюрнберга начинаются новые времена. Накапливая богатство, город и дня не терял даром. Росли его слава и могущество. Нюрнбергские купцы не знали покоя. Словно суетливые пчелы, собирали они золото со всей Европы. Факторы — представители торговых домов и одновременно дипломаты — сидели более чем в семидесяти городах. Они добрались до Гданьска, Ревеля, Братиславы, Кракова, Львова. Они обосновались в Венеции и Амстердаме. Они шли дальше, прокладывая новые пути для нюрнбергских товаров. Надменная Ганза уже недовольно хмурилась. Венеция кисло кривилась. Зорко следил Нюрнберг за всем новым, что появлялось в мире и могло пойти ему на пользу. Как только изобрели книгопечатание, город обзавелся типографиями. Родилось огнестрельное оружие — нюрнбергские оружейники превзошли всех в его изготовлении. Сам город почти не воевал, но оружием торговал — на этот счет его совет принял дельный закон: нюрнбергские оружейники имеют право сбывать свой товар на том условии, чтобы враждующие стороны получали его поровну.

Как бы ни расхваливал Дюрер золотых дел мастеров, но и сам без Кобергера видел — набирают силу другие ремесла. Деньгам была нужна богатая оправа. Город возводил соборы, башни которых неудержимо тянулись к небу. Старые церкви перестраивались и отделялись заново. Через Пегниц перебрасывались мосты на манер венецианских. Рушили добротные дома, а на их месте возводили другие, наподобие итальянских, изукрашенные искусными фресками. И выходили на первое место каменотесы, живописцы, скульпторы.

Было бы все это полбеда. Но надвигалось отовсюду на город что-то новое и непонятное. Шло оно с юга — оттуда, из-за Альп. Это патриции, повадившиеся ездить в Италию, чтобы набираться ума, тащили в Нюрнберг заразу. Вместе с фурами, груженными иноземными книгами, утварью, картинами и одеждами, скрытно, незаметно вползали за краснокирпичные стены другая мода, другие обычаи и новые веяния. Хранители старины пытались задержать их у дверей своих домов, изгнать, запретить. Но нет, ничего не получалось.

Через десятки лет, вспоминая о своем учении у Вольгемута, напишет Дюрер кратко, что у него он «очень страдал», и ни словом не обмолвится, чему же там научился.

Для Вольгемута его учитель Пляйденвурф был мерилom всех мерил, для Дюрера мастер Михаэль никогда не был авторитетом, именно это и помогло ему вступить на самостоятельный путь.

И все-таки годы, проведенные в вольгемутовской мастерской, не были потрачены напрасно. Даже копирование гравюр, которое иногда доводило Альбрехта до иступления, заставило его над многим задуматься. Работы Шонгауэра, которые, как потом оказалось, мастер Михаэль очень ценил, дали многое. Конечно, не манерность поз апостолов, не эти картинно выставленные из-под одежд ноги, не дубина, изящно придерживаемая святым Яковом двумя пальчиками, и не святой Михаил, столь бережно поражающий дракона-дьявола, словно имеет пело с сырым яйцом, — нет, не это поразило его воображение. Штриховка — вот на что он обратил внимание. Большой мастер из Кольмара очень близко подошел к возможности передачи светотени на гравюре. Альбрехт Дюрер — а его можно считать учеником Мартина Шонгауэра — решил задачу до конца. Начались те опыты, которые нередко вызывали у его друзей недоуменную улыбку: Дюрер стал рисовать скомканные простыни, смятые подушки, сжатые в комки листы бумаги. Он постигал тайну жизнеподобия в рисунке упорно, как умел лишь он один.

Стремился Вольгемут остановить то новое, что внушало ему опасения, на пороге своей мастерской, но вместе с очередным своим учеником — постоянно думающим, вечным тружеником Альбрехтом Дюрером — впустил это новое в свою дверь. Ибо желание твердо поставить на землю танцующих, порхающих, словно бестелесных, апостолов и святых и вернуть им живую плоть вскоре приведет Дюрера к итальянским мастерам, уже сумевшим сделать это.

«O tempora, o mores!» («О времена, о нравы»!) — говаривали еще древние римляне. «Раньше все было лучше», — не переставал твердить и мастер Михаэль. Да, времена менялись: исчезал мало-помалу дух корпоративности и взаимовыручки, свойственный цехам ремесленников. Каждый был за себя, за всех, как теперь частенько говорилось, был лишь бог. Сетовал мастер на коллег-художников, а сам был ничем не лучше их: беззастенчиво грабил своих собратьев, выискивал неудачников, которые безропотно работали на него, набирал заказы, которые и за несколько лет не смог бы исполнить, а потом за некоторую мзду уступал другим художникам. Дух накопительства, не знающего жалости и сострадания, все прочнее овладевал Нюрнбергом.

Особенно жалко было Альбрехту Дюреру живописца Ганса Траута, чужака, пришедшего в Нюрнберг с верховьев Рейна, а потому не имевшего в городе покровителей. Ганса терзала неизлечимая болезнь, и жить ему, видимо, оставалось немного. Добредя до мастерской Вольгемута, Ганс усаживался на скамью и долго не мог отдышаться. Молчал. Впрочем, для

мастера Михаэля и без слов было ясно: пришел просить работы. Ганс никогда не брал денег взаймы, хотя его семья перебивалась с хлеба на воду. Будучи неудачником, на судьбу, однако, не жаловался. Все помыслы его были заняты сыном Вольфом, родившимся год назад. Будущее мальчика отец определил — он станет художником. Ведь должна же когда-то и для Траутов наступить пора везения. Верил Ганс почему-то: Вольф обязательно станет знаменитым мастером — иначе во имя чего все те страдания, которые выпали на долю его деда и отца? Сейчас, доживая, по всей вероятности, последние дни, хватался за любой заказ — лишь бы обеспечить малыша. Вместе с Вольгемутом работал над витражами для церкви святого Лоренца. Иногда Михаэль, считая ниже своего достоинства заниматься трудом, в котором его с успехом могли заменить ученики, посылал Альбрехта помогать Трауту. И в один прекрасный день рассказал Траут, что, собственно говоря, этот заказ был сделан ему и что он даже представил совету церкви свои эскизы, но пронюхал про это Вольгемут и перебил заказ. Что стоило Михаэлю уступить? Денег у него и без того хватает. А деться было некуда, и теперь приходится, словно подмастерью, выполнять чужой замысел. Подарил Траут Альбрехту рисунок с изображением святого Себастиана. На память. Готовил его для витражей, да только не исполнилась мечта. Отдавая подарок, просил об одном — пусть не забудет юный друг крошку Вольфа, поможет ему стать на ноги. В счастливую звезду Альбрехта Траут почему-то сразу уверовал.

В сентябре 1487 года не стало Ганса. Умер он с кистью в руке, торопясь закончить заказанный ему алтарь. Его завершили друзья. Через некоторое время совет церкви святого Лоренца отказался от Вольгемутовых эскизов. Витражи были сделаны по проекту Траута. Только покойнику теперь уже все было безразлично.

Пятиугольная башня бурга — императорской крепости, построенной, по преданиям, еще Генрихом II, возвышалась над городом. Нюрнберг был оплотом Священной Римской империи германской нации, по выражению поэта Ганса Розенплюта, ее «утренней звездой».

В 1356 году «Золотая булла» Карла IV установила для германских императоров регламент: избираться во Франкфурте, венчаться в Ахене, в Нюрнберге проводить первый рейхстаг. Преемники не дерзали нарушить традиции.

9 февраля 1424 года Сигизмунд передал Нюрнбергу на вечное хранение регалии императорской власти. Один раз в году регалии выставлялись на Главном рынке, чтобы каждый мог собственными глазами

убедиться в их сохранности. А 13 апреля того же, 1424 года епископ Фридрих Бамбергский, следуя примеру Сигизмунда, передал на хранение городу церковные реликвии, также повелев ежегодно выставлять их на всеобщее обозрение, служить по этому поводу праздничную мессу и отпускать все грехи на те сорок дней, в течение которых длилась «священная ярмарка».

В 1487 году Нюрнберг наводил на себя праздничный лоск: готовился к очередной встрече с императором Фридрихом III. Приезд императора на этот раз не был обычным — предстояли торжества по случаю увенчания лавровым венком Конрада Целтеса. Германия обрела первого в своей истории поэта-лауреата.

Не думал, не гадал Альбрехт, что с этими событиями начнутся и в его жизни большие перемены, что войдут в нее новые люди, которые потом, спустя несколько лет, круто изменят его судьбу. А пока что перемены начались в мастерской. В соответствии с традициями следовало украсить город триумфальными арками. Нахватал мастер Михаэль заказов и теперь не поспевал к сроку. Пришлось предоставить больше свободы ученикам и подмастерьям. Отвел наконец Альбрехт душу.

Для одного из портиков Вольгемуту потребовалось срисовать атрибуты императорской власти. В другое время он обошелся бы старыми заказами, но сейчас случай был особым, и живописец испросил разрешения совета сделать наброски с натуры. Альбрехт сопровождал учителя в церковь святого Духа. В церкви было пусто, и Дюрер впервые получил возможность как следует рассмотреть висевший над алтарем ковчег, где хранились сокровища. О нем не раз говорил ему отец. Ковчег считался достопримечательностью города. Его соорудили на средства, собранные нюрнбержцами. Прославленные ювелиры, живописцы, резчики по дереву, столяры, получив предварительно отпущение грехов, потрудились над ним. Безвозмездно, разумеется. И сотворили чудо.

Не раз делал Альбрехт для отца зарисовки ювелирных изделий. Набил руку. Вольгемут постоял, посмотрел, как ученик рисует императорские регалии — помощи не требовалось.

С работой Альбрехт справился споро и впервые услышал похвалу от мастера. После этого Михаэль доверил ему расписывать орнаментом портик. Когда же портик поставили на площади, бегал туда Альбрехт почти каждый день. Готов был каждому объяснить: есть здесь и доля его труда, и если бы не он, Альбрехт Дюрер, то никогда бык вот это чудо не поспело к сроку. Только некогда было горожанам выслушивать его похвальбы. Каждый был чем-нибудь да занят. В ратуше шли жаркие споры. Предстояли

расходы, а члены совета скупилась: нечего деньги на ветер бросать! До Нюрнберга дошли слухи — дни правления императора Фридриха сочтены, И постановил совет из городской казны гульдены выдать лишь на самое необходимое. А остальное пусть жертвуют горожане — патриции, купцы, ремесленники. Городские булочники на этот призыв откликнулись — решили одарить простой люд бесплатными пряниками. Пряничную доску резал Вольгемут, помогал ему Альбрехт — это был их вклад в общее дело.

К концу февраля приготовления закончились. Оставалось ждать. Наконец дождались! Император торжественно въехал в Нюрнберг в сопровождении пышной свиты. Чинно шествовали патриции города, жались в боковых улочках голытьба. Захлебывались в восторге трубы, рокотали барабаны. На толпу сыпались монеты и пряники с изображением Фридриха. Кого-то придавили. Кому-то пьяный ландскнехт за грубое слово всадил кинжал в брюхо. Многим наставили синяков под глазами. Словом, праздник начинался так, как ему и было положено.

О работе в эти дни, конечно, никто и не думал. Торжества следовали одно за другим. Состоялось и возложение венка на главу Конрада Цельтеса в императорском бургe — за то, что писал он стихи, прославляющие Германию. Лицезрел Альбрехт поэта, когда после церемонии он проехал в лавровом венке, высоко задрал голову, никого и ничего не видя. Но никто не поставил ему это в вину. Здесь его уважали и любили. Знатоки ценили его латинские стихи, называли вторым Вергилием. По их мнению, поэт занимался благородным делом уж потому хотя бы, что писал историю Германии. А для ремесленного люда Цельтес был своим парнем. Сын франконского виноградаря сохранил простоту в обращении, не чурался соленого словца, простой пищи, а при возможности и кружки доброго пива. Впоследствии не раз встречался Альбрехт с Цельтесом, даже вел беседу с этим широко образованным поэтом-гуманистом.

Пребывание Фридриха в Нюрнберге затянулось почти на год, а вместе с ним, естественно, оставалась и вся свита. Превратился Нюрнберг в постоянный двор, сновали между ним и столицами немецких земель курьеры, приезжали и уезжали коронованные особы. Шло великое торжище. Молва не обманула: Фридрих действительно отказывался от императорской короны в пользу сына Максимилиана и всеми силами добивался осуществления своего плана, пока еще располагая властью. Но не так-то просто было уломать владельцев немецких земель, опасавшихся, что, став императором, навлечет Максимилиан на Германию одни лишь войны да бедствия. И все из-за этой Бургундии. Несчастлив был тот день, когда Максимилиан взял в жены дочь тамошнего герцога Карла Смелого и

получил в приданое часть его владений. При жизни Марии все было более или менее сносно, но когда пять лет тому назад она умерла, начались распри с французским королем Людовиком XI. Вот и сейчас на положении пленника сидел Максимилиан во Фландрии, переметнувшейся на сторону властелина Франции, а отец в Нюрнберге ломал голову, как его вызволить. О Максимилиане только и шли разговоры в городе. Одни называли его «последним рыцарем», другие — «первым дураком». Но все сходились на том, что, может быть, и не так плох был бы Максимилиан, если бы не бросился от одного начинания к другому, если бы обладал волей все доводить до конца, если бы не лез в поэты, если бы вел счет деньгам... Этих «если бы» можно было насчитать до двух дюжин. Рачительных нюрнбержцев настораживало то, что сорил Максимилиан деньгами направо и налево, так что временами и гроша у него не оставалось. Передавали друг другу, что однажды претендент в императоры оставил трактирщику в залог свою супругу, так как не мог рассчитаться с ним.

Пока курфюрсты, епископы и князья судили да рядили, как быть дальше, приближенные императора больше занимались собственными делами. Цельтес, например, искал издателя для своих трудов, уже созданных и еще задуманных. Ему указали на Кобергера. Так зачастил поэт на улицу, где жили Дюреры. Родственную душу нашел в Шеделе. Почтил он посещением и вольгемутовскую мастерскую, чтобы договориться об иллюстрировании книги. Не обошел и дома золотых дел мастера Дюрера: потребовался ему серебряный столовый сервиз — став лауреатом, не хотел он краснеть перед именитыми людьми, от которых теперь отбою не было. Своей обходительностью поэт совершенно покорила Дюрера-старшего, особенно когда с похвалой отозвался о его изделиях. Выразил мастер сожаление, что не может показать гостю своих шедевров — остались у него лишь их зарисовки, исполненные им и сыном. Узнав, что сын учится у Вольгемута, сказал Цельтес, что у мастера. Михаэля он уже был — договаривался о том, чтобы тот проиллюстрировал «Всемирную хронику» Шедела, которая, по его мнению, несомненно, заслуживает издания. Может быть, и Альбрехт внесет в это дело свою лепту? Тут как раз и появился Кобергер, обладавший удивительной способностью приходить всегда вовремя. Типограф сразу ухватил нить разговора и пошел разматывать. Хозяину оставалось только шепнуть Барбаре, чтобы она принесла из погреба вина побольше и получше. Слышал мастер: пьют поэты не хуже простых смертных, к тому же поклоняются в стихах нечестивому богу вина Бахусу.

Пока суетился Дюрер вокруг стола, Цельтес уже успел столкнуться с

Кобергером насчет печатания книг, которые, как понял мастер, еще и написаны-то не были. Но затем углубились они в такие ученые дебри, что он и нить потерял. Так и запорхали незнакомые имена — Платон, Сенека, Петрарка. Упоминался еще какой-то Тацит, написавший книгу о древних германцах. Послушать их, так выходило, что немцы — это богом избранный народ, призванный продолжить деяния римлян. Говорил Цельтес, отхлебывая маленькими глоточками вино из золотого кубка: итальянцы, мол, достигли значительных успехов. Но все-таки много в их достижениях языческого и для Германии чуждого. Их проповедь свободы человека следовать своим желаниям как в деяниях, так и в любви — это верный путь к греху и нравственной распущенности. Может быть, никто больше его не ценит великое древнее искусство, и сам он иногда не прочь побаловаться грешными сюжетами, но твердо верит: только незыблемая вера принесет Германии немеркнущую славу. В приверженности немцев ей и порядку — их спасение. Они еще скажут свое слово.

Цельтес до того увлекся беседой, что забыл цель своего прихода к Дюреру. Уехал, не сделав заказа. Мастер остался в недоумении: неужели высокому гостю не понравилась его работа? Выходит, порастратился зря... Но для Дюрера-младшего этот разговор имел немаловажные последствия.

После того как Цельтес в беседе с Кобергером лестно отозвался о «Хронике» Шеделя, мастер Антон бросился к книжнику договариваться. Теперь спешил он. Ведь могут перехватить заказ. Но Шедель не торопился расставаться с рукописью. Надо, мол, кое-что доделать, кое-что поправить. Кобергер рвал и метал: он не может ждать до второго пришествия! И с Вольгемутом, оказывается, никакой договоренности нет. Мастер Михаэль хитро щурил глазки: согласия он никому не давал, одну-две гравюры, так и быть, исполнит. Много у него спешной работы, а гравюры — трудоемкое дело. Понимал Кобергер: все это отговорки, на деле просто Вольгемут не верит, что Шедель, ухлопавший состояние на книги и рукописи, сможет заплатить.

Коль речь шла о выгоде, мертвой хваткой цеплялся за нее типограф. Поведение Вольгемута настораживало его. Но и здесь Кобергер придумал, как помочь делу. Стал кому надо расхваливать «Хронику». Послушать его, так мир не видел ничего лучшего. Можно было подумать, что мастер Антон уже прочитал весь труд от первого листа до последнего. Некоторые поверили и удивились: шутка ли, у них под боком живет великий ученый, а они об этом и не догадывались. Первым на приманку попался Зебальд Шрайер, в прошлом член городского суда, а ныне глава совета при церкви

святого Зебальда, обожавший роль покровителя наук. Вместе со свояком Каммермейстером предложили они кошелек Шеделю для издания его труда.

Антон и к Вольгемуту подходы нашел. Пригласил Вильгельма Пляйденвурфа в самый роскошный трактир. Говорил все больше намеками, без обещаний и обязательств. Однако на следующее утро весь город знал, что иллюстрировать «Хронику» будет Вильгельм. Через день заявился к Кобергеру Михаэль. В глубокой печали: они же в принципе договорились. Неужели Антон в самом деле передал заказ этому недоучке, который не знает, как карандаш правильно держать? Кобергер его за рукав — и к Шеделю, от Шедела — к Пляйденвурфу, затем к Шрайеру, снова — к мастеру Вильгельму. Столковались — будут иллюстрировать книгу без мастера.

После этого зачастил Шедель в мастерскую. Длинный как жердь, высохший от занятий, походил он и впрямь на чернокнижника. Отвыкший за бумагами от общения с людьми, говорил медленно, глухо, словно с большой неохотой. Казалось, разговоры с непосвященными для него, ученого, оскорбительны. Вольгемута такая манера выводила из себя. После того как скрывался Шедель за дверью, давал мастер выход своему гневу: знай он раньше, что его сосед такой зануда, ни за какие деньги не связался бы с ним. Врал Вольгемут — ведь был для него Шедель золотое дно: шутка ли — восемнадцать сотен гравюр и плата поштучно! Тут простишь любую заносчивость.

Шедель дорабатывал книгу. Теперь он планировал уже не одно, а два издания — полное на латинском, сокращенное — на немецком. Через два месяца принес наконец Шедель первую часть своей рукописи. А всего их было семь — по числу дней творения. Можно было приступить к работе, и даже без спешки, так как Кобергер подрядился к тому времени издавать жития святых для немцев по образцу сборника легенд итальянца-монаха Якопо де Вораджине. Торопился поспеть к рождеству, но на беду мастер-гравер из Ульма не укладывался в сроки. Не поможет ли Вольгемут? Тот с ехидцей заметил: так всегда бывает, когда своим мастерам в доверии отказывают. Кобергер упрек принял, не возражая. Видя такое смирение, подобрел мастер Михаэль: можно, конечно, и помочь. Запряг Вольгемут всех своих учеников. Сам принялся за гравюру с изображением святого Михаила. Альбрехту достались святые рангом пониже. Управились — 5 декабря 1488 года вышла книга в свет. Для Альбрехта работа над ней была первой самостоятельной. К тому же и отец и крестный ее похвалили, совсем немного — станет Альбрехт мастером.

Вот теперь принялись за Шеделя. Кобергер, получив рукопись, внимательно ее прочитал и наметил сюжеты нужных гравюр. Ознакомившись с его списком, закручинился мастер Михаэль. Да, нелегкая предстояла им работа. Нагородил книжник: всемирный потоп, троянская война, подвиги цезарей Древнего Рима и тому подобное. Без совета знающих людей не обойтись. Пригласил Кобергер для этой цели нюрнбергского космографа Мартина Бегайма и ученого врача Иеронима Мюнцера из Фельдкирхена.

Волосы дыбом у мастеров вставали: какие-то Одиссеи, Ахиллы, Юпитеры, Минервы, Цезари и Октавии так и кишели на страницах ученого труда. Вольгемут плакался Антону: куда бы ни шло рисовать Адама и Еву в раю, всемирный потоп или, в конце концов, рождество Христово. А с язычниками что делать? Ведь он их портретов в глаза не видел. Кобергер обратился к Шрайеру. Пусть подберет итальянские гравюры с изображением древних богов и героев. Тот прислал имевшиеся у него картинки и любезно сообщил, что послал гонца в Венецию с просьбой к друзьям доставить ему новые.

Так случилось, что встретился Альбрехт с новым итальянским искусством в мастерской косного Вольгемута. Встретился и изумился: вот она, красота, которую так долго искал! Но мастер Михаэль его восторгов не разделял: распутство это, а не красота. Понарисовали бесстыжие итальянцы оголившихся мужиков и баб. Такие гравюры в добропорядочном доме и держать-то совестно. Да, сшибаются в Нюрнберге два потока искусства — северный и южный, все перетирают нюрнбергские жернова. Но такое они перетирать не будут, отбросят в сторону как никому не нужную дрянь. Немцы этого искусства не примут. Прав был по-своему старый живописец: даже Шедель, взглянув на Шрайеровы картинки, приказал греческих богов и богинь одеть.

Не успели с этим справиться, а Шедель новую задачу подкинул: подавай ему изображения городов, которые он описал в своей книге. Да не какие-нибудь, а вполне точные. С Нюрнбергом, конечно, просто: выйди на ближайшую горку и рисуй в свое удовольствие. А как быть с другими? Не будешь же их из-за какого-то там Шеделя объезжать. Пришлось спрашивать сведущих нюрнбержцев. В первую очередь бросились, конечно, опять к Мартину Бегайму. Он весь свет изъездил. Тот обещал помочь. Натворил Шедель дел со своей «Хроникой» — чуть ли не пол-Нюрнберга на него работает! А в Вольгемутовой мастерской что ни день — то споры. Во что, к примеру, одеть римских цезарей? Да и с городами пришлось не сладко. Путешественников в Нюрнберге действительно не счесть. Сколько, где и

какой товар стоит — это они даже спросонья ответят. Но считать количество церквей и крепостных башен, запоминать облик городских стен им ни к чему. Если бы не Бегайм, вряд ли бы справились. У космографа память отличная.

Прошла зима, да и весна была готова уступить место лету, а Кобергеров заказ и наполовину еще не выполнен, хотя сидели над ним дни и ночи. Работа оказалась кропотливой, а для вольгемутовской мастерской усложнялась она вдобавок тем, что Кобергер, ожидавший от шеделевской «Хроники» преумножения своей славы как печатника, без обиняков заявил: второсортный товар ему не нужен, мастера должны сделать самое лучшее, на что только они способны. Поиски этого лучшего оборачивались для Вольгемута и Пляйденвурфа заимствованием из работ других мастеров всего, что отвечало их представлениям о красоте — образов, деталей и даже целых сюжетов. Подходил итальянец — брали у него, нравился нидерландец — перенимали у нидерландца, приглянулся немец — использовали его находку. Даже отдельные фигуры составлялись из частей, позаимствованных у разных художников. Этот метод, который теперь почти ежедневно демонстрировался Альбрехту, был не нов. Юноша уже неоднократно сталкивался с ним. И раньше он подводил ученика к мысли, что каждый художник способен постигнуть лишь какую-то часть красоты, и если появится вдруг человек, способный собрать все эти части в целое, то даст он миру законченный идеал. Альбрехт перепортил много бумаги, пытаясь воплотить сделанное им «открытие» в образе мадонны, но результаты этих усилий были безжалостно раскритикованы мастером Михаэлем.

Но все это было до того, как юноша увидел итальянские гравюры. Они поражали тем, что полностью отвечали его представлениям о красоте. Люди прочно стояли на земле. Они были частью этой земли, ее хозяевами, а не временными пришельцами. Они были материальны, как был материален мир, окружавший их. В них было все соразмерно. Детали сливались в гармоничное целое. Там, за Альпами, видимо, открыли истины, неведомые мастеру Михаэлю: законы гармонии, иллюзию реальности.

Разговор на эту тему с Вольгемутом лишь привел мастера в ярость. Дерзкий ученик оскорбил его самолюбие, похвалил то, что он, не стремясь постигнуть, отметал с порога. Было сказано немало крепких слов. И впервые, едва сдерживая слезы, Альбрехт бросился прочь из мастерской — туда, на берег родного Пегница. Здесь царила убаюкивающая тишина, прерываемая время от времени мерными ударами вальков прачек, их

шумливым переругиванием, шуршанием прибрежного тростника и мычанием идущих на водопой коров. Вот тот мир, который он хотел бы изобразить, запечатлеть навечно в его изменчивости... Занятый своими мыслями и созерцанием трудолюбиво бегущей вдаль, за городские стены, к запрудам и мельницам реки, Альбрехт вздрогнул от неожиданности, когда рядом с ним на траву опустился космограф Бегайм.

Они были всего лишь знакомы. Тем не менее почему-то захотелось сейчас Альбрехту излить многоопытному страннику и ученому свои сумбурные, бестолковые мысли. Не знал, однако, даже и Бегайм, объездивший весь свет, что такое красота, которую ищет его молодой собеседник. Правда, если задуматься, то, наверное, красота — вот этот огромный и разнообразный мир. А бог — великий художник, сотворивший все видимое и сущее. Его созданием можно без усталости любоваться, а значит — здесь и заключена истинная красота. Поведал Бегайм, что ждет не дождется, когда наконец разделается с заданием совета: нарисует план Нюрнберга. Тогда можно вновь отправиться путешествовать, ибо не вынести ему этого долгого нюрнбергского сидения — и так уже снятся каждую ночь теплые моря и дальние страны.

Чем больше узнавал Альбрехт людей, тем больше многие из них поражали его своей неутомимостью и жаждой новых знаний. В этом у него было много общего с тем же Бегаймом, который показывал ему в своей рабочей комнате, пропитанной таинственными резкими запахами, исходящими от тюков и ящиков, сложенных в углах, «земное яблоко» — первый в мире глобус, над которым работал. Не верилось Альбрехту, что вот так выглядит Земля, когда бог и ангелы смотрят на нее с небес. И чудачком считал некоего генуэзца, который, как рассказывал Бегайм, собирается достигнуть Индии, плывя на запад, а не на восток. Но спустя несколько лет узнал, что не таким уж чудачком был тот генуэзец и что «Индию» он действительно открыл. Из уст в уста ходило это имя — Христофор Колумб...

Время было на изломе. Рождался новый человек, стремящийся к знаниям, разгадке неведомого. Он переставал быть слепым червем, он стремился стать творцом. Начиналась эпоха гуманистов — новая эпоха в истории развития человечества. Время рождало великих — и гениев и преступников. Оно заставляло жить иначе. Уже ткали паруса, которым было суждено унести европейцев к берегам неведомых им миров. Уже создавались телескопы, прильнув к которым люди — пока лишь своею мыслью — устремлялись к звездам. Человек задумался над тем, откуда он

пришел, и углубился в историю. Он стал приглядываться к себе и стал искать ответы на многие мучившие его вопросы. От веления времени нельзя было отгородиться каменными стенами, его уже невозможно было остановить на пороге.

Теперь и на «сумасбродного» Шеделя взглянул Альбрехт совсем другими глазами и понял, что тот тоже открывает неведомое. После того как работа над его «Хроникой» по настоянию Кобергера перешла с черепашьего шага на добрую рысь, Дюрер стал часто бывать у ученого. Кабинет Шеделя поражал юношу обилием книг и рукописей. Они были повсюду: лежали на столах и просто на полу, под их тяжестью прогибались массивные дубовые полки. Кроме хозяина, здесь усердно трудилось несколько писцов. Нередко Альбрехт заставлял тут и Бегайма, занятого просмотром книг. Космограф обнаружил в Шеделевавом собрании все, что ему было нужно для продолжения работы над «земным яблоком» — сочинения Птолемея, Плиния и даже Марко Поло.

Именно в доме Шеделя Альбрехт встретил однажды юношу, в котором с большим трудом узнал Вилибальда, сына патриция Иоганна Пиркгеймера, того самого, в чьем доме родился Дюрер и провел свои детские годы. Мало походил коренастый щеголь на мальчишку, с которым Альбрехт некогда играл, а нередко и дрался, получая каждый раз трепку от отца, чтобы не смел обижать патрицианского отпрыска. Сейчас Пиркгеймеры бывали в родном городе наездами. После скандала, разразившегося в связи с изменой жены Иоганна, они на время покинули Нюрнберг. Доходили слухи об успехах Иоганна Пиркгеймера на дипломатическом поприще. Многие немецкие князья приглашали нюрнбержца к себе на службу. Но так нигде и не осел Пиркгеймер. Что касается его сына Вилибальда, то он воспитывался крестным отцом — епископом Вильгельмом фон Райхенау и жил у него в Эйхштетте.

Каким ветром занесло сейчас Вилибальда в Нюрнберг, Альбрехт не узнал, так как не застал начала разговора. Он услышал лишь жалобы Вилибальда на отца, который заставляет его оставить ратную службу у епископа Эйхштеттского и отправиться в Италию учиться в университете в Падуе. Он же, Вилибальд, преуспел в солдатском ремесле, владеет искусно всеми видами оружия. Его ценят и командиры и подчиненные. Только отцу на это наплевать. В желаниях стариков вообще нет логики: собирается отец сделать его юристом. Как же он тогда сможет занять «пиркгеймерово место» в совете Нюрнберга? Ведь по законам города юрист не может быть избран в совет. А старый Иоганн хочет и этого. Одним словом, ничего хорошего.

Шедель сидел со скучающим видом, давая понять, что нет ему никакого дела до забот пиркгеймеровского рода — своих хватает. Вилибальд попетушился еще немного и ушел.

Альбрехт поспешил за ним. Все-таки в раннем детстве были друзьями. Но душевного разговора не получилось — то ли Вилибальд проявил патрицианскую заносчивость, то ли был чем-то расстроен. Только и спросил: не писцом ли он работает у этого трухлявого пня Шеделя? Учится живописи у мастера Вольгемута? Вот это новость! Какой же Михаэль живописец! Маляр он в лучшем случае. В Италию нужно ехать. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Мантенья, братья Беллини — вот действительно учителя! Выпалил эти имена разом, кивнул головой на прощанье. Бросил уже на ходу: если будет у Альбрехта время, пусть зайдет в его дом на Главном рынке, поищет он в своем багаже итальянские гравюры.

Когда выбрался Альбрехт посетить пиркгеймеровский дом, то сказали ему, что молодой хозяин уже уехал, для него ничего не оставлял.

Пора было кончать ученье у мастера Михаэля. И Траут, и Пиркгеймер, будто сговорившись, предостерегали: ничему он у Вольгемута не научится. Только вот один советовал отправляться в Кольмар, а другой — в Италию.

И Вольгемут вроде тоже понял, что ничему больше не может научить Альбрехта Дюрера. Но уж поскольку тот торчал в его мастерской, то стал он его нещадно эксплуатировать: сделай то, нарисуй это. Работа ученику — деньги и славу мастеру. Да в Нюрнберге ничего в секрете долго не удержится. Типографы начали поговаривать о таланте молодого художника. Некоторые даже предлагали самостоятельную работу.

Дома приходилось помогать отцу. Целтес оказался порядочным человеком — прислал письмо. С описанием столового сервиза, который заказывал. Кроме того, сообщал, что благодаря его протекции получит, видимо, Дюрер скоро еще один заказ — тоже на столовый сервиз, только уже золотой, для самого императора. Вот так-то! Разве можно теперь посрамить славу нюрнбергских мастеров. Поэтому приходилось Альбрехту рисовать эскизы супниц, солонок, ножей, вилок, кубков. А на следующий день все переделывать заново: за ночь придумывал отец новый изгиб, новый завиток и совершенно другой орнамент.

Нет, все же не прошли даром годы, проведенные в мастерской Вольгемута. Может, и не так, как следует, понимал мастер Михаэль идеалы красоты, может, и был ретроградом, признавая лишь методы нидерландской школы и начисто отрицая школу итальянскую, но одному он

твёрдо научил Альбрехта: ничего не добьёшься без неустанного труда. Научил его быть внимательным к деталям, верно отображать их в рисунке, на картине. Не мог он лишь передать того, как собрать детали в единое целое — не мог потому, что и сам не знал этого.

В какой момент родилась у молодого художника мысль о том, что есть, видимо, законы и для решения этой задачи? Не исключено, что в то время, когда он рассматривал полученные из Италии гравюры. А может быть, она возникла, когда, выполняя последнее поручение мастера Михаэля, он делал чертежи для иллюминации книги астронома и математика Региомонтана. Нюрнбергские печатники в память о выдающемся ученом, прожившем в их городе более четырех лет, решили издать оставленную им рукопись. Так как Шедель занемог и работу над его «Хроникой» волей-неволей пришлось прервать, мастерская Вольгемута взялась за новый заказ.

В библиотеке Региомонтана, перешедшей к его компаньону и завещанной городу, узнал Альбрехт не только о том, что именно этому математику и астроному, пришедшему из Кенигсберга, обязан Нюрнберг своей обсерваторией, мастерской по производству измерительных приборов и типографией, издававшей книги по астрономии. Ему поведали здесь, что Региомонтан был великим тружеником, обуянным жаждой знаний, что умер он в Риме, куда отправился по приглашению папы, чтобы провести реформу календаря, но душа его, видимо, так и осталась на берегах Пегница, беспокойная, вечно ищущая разгадки тайн вселенной. Таков уж, видно, Нюрнберг — навечно приковываются к нему сердца!

Листая книги ученого, обнаружил Альбрехт рукопись — «Введение в основные понятия живописи» некоего итальянца Альберти. Вряд ли он смог тогда одолеть сочинение Альберти, но с тех пор оно манило его к себе, и в конце концов наступило то время, когда он приобрел рукопись. Но это случилось много позднее, когда он самостоятельно постиг многое из того, чему учил в своем трактате итальянский теоретик.

Надо думать, что именно здесь, в этой сокровищнице знаний, где всегда можно было встретить местных и пришлых математиков, астрономов и инженеров, впервые услышал начинающий живописец про Пифагорово учение о числах. Учение утверждало, что в основе всего сущего лежат числа, вечные и неизменные, разгадав соотношения которых можно постигнуть и законы красоты, создать идеальные фигуры. Такая мысль навсегда осталась у него в голове. Однако пройдут годы, прежде чем он вплотную займется проверкой этого предположения.

К концу зимы чертежи в книге Региомонтана были готовы, и Дюрер решил оставить мастера Михаэля. Повезло: отцу, начавшему работать над

императорским заказом, нужен был помощник. Кто еще, кроме Альбрехта, мог точно выполнить его замыслы? Поэтому Дюрер-старший объявил соседу: этой весной, как и положено подмастерьям, отправится Альбрехт странствовать — набираться ума и опыта у других мастеров. А месяц или два перед уходом побудет дома. Вольгемут скрепя сердце согласился, пожелал ученику счастливого пути. Даже Пляйденвурф буркнул что-то похожее на доброе напутствие. Лишь Кобергер немного поворчал, опасаясь, что уход Альбрехта может затянуть издание «Хроники».

Поистине безумен тот, кто начнет искать красоту в мире, обильно залитом кровью, истерзанном голодом и мором, отупевшем от церковных догм. Кошунственен его замысел, ибо учит церковь: искусство должно внушать человеку трепет, а не рождать в нем гордыню. Да, только безумец может быть так безрассудно смел. Оглянись!

Страшен мир, в котором живешь. Где она, красота, откуда возьмется радость? Что ни день, то новые вести — о надвигающейся чуме, о сражениях, бушующих повсюду. Бунтуют крестьяне, чем-то недовольные. С Востока грозит Европе волна неверных. На картинах и гравюрах северных мастеров веселятся только полуистлевшие скелеты. Пляска смерти... По стенам, когда зажигают свечи, прыгают уродливые тени-калеки, они сползаются в углы, ждут, когда померкнет свет и наступит их час — час зла, страха и гибели. Повсюду мерещились три мертвых короля, которых Альбрехт видел в «Домашней книге» у Вольгемута. Мастер со Среднего Рейна постарался: его скелеты-короли пялили со страниц книги жуткие пустые глазницы. Казалось, будто доносился их замогильный голос, обращенный к живым: помните, мы были такими, как вы, помните, скоро придет время, и вы будете походить на нас! Жить было страшно.

Но каждый год приходила весна. Мир вновь блистал пышными красками, впитывал солнечные лучи. Буйство жизни заставляло забывать о пророчествах мертвых королей. Теперь с рассвета до поздней ночи Альбрехт работал в отцовской мастерской. Снова вдыхал с детства знакомый запах металлической пыли и кислот. Вслушивался в полузабытую песню молоточков, отстукивающих веселую мелодию. Но под их перестук думал он не о серебряном сервизе для Цельтеса и даже не об императорском заказе. Не давали ему покоя Пифагоровы законы чисел. Можно ли их найти в каких-нибудь книгах? Или они утрачены? Если так — он откроет их заново, разгадает сокровенную тайну красоты. Даже если для этого потребуется вся жизнь.

А тем временем Дюрер-старший размышлял, как вернуть сына в

мастерскую. Наивно-хитровато заводил разговор, что императорский заказ принесет славу мастерской, от заказчиков отбоя не будет. А какой почет! Почти каждый месяц из Линца прибывают императорские посланцы — справляются, как продвигается дело. Альбрехт был рад за отца. И только. Иногда старик заходил с другой стороны: пришлось изрядно потратиться на обучение. Денег в доме теперь не хватает... Но Альбрехт отмалчивался.

Вскоре он снова затосковал по загрунтованным доскам с их неповторимым запахом, по штихелю, с трудом входящему в неподатливое грушевое дерево. Вот тогда, видно, родилась у него мысль написать перед уходом из дома портреты родителей — им на память о сыне, себе для совершенствования в ремесле, ибо, как говорят, лишь упражнение делает мастера. Запахло в дюреровском доме влажным мелом и красками, клеем. Хозяин дома, недовольно ворча себе под нос, что его отрывают от дела, опустил на дубовую скамью и замер, боясь пошевелиться. Во время перерывов подходил к сыну, прищурив глаза, рассматривал свое изображение. Строго следовал Альбрехт правилам, усвоенным в вольгемутовской мастерской. Поворот модели на три четверти (анфас — учил мастер Михаэль — надлежит изображать только бога). Наконец портрет завершен. Как и хотел отец, все детали его были выписаны тщательно и точно.

Мать Альбрехт собрался написать в наряде патрицианки, но отец воспротивился: нечего приукрашивать! Каждому — свое.

Когда портреты были готовы, взглянул на них старший Дюрер и сказал Барбаре: пора собирать сына в дорогу. Склонила мать голову. Здесь ничего не изменить. Исстари повелось и не ими установлено: закончив учение, уходит подмастерье в чужие края — посмотреть мир, узнать других мастеров своего дела. И не всегда возвращается. Отец решил — сын отправится в путь после пасхи. Мать, разумеется, в слезы.

Прикрикнул старик на супругу. Не вечно же, мол, Альбрехту держаться за материнский подол. Барбара, вытирая покрасневшие глаза, еще ниже склонилась к полотняной рубашке, которую шила сыну. Игла в иссохших пальцах привычно проворно стала вновь низать стежок к стежку.

А Дюрер тем временем обсуждал с соседями, куда следует отправиться Альбрехту. И мастер Михаэль, и мастер Вильгельм в один голос твердили: идти нужно ему на север — в Нидерланды. Именно там стоящие мастера, у которых действительно можно чему-нибудь научиться. Только пусть он не вздумает идти за Альпы. А как насчет Шонгауэра? Конечно, можно завернуть и к нему...

Подыскал отец для сына и попутчиков. В Нюрнберге это несложно.

Почти каждый день уходят купеческие караваны. После пасхи шел в Майнц обоз с товарами, снаряженный Имхофом. Купец-патриций обещал мастеру доставить его сына в этот город без всякой платы. Даже коня согласился дать на том условии, что Альбрехт вместе с его слугами будет охранять обоз от посягательств разбойного люда. А их много было, любителей легкой наживы! Рыцари большой дороги наводили ужас на окрестности Нюрнберга. Потому купцы, покидая город, вооружались до зубов и прощались с родными так, словно покидали их навсегда.

11 апреля 1490 года перекликались радостно колокола нюрнбергских церквей. Праздничное солнце всплыло над похорошевшим городом. Вернувшись домой от пасхальной мессы, сели за изобильный стол — достойно отметить праздник, а заодно и проводить сына.

Последняя ночь в родительском доме... Не спится. Только что слуга Имхофа забрал нехитрые пожитки юноши. За конем придется самому идти, как только станет светать.

Ступил за порог отчего дома, когда уже вовсю грохотали барабаны и надсадно гудели волынки. По обыкновению, караван провожали громкой музыкой, отгоняли от него злых духов, несущих напасти. Скоро из городских ворот выкатится первый фургон. Ринется с гиканьем отряд городской стражи и доведет обоз до развилки дорог. Дальше — не его забота. Оглянулся — отец и мать стояли на пороге дома. Махнул рукой, защемило сердце. Ускорил шаг и скрылся за углом.

ГЛАВА II,

в которой рассказывается, как странствовал будущий мастер, как судьба лишила его возможности встретиться с Шонгауэром, но зато свела со многими интересными и достойными уважения людьми.

Год странствий художника преисполнен тайн, возможность разгадки которых навсегда поглотило время.

Как раз тогда во взглядах Дюрера, впоследствии названного основоположником немецкого Возрождения, произошел перелом. В это время он — пока еще робко — отважился перейти границы, очерченные вековыми традициями. Нет никаких сомнений в том, что, следуя сложившимся тогда у немецких живописцев обычаям и покорный наставлениям отца, а также учителя, видевших в Нидерландах источник мудрости и мастерства, Альбрехт ушел на север проторенным многими до него путем. Но вот дошел ли до вожделенных Нидерландов — остается только гадать, так как никаких документов о путешествии тогда еще никому не известного подмастерья не осталось, да, видимо, их и не было. Но скорее всего он все-таки дошел до Нидерландов: не мог не дойти, ибо к этому его обязывало многое.

Что он видел? С кем встречался? Чья откровенная беседа или, может быть, собственные размышления на каком-нибудь постоялом дворе, битком набитом полупьяными путниками, заставили его на время забыть о живописи и принять решение начать карьеру художника-гравера, снова повернуть на юг, дойти почти до Италии, в которую он потом все время будет стремиться, и остановиться в нескольких днях пути от нее, словно не решаясь переступить заветный порог? Можно лишь гадать с большей или меньшей степенью достоверности.

Что произошло за этот год в душе Альбрехта Дюрера, также останется загадкой. К изменению решения его могло побудить то очевидное обстоятельство, что как раз к этому времени нидерландская школа живописи как бы уступила пальму первенства школе южнонемецкой, достигшей наивысшей точки расцвета и выдвинувшей крупнейшего из позднегоготических мастеров — Мартина Шонгауэра. Теперь шли учиться не с юга на север, а с берегов Шельды к истокам Дуная и Рейна, Дюрер двигался в обратном направлении. Заметив свою ошибку, повернул назад.

Вполне возможно, что происходили события так: в Майнце распрощался Дюрер с имхофовскими людьми — он собирался на некоторое

время остаться здесь и попытать счастья. Стал разыскивать мастера Эрхарда Рейвиха, о котором был наслышан от Вольгемута. Это его мертвые короли из «Домашней книги» не давали Альбрехту в последнее время покоя. Знаменитого гравера Дюрер должен был увидеть обязательно и, может быть, даже поучиться у него. Копирование гравюр Рейвиха из «Домашней книги» и «Путешествия Бернгарда фон Брайденабаха в Святую землю» Вольгемут считал лучшей школой. А многие его находки Пляйденвурф, не указывая источника, использовал в собственных произведениях. Знал Альбрехт и об умении Рейвиха работать по меди. В Нюрнберге это пока не практиковалось. Там цепко держались за ксилографию (так называется гравюра на дереве).

Разыскать дом мастера Эрхарда особого труда не составило. В Майнце знал его почти каждый. Представлял Альбрехт себе автора «Пляски смерти» изможденным аскетом, измученным всевозможными недугами, стоящим на пороге небытия. Жестоко ошибся. Меньше всего, видимо, думал Рейвих о незваной гостье. Жизнь его интересовала значительно больше. Чрево вместительное, щеки того гляди лопнут. Расселся вольготно на лавке, с аппетитом слушает, в глазах насмешливые зайчики блещут. Как же, как же, знает он Нюрнберг! Это там, что ли, живописцы гульденами крыши кроют, ибо им их девать некуда? О Вольгемуте что-то вроде слышал. О своих товарах Альбрехтовы земляки на весь свет трубят, а о тех, кто город украшает, похвального слова не скажут. «Хроника» Рейвиха заинтересовала. Ему все нужно было знать: кто рисовал, кто резал, как долго работали? Ну, если за издание взялся Кобергер, то будет на что посмотреть. Мастер Антон ему известен — большое дело делает. А главное — не о своей мощи печется, а торит немецкому искусству путь. Вот благодаря таким, как он, набирает в Германии силу граверное дело. А ему принадлежит будущее. Алтари и портреты с гравюрой равняться не могут. Гравюра проникнет в самые отдаленные места, расскажет на понятном для всех языке обо всем. Да что там — вот попалась же Альбрехту на глаза его книга, и он поспешил навестить гравера. Картина сгорела — и нет ее, а книгу и гравюру не уничтожишь. Они неистребимы.

Намекнул Альбрехт: не посоветует ли, мол, мастер, где в совершенстве граверное мастерство можно постигнуть? Думал, скажет Рейвих — у меня, конечно. Но тот будто не понял. Посоветовал идти на юг — в Базель, в Страсбург. Вот там есть мастера! Заикнулся Альбрехт о Шонгауэре, но мастер Эрхард к нему идти пока что отсоветовал. Конечно, Мартин — недюжинный художник, немало сделал он и для искусства гравюры. Но говорят, в последнее время забросил штихель. К тому же его сейчас и нет в

Кольмаре. Выполняет заказ в другом городе, а в каком — запомнил.

Пришлось с Рейвихом распрощаться. Не станешь ведь навязываться, если мастер не желает брать в ученики. Несколько дней Альбрехт в Майнце. Посетил местных живописцев. Недалеко ушли они от Вольгемута. Будь его воля — сразу бы поворотил на юг. Все равно куда — в Кольмар или в Базель. Но дал отцу слово идти в Нидерланды. Нарушишь его — не видать тогда счастья.

Зима, однако, застала его в Майнце. Сходил он в Нидерланды, но ничего интересного для себя там не обнаружил. Недалеко ушли нидерландские мастера от нюрнбергских. Что же касается гравюры, то было бы глупо учиться у тех, кто сам еще учится. Так и передал отцу через знакомого купца, возвращавшегося в Нюрнберг, Попросил добавить, что теперь он твердо решил стать художником-гравером и поэтому по весне отправится в верховья Рейна. И хочет на то отцовского благословения.

В Майнце Альбрехт опять пришел к Рейвиху — предложил себя в качестве подмастерья. Вместо платы, сказал, одного желает: научиться искусству гравюры на меди. На сей раз Рейвих предложение принял. Потом признался: было у него вначале впечатление, что ищет молодой человек легких путей. А тут до седьмого пота надо трудиться. Дальше — знакомая история: пришлось засесть за черновую работу — резать доски. Без этого никак нельзя, поучал Рейвих. Грош цена тому мастеру, который не знает, сможет ли резчик в точности исполнить его замысел. По прошествии времени поручил ему Эрхард создать собственную композицию. Сразу, конечно, не получалось. Вторая пластина — ничего себе, терпимо. Седьмую Рейвих уже похвалил. К этому времени пришло письмо от отца: разрешал идти в Кольмар или в Базель — по собственному усмотрению.

Весной 1491 года вместе с попутным купеческим караваном ушел Дюрер в Кольмар — в надежде на то, что Мартин Шонгауэр вернулся наконец в родные края и что удастся встретиться с ним. Работая у Рейвиха, познакомился Альбрехт с теми гравюрами великого мастера, которых не видел ни в собрании отца, ни у Вольгемута. Внимательно и подолгу изучал он изображенных Шонгауэром апостолов, мучеников, сцены из жизни богородицы и Христа. Видел, как совершенствовал тот свое мастерство, как ясно и гармонично компоновал он на листе фигуры, так что сразу можно было охватить их глазом, как выразительно вел линии, как искусно использовал короткий штрих для передачи света и тени, объемности тел. Все больше восхищался Альбрехт мастером Марином. Это потом скажут, что у Шонгауэра изящество выродилось в изощренность. Для Дюрера достигнутое им было совершенством. Потому и стремился в Кольмар —

увидеть Мартина, поучиться у него.

И когда уже был у цели, узнал из случайного разговора, что опоздал: 2 февраля 1491 года славный мастер скончался в Брейзахе, где, уже будучи тяжело больным, из последних сил торопился закончить фреску, изображавшую Страшный суд. Обидно было до слез — столько мечтать о встрече, столько надежд связать с нею и вдруг от какого-то прохожего узнать: ничего не будет. Помни о смерти, Человек, спеши совершить задуманное!

Тем не менее продолжал свой путь. С какой целью? Поклониться дому, где жил этот великий мастер? Поговорить с его учениками, которых он наверняка оставил? Увидеть его работы?

Когда караван достиг Кольмара, непонятная робость охватила Альбрехта. Даже рад был тому, что купцы, замешкавшиеся в пути, подошли к стенам города уже после закрытия ворот. Заночевали на постоялом дворе. Ночь провел без сна, а на рассвете собрался с духом и, словно в холодную воду, нырнул в городские ворота. Стража показала нужный дом. Не раз обошел его вокруг. Нет, рано еще набиваться в гости. Зашел в собор — холодно, мрачно. Неокрепшие солнечные лучи гуляют под потолком. На скамьях — первые богомольцы. Чудилось: просят они бога за душу Шонгауэра. Почти на цыпочках, чтобы не мешать, обошел собор. В каждой картине, казалось, узнавал уверенную руку мастера Мартина.

Наконец решил — пора! Постучал кольцом в окованную железом дверь. Открыли сразу — будто ждали. Какой-то мальчишка, наверно ученик, провел в комнату, где сидел пожилой человек с копной седых волос — Каспар, один из братьев мастера Мартина. Спросил приветливо, чем может служить. Вместо ответа передал ему Альбрехт рекомендательное письмо Рейвиха, адресованное еще Мартину. Писал Рейвих, что, по его мнению, уготовила судьба Альбрехту Дюреру большое будущее. Просил посодействовать. Эх, опоздал ты, Альбрехт Дюрер, со своим письмом! Чем он, Каспар, может помочь? И он, и брат его Пауль — золотых дел мастера. Разве Людвиг? Он учился живописи у Мартина. Но он живет в другом доме. Начались обычные расспросы. Оказалось, что слышал Каспар об отце Альбрехта. Над чем он сейчас работает? Как его здоровье? У золотых дел мастеров подход к коллегам особенный. Все друг о друге знают, друг другом постоянно интересуются.

О своем брате говорил Каспар мало. Видимо, трудно было жить и работать с Мартином. И так был нелюдим. А как вернулся из Испании, куда ездил неизвестно зачем, то совсем ушел в себя. Последних друзей растерял. Может быть, болезнь была тому виною. Ждал Альбрехт, что покажет

Каспар ему рисунки мастера. Так и не дождался. Потом уж выяснил, что у него их просто-напросто не было. Оказалось, что перед смертью навсегда покинул Мартин Кольмар и увез с собою в Брейзах все до последнего листа, ибо рассорился и с властями Кольмара, и заодно с родными братьями.

Примерно то же самое говорил о брате и Людвиг Шонгауэр, согласившийся показать Альбрехту все, что он знал. Как раз перед ссорой начинали они все вместе — Мартин, Людвиг и Пауль, который сейчас уехал в Брейзах за оставшимся имуществом брата, — налаживать в Кольмаре производство гравюр. Мечтал тогда покойный Мартин всех затмить в этом деле. Намеревался выпускать гравюры сериями.

Приехал Пауль, привез несколько тюков с имуществом Мартина. Лист за листом перебирал Альбрехт рисунки Шонгауэра, стремясь проникнуть в его замыслы. Видел, как порой долго и мучительно искал мастер единственно верные линии, тона, штриховку, как использовал найденное в гравюрах. Некоторые рисунки перечеркнул с такой яростью, что карандаш прорвал бумагу. А рядом эскиз — вроде бы ничем от уничтоженного не отличающийся. Но мастера он почему-то удовлетворил.

Слова Каспара о том, что вся жизнь его брата прошла в бесконечных исканиях, становились теперь понятными. И не зря, как считали братья, ездил Шонгауэр в Нидерланды и Испанию. Выверял Мартин путь, которым шел. Каноны, за которые цеплялся Вольгемут, были для него звуком пустым. Своих законов искал Шонгауэр, забывая при этом друзей, родных, самого себя.

За изучением рисунков Шонгауэра незаметно проходило время. Некоторые из них Альбрехт скопировал для себя. Но пора было и честь знать. Тем более что разыскало его отцовское письмо. В нем удивление: если мастер Мартин умер, то какой прок сидеть в Кольмаре? Пусть идет в Базель. Попутно старый Дюрер не без гордости сообщал, что сервиз, заказанный императором, кажется, удался на славу. Он намеревается сам отвезти его в Линц.

А вскоре словно снег на голову нагрнул в Кольмар четвертый из оставшихся в живых братьев Шонгауэров — золотых дел мастер Георг. К Альбрехту он отнесся с подозрением: кто таков, что здесь делает и почему с ним обращаются как с ровней? Но потом оттаял Георг, стал более разговорчивым. Однажды вдруг ни с того ни с сего заявил: пусть Альбрехт бога молит, что не застал Мартина в живых. Почему? Тяжелый человек был, слава его испортила. Считал, что во всем только он один прав — и в ремесле и в жизни. Спору нет — ума Мартину было не занимать, но

стремился он всех подмять под себя. Лишь ему, Георгу, удалось вырваться из Кольмара, а вот его братья молодость свою погубили, прокорпев в мастерской Мартина. А с чем остались?

Узнав, что Альбрехт собирается в Базель, Георг оживился: можно отправиться вместе. Правильное решение — вот где действительно есть чему поучиться. Через несколько дней были они уже в пути. С братьями Шонгауэрами — Каспаром, Паулем и Людвигом — распрощался Альбрехт тепло. Подарили они ему на память несколько рисунков Мартина из серии о жизни богородицы, и выпросил он у них гравюру «Искушение св. Антония», которая поразила его буйной фантазией художника. Только тот, кого самого терзали такие кошмары, мог изобразить их столь достоверно.

Вскоре увидел Альбрехт Дюрер перед собою Альпийские горы, покрытые вечным снегом, величественные в своем молчании...

Базель — город своеобразный. По улицам спешат молодые люди. С ними лучше не связываться: осмеют, обругают, а то, чего доброго, и поколотят. Студенты... Днем их еще не так много — одолевают твердыню науки. По вечерами от них проходу нет — дебоширят, орут песни, пьют в кабаках. Шествуют важно господа в мантиях. Это профессора. Встретившись на улице, чинно раскланиваются, говорить предпочитают по-латыни. Ювелирных лавок почти нет, зато типографий не счесть. Художники здесь тоже особенные: мастеров по алтарям маловато, сплошь мастера иллюстраций. Ничего не скажешь: университетский город — книги в почете.

Альбрехт уже несколько дней живет у Георга. Ждет, когда тот сведет его наконец с мастерами-типографами. Георгу, однако, некогда. Двери в доме не закрываются, валом валят друзья, прослышав, что Шонгауэр вернулся. Побывал Альбрехт в мастерской. Инструмент успел покрыться пылью. Нет на Георга Дюрера-старшего. «Инструмент, — говорил он, — не бутылка с вином, которая чем грязнее, тем дороже».

Напоминал Георг не раз о себе, но у того один ответ: нужно сперва обдумать, к кому идти. Лучший в городе печатник, безусловно, Иоганн Бергман, да к нему не так просто пробиться. Избалован. Может, начать с Николая Кеслера?

Кеслер так Кеслер. Встретились с ним в бане. Здесь, как в Нюрнберге, она служит не только для омовений, но и для деловых встреч. По примеру древних римлян в базельских банях дискутировали, заключали сделки, просто убивали время. Художники — частые гости: это единственное место, где без помех можно рисовать обнаженную натуру. Кеслер оказался

покладистым человеком. Узнав, что Альбрехт знаком с искусством иллюминирования книг — о Шеделеваой «Всемирной хронике» он уже слышал, однако не видел, так как книга еще на дошла до Базеля, — он сразу же согласился испытать его мастерство. Пусть приходит завтра в его печатню.

Чуть свет собрался Альбрехт к Кеслеру. Мастер еще не соизволил спуститься вниз. Ожидая его, Дюрер успел обойти все закоулки печатни. Пришел к выводу — у крестного дело поставлено солиднее. А тут и сам хозяин появился. Вихрем пронесся по типографии, распекая нерадивых: ярмарка на носу, а у них ничего не готово. Завизжали душераздирающе печатные прессы. Мастер сразу успокоился, поманил Альбрехта в угол, где стоял стол: для первого раза пусть изготовит гравюру — титул к письмам святого Иеронима. Да порасторопнее — работа спешная. Мудрить не надо. Наверно, Альбрехту известно: святой Иероним — один из отцов церкви, отшельник, аскет. Будучи изгнан из Рима в Иудею, перевел Библию на латинский язык. Изображают его в келье за учеными занятиями. И льва чтобы не забыл. Испокон веков рисуют святого отца со зверем: говорят, он сам пришел к святому, дабы тот вытащил занозу из лапы.

Получив от Кеслера доску для гравюры, помчался Дюрер домой. Весь день принаравливался к канону. Изобразил келью в виде собственной комнаты. В левом углу за распахнутым пологом — неубранная постель. В глубине — стол да полка. Направо окно, из которого виден Базель. Святой Иероним вынимает занозу из львиной лапы. Все как будто бы хорошо, но упустил из виду, что Кеслеру нужен ученый муж, а не добрый самаритянин. Вся работа насмарку.

Георг успокаивал: да изобрази, мол, пару раскрытых книг — и дело с концом. Тогда и дурню станет ясно, что перед ним ученый. Для пущей важности можно поместить какие-нибудь слова из Священного писания — на разных языках. Завтра он узнает у студентов, как их писать, по-гречески там или на древнееврейском. Так все разом и решилось.

Теперь, когда все стало на свои места, не составляло особого труда закончить рисунок и перенести его на доску. Понес ее к Кеслеру. Тот, взглянув на рисунок, крикнул резчика. Подошел вразвалочку здоровенный парень, рослый, широкоплечий. С кислым видом, будто хлебнул уксусу, вертел доску и так и сяк. Увидев на обороте надпись: «Альбрехт Дюрер из Нюрнберга» — презрительно хмыкнул: художником давно ли стал, а уже полным именем подписывается. Да знает ли он, что такое гравюра? Нагородил разных линий — сам черт ногу сломит. Тоже — «Альбрехт Дюрер из Нюрнберга»! Ничего не выйдет! Грязная будет печать. Кеслер

почесал в затылке: вот как оно поворачивается. Ну ничего, пусть оставит доску, может, что-нибудь они придумают. Платить он сейчас не будет, сначала надо посмотреть, что получится.

Георг долго хохотал: разыграли Альбрехта, как младенца, а он-то уши развесил. Обычный трюк базельских типографов. Жди, вознаградит тебя теперь Кеслер — наверное, не раньше, чем пасха с троицей сойдется. Кто же здесь работу из рук выпускает до того, как за нее заплатили?

А через неделю уже стоял Альбрехт у печатного пресса в типографии Амербаха. Взял его печатник в подмастерья. Кожаной подушечкой осторожно прижимает Альбрехт бумажные листы к покрытым краской доскам. Пока нравится все — и въедливый запах, и скрип винтов, и даже шум и гам, переполняющие типографию. С самого начала нужно было бы стать к прессу. В сущности, сердитый тот резчик у Кеслера прав: не всякий рисунок можно передать гравюрой. С другой стороны, надо искать пути для ее совершенствования, для того, чтобы довести это искусство до уровня живописи, научиться передавать резцом глубину и светотень. Конечно, для того не один день нужно помучиться у пресса. Только так и поймешь до конца его возможности.

8 августа 1492 года увидел Альбрехт на книжных прилавках «Письма св. Иеронима». Взял книгу ради любопытства — полистать. Что за наваждение? На титульном листе красовалась его гравюра — та самая. Резчик ее, конечно, подправил.

Альбрехт потребовал у Кеслера доску. Мастер расхохотался, глядя на его насупленную физиономию. Обиделся? Если из-за таких пустяков сердиться — сердца не хватит. Вот плата за работу. А доска останется в типографии. Она еще потребуется.

В начале осени стоял Альбрехт, как обычно, у пресса, размышлял о письме отца, только вчера полученном. Сообщал Дюрер-старший, что 19 августа 1492 года был он в Линце и передал самому императору изготовленный для него сервиз. Дождался старик счастливого дня! Представлял Альбрехт, как гордо шествовал он за вносимыми во дворец тюками. В каждом — аккуратно переложенные стружками тарелки, кубки. Все суетятся вокруг. Видимо, императору сервиз понравился. Отец на седьмом небе. Едва возвратившись на постоянный двор, требует он чернил и бумаги. Пишет родным, знакомым. Спешит поделиться радостью. Некоторые письма удастся отправить с оказией. Остальные привезет он с собою в Нюрнберг...

Углубился в свои мысли Альбрехт и не заметил, что давно уж умолк в

типографии обычный шум. Столпились все вокруг человека в профессорской мантии и слушают его, открыв рты. Проповедник, что ли? Подошел ближе. Нет, непохоже.

...Не дремлет попрошайный сброд!
Наш город Базель, между прочим,
Их плутней служит средоточьем,
Но вникнуть в их дела попробуй, —
У них и свой язык особый!
Что совесть? Жизнь сытней была бы!
У каждого из них есть баба:
На улице — ах, боже мой! —
Как немощна! А что домой
Приносит своему! А тот
Нажрется и винцом запьет;
Потом приходит в кабачок,
Там попадется простачок —
Сыграет в кости с ним мошенник,
И дурачок ушел без денег!..

Профессор перевел дух, обвел взглядом собравшихся: «Ну что, не надоело? Дальше читать?» Все разом ответили: «Конечно!» Но тут совсем некстати вкатился в типографию Амербах. Подмастерьев тотчас отправил к прессам. А с гостем отошел в дальний угол. Повели разговор. Видимо, о вещах серьезных. И поглядывают притом на Альбрехта. Вскоре поманил его мастер к себе. Представил странному гостю. Так вот он каков — этот Себастьян Брант, юрист, сын страсбургского трактирщика, самый молодой профессор Базельского университета. От Георга уже слышал — умнее человека, чем Брант, не сыскать, пожалуй, во всем мире. Интересует его все. Он не только знаток римского и церковного права, но и в древних авторах начитан. Хотя, денег у ученого не так уж много, не скупится он, когда речь идет об издании их трудов. Говорят также, что он звездочет и маг. Но о каком ученом не ходила такая слава? Что касается базельских горожан, то они в своем Бранте души не чают, ибо он не чурается простого люда, знает его язык, любит разные побасенки. Ко всему прочему, пишет превосходные стихи.

На сей раз шел у Бранта разговор с Амербахом об издании комедий Теренция. Совсем недавно обнаружил он где-то древний манускрипт с

миниатюрами. Носился теперь с мыслью размножить его типографским способом, да так, чтобы книга внешне походила на рукопись. Амербах брался за это дело. А Альбрехт должен был перевести миниатюры на доски. Предложение не вызывало у него особого восторга. Мало простора для творчества, с такой работой и ученик справится. Но разве мог он отказать самому Бранту? Дал согласие.

Теперь Брант стал частым гостем у Амербаха. Приглядывал за каждой мелочью. Выводил тем печатника из себя: нечего мудрить, нужно успеть к ярмарке. И хотя сулил ему профессор как издателю бессмертных комедий славу, почет, уважение, Амербах только отмахивался — они ему ни к чему, для него главная забота — вернуть бы деньги, потраченные на бумагу и краски. Торопился изо всех сил, дал Альбрехту в помощники еще несколько человек. Какое уж тут творчество! К тому же Брант изводил: нужно, чтобы все было в точности, как в рукописи. Отвел душу тогда, когда попросил его Брант изобразить самого Теренция. Бился над портретом долго. Никто, разумеется, не мог сказать, как комедиограф выглядел при жизни. Наконец решил взять гравюру Мартина Шонгауэра, изображавшую евангелиста Иоанна, и переделать на Теренция. Сошло.

Амербах будто предчувствовал: ничего не выйдет из этой затеи. Тем не менее, не дождавшись, пока гравюры будут готовы, приказал начать печатание. Когда отпечатали несколько листов, появился Брант словно пришибленный: сообщили ему из Лиона, что там тоже издают комедии Теренция и, ко всему прочему, с более совершенной рукописи. Амербах пришел в отчаяние. Его, конечно, можно было понять: столько труда и средств вложено. Даже и части расходов теперь не вернуть. Не меньше мастера расстроился Брант. А кого винить? На то и ярмарка, чтобы купец не дремал!

К концу зимы спускаются в Базель с окрестных гор ряженные — «ведьмы» и прочая нечисть, извещают о приходе весны. Их появление верный признак, что уже у дверей веселый базельский карнавал — фастнахтен. Пылают на улицах костры, сжигают на них всякий хлам. Этот праздник — не чета другим: год потом о нем вспоминают.

У помоста, на котором студенты разыгрывали сочиненный ими фастнахтпшиль, встретил Альбрехт Бранта. Постояли немного, послушали. Потом потащил его Себастьян в трактир. Народу — не протолкнешься. В одном углу орут песни, в другом так лихо отплясывают, что гнутся дубовые половицы. Втиснулись с трудом в компанию студентов. Пируют, видимо, давно, весь стол залит пивом, завален объедками. Пододвинули вновь

пришедшим оловянные кружки. Брант назидательно поднял палец:

Когда б не пьянство, то вовек
Не знал бы рабства человек!..
Приятно лишь во рту вино, —
А утром мучит нас оно,
Всю кровь пропитывает ядом,
Как василиск — смертельным взглядом...

Осушил единым духом кружку. Стукнул доньшком по столу. Больше пить не стал. А через некоторое время втянул собравшихся в дискуссию о Вергилии. Орут что-то на латыни. Альбрехт заскучал — зачем его сюда пригласили? Брант будто заметил, перешел на немецкий язык:

Принес один мазила раз
Свою картину напоказ
К прославленному Апеллесу.
Придать себе желая весу,
Похвастал он: «С такой картиной
Я справился за день единый!»
Но Апеллес в ответ: «Да ну?
За целый день всего одну!
По этой судя, я считал,
Что за день ты штук шесть создал!»

Надулся Альбрехт: профессор явно метил в него. Не единожды был у них разговор на эту тему: полагал Брант, что слишком уж быстро Дюрер рисует — без раздумий. Но разве можно обижаться на Бранта. Профессор был в ударе — читал долго и много.

К ним подсаживались все новые люди. Словно из рога изобилия, посыпались анекдоты, шванки, соленые шутки...

По дороге к дому профессора — Альбрехт вызвался его проводить — рассказал Брант о своем намерении написать книгу. Нет, не ученую, не на латыни, а для всех, по-немецки, в стихах. Собирается он осмеять в ней людские пороки и ложную мудрость. Подобно Ною, погрузит он на ковчег глупцов всех мастей, а книгу назовет «Корабль дураков». Да, именно так. А поскольку она будет книгой для всех, то следовало бы ее иллюминировать.

Остановился, взглянул на Альбрехта. Не согласится ли он взяться за это дело? Он видел его рисунки. Уверен, что Дюрер единственный из известных ему графиков, которому он может доверить свое детище. Обрадовал Брант Альбрехта. Наконец-то! Не нужно копировать других — выходи на улицу, образы под рукой, только поспевай переносить на бумагу. Живые люди. Их он знает. Их он или любит, или ненавидит — во всяком случае, они не безразличны ему.

А Брант уже размышлял о том, кто бы издал его книгу. К Амербаху он сейчас не хочет обращаться. Остается лишь Бергман. Но рискнет ли он вступить в дело? Видимо, рискнет.

Итак, решено.

Ветер рвет паруса. Гудит, как струна, натянутый причальный канат. Дураки спешат занять места. Брант настаивает: их должно быть сто одиннадцать. Одиннадцать — «шутовское число». Да будет так! Агой! И корабль под вой фанфар и грохот барабанов навсегда покинет берега Мудрости...

А под конец оказалось: книга-то не написана. Есть только отдельные наброски, вроде тех, которые он сегодня читал. Придется подождать с отплытием.

Пока же решил Брант покороче свести Дюрера с Бергманом. И свое намерение осуществил не откладывая. Нагрянул к печатнику с рукописью легенд о святых. Бергман за нее ухватился, и здесь-то поставил Брант условие: иллюстрировать книгу должен Альбрехт Дюрер, художник из Нюрнберга. Дюрер так Дюрер. Поскольку за издание платит сам Брант, ему безразлично, с кем иметь дело.

Однако безразличие было наигранным: когда Дюрер зашел к Бергману познакомиться, тот уже знал о нем всю подноготную — вплоть до того, как надул его Кеслер и что живет он у Георга Шонгауэра. Бергман сразу заговорил о деле: у него освободилось место подмастерья, пусть перебирается к нему, с Амербахом он договорится. И действительно договорился. Согласно уговору с Брантом засадил он Альбрехта за гравюры к сборнику легенд о святых. Работы оказалось всего на месяц, ибо Дюрер не рисковал, не отходил от испытанных шаблонов. После потрудился над гравюрами для «Турнского рыцаря» — собрания назидательных новелл. Штейн, переложивший сборник с французского на немецкий, обхаживал Бергмана, пытался подбить его на то, чтобы «Рыцарь» печатался в его типографии. Но мастер, поскольку книга не сулила барышей, взялся только иллюминировать ее. Получит Штейн доски — и довольно.

Исполнять заказ поручил Дюреру. Походило на то, что хотел испытать

его: способен ли работать он самостоятельно, богата ли у него фантазия? Здесь действительно было где развернуться — всего вдоволь: и прихожане, доставляющие дьяволу радость скоромными разговорами во время мессы, и похотливый дюнах, затеявший шашни с женой канатного мастера, и рыцарские поединки. С этим справился. Осилил и основанные на Священном писании новеллы, хотя и не без труда — не так просто преодолеть каноны, которые вдолбил Вольгемут. А Адам и Ева! Вспомнить смешно. Ну чего здесь трудного — изобразить древо, змия, обнаженных мужчину и женщину. Погнался за достоверностью. Вспомнил Георга: уж где обнаженное тело можно изучить, так это в бане. Банщицы — народ не особенно щепетильный. Отправился. Нашел одну «Еву». Но только стал рисовать — обрушила она на него потоки брани. Побить даже хотела. Адама и Еву пришлось рисовать по гравюре.

Дюрер видел: достоверности так и не добился. Не то. Надо научиться рисовать так, будто глядишь из окна, а перед тобою сменяется одна картина за другой. А здесь — глубины нет, фигуры плоски. Не то, а где оно, то? Теперь Дюрер из дому почти не выходил. Если же попадал в трактир или отправлялся на прогулку, то неизменными его спутниками были карандаш да бумага. Отец, постоянно предупреждавший, что праздность — мать всех пороков, а развлечения — прямая дорога в ад, был бы доволен: другие веселились, а сын все рисовал, будто епитимью на себя наложил во имя спасения души.

Беда в том, что один вопрос повлек за собой другой, отнюдь не легче первого. Ну, скажем, как выглядели люди в далекие времена, во что одевались? Наверняка иначе, чем современники. Тогда почему и римлян, и иудеев, распявших Христа, изображают так, будто они базельские граждане? Брант с ним согласился. Надо ему ехать в Италию — там, следуя совету Петрарки, давно уже пытаются живописцы выяснить, как выглядели древнегреческие и древнеримские герои. Отыскивают в сохранившихся рукописях описания оружия и одежд, изучают дошедшие скульптуры. Правда, успеха пока особого не достигли: пишут Юпитера в образе короля, а Аполлона — в образе рыцаря.

Эх, Италия — благодатная страна! Рассматривал Дюрер привезенные Георгом ему в подарок гравюры. Достигнуть бы такого совершенства, и тогда можно было б умереть спокойно! Только для него путь в эту страну заказан. Или, может быть, отец все же разрешит? Но вот что делать с Брантом? Нюрнбержец не раз подумает, прежде чем даст слово, а уж если даст, то исполнит. Профессор, однако, судя по всему, не торопится. Вот разбредутся летом его студенты, тогда он засядет за поэму. На все

Альбрехтовы напоминания — одно и то же:

Успешен замысел, когда
Он своевремен, господа.
А торопыг с древнейших пор
Ждут неудача и позор.

После троицына дня привезли отцовское письмо. Тонем, не допускающим возражений, приказывал Дюрер-старший заканчивать учение и возвращаться домой. Сообщал отец, что подыскал сыну невесту. Некую Агнес Фрей, купеческую дочь. О суженой больше ни слова. Зато подробно о будущих родственниках: у тестя Ганса Фрея — все шансы быть назначенным в Большой совет, а теща, урожденная Руммель, так та вообще патрицианка. В конце письма приписка: девица Агнес просит жениха прислать его портрет. Отец к этой просьбе присоединился.

Кто эта Агнес Фрей? Какая разница? Женитьба меньше всего входила в планы Альбрехта, хотя и исполнилось ему уже двадцать два года. Однако с отцом не поспоришь. А Дюрера-старшего, несомненно, ослепляло высокое положение, которое Фрей занимали в городе. Лучшей пары для сына, по его мнению, нельзя было бы и придумать, так что перечить бесполезно. Но возвращаться в Нюрнберг не хотелось. Георг подсказывал выход: просить отсрочки на год. Мол, подвернулся выгодный заказ. Был бы такой заказ, если бы Брант немножко поспешил.

А тут как раз приключилась новая напасть: Георгу Базель вдруг опостылел. Засуетился. Нужно ехать в Страсбург. Мало того, втемяшилось ему в голову: Альбрехт поедет с ним. Во-первых, долг платежом красен, он должен помочь ему устроиться на новом месте, и, во-вторых, он там сразу прославится. Брант из-за любви к родному городу, сам того не ведая, подливал масла в огонь. Говорил: Испания и Португалия отнимают у Венеции роль владычицы морей. Торговые пути пройдут через Страсбург. Как знать, может, и Нюрнбергу придется потесниться.

Нет, не прельщал Альбрехта Страсбург — уж лучше тогда Нюрнберг. Лишь трудности, возникшие у Георга с продажей мастерской, давали надежду на то, что, может быть, переезд в Страсбург вообще не состоится, а если и состоится, то, по крайней мере, через несколько месяцев. Альбрехт решил все-таки ехать с Георгом, бросить его не позволяла совесть.

Наконец в середине лета Брант торжественно оповестил: «Корабль дураков» завершен! Вот это действительно была книга! В первый раз в

жизни Альбрехт держал такую в руках. Била в ней ключом жизнь базельских площадей и улиц, переполняла через край радостью существования. Но вместе с тем бушевала в ней злость ко всем тем, кто глупостью или невежеством отравляет жизнь.

Пройдет немного времени; распространится Брантова книга по всей Германии. Увидят люди, что копнул базельский мудрец глубоко. Получилась едкая сатира на существующие порядки, на царивший произвол, на господство грубой силы, политические склоки и неурядицы.

А язык! По несколько раз перечитывал Дюрер отдельные стихи, которые запоминались сами собой. Через два-три дня он уже делал первые наброски. Работа спорилась. Спешил так, как никогда в жизни. Работая над одним сюжетом, обдумывал план другого, недоделав первый рисунок, хватался за второй, третий, четвертый...

Быстрота, с которой Дюрер создавал гравюры, пугала Бранта. По собственному опыту он знал, как опасно это постоянное напряжение всех сил, ибо очень часто дело кончалось тем, что ум и фантазия тупели задолго до завершения начатого. Он бормотал свои стихи о торопыгах. Не помогало. А через некоторое время Брант стал замечать — его иллюминатор начинает творить свою собственную поэму в рисунках, порою не имеющую ничего общего с авторским замыслом. Словно вознаграждая себя за то, что слишком долго ему приходилось выполнять желания других, Дюрер теперь полностью отдался фантазии. Искренне удивлялся: а разве этого нет в рукописи? Он же слышал собственными ушами, как Себастьян читал об этом. Да, читал, но потом выбросил. Брант сердито пыхтел, садился переделывать стихи, подгоняя их под рисунки Дюрера. Выходил из себя. Нет, так дело не пойдет. Кто здесь автор? В бешенстве забрасывал в дальний угол скомканные листы рукописи, начинал бегать по комнате, бранясь, как ландскнехт. Разъярившись, в свою очередь, художник стрелой вылетал в двери.

А на завтра как ни в чем не бывало Альбрехт снова приходил к Бранту и приносил новый рисунок. В конце концов поэт приспособился: прежний текст сохранял в неприкосновенности, но дописывал к нему вступление, в котором пояснял основную мысль гравюр Дюрера. Брант ныл, жаловался, что не может избавиться от бессонницы. Еще один такой месяц, и придуманный им корабль отвезет их самих в страну сумасшедших.

Бергман видел — к осенней ярмарке ему с «Кораблем» никак не поспеть, но все-таки подгонял обоих авторов. Пришлось Альбрехту вопреки своему желанию принести в типографию с дюжину сделанных рисунков. Сидел в это время у Бергмана Михаэль Фуртер, известный

базельский гравёр. Ему печатник и показал Альбрехтовы работы. Фуртер долго их изучал. Затем многозначительно посмотрел на Бергмана. Этот взгляд, в котором было и восхищение, и удивление, красноречивее всяких слов сказал: сделаны гравюры первоклассно. Теперь у Бергмана появилась ещё одна забота — задержать Дюрера на возможно большее время в Базеле. Обращаться к Шонгауэру с просьбами отложить отъезд было бесполезно. Тот уже не раз на подобные обращения заявлял: молодой художник — человек свободный, когда захочет, тогда и уедет. Из-за одной вредности поступит как раз наоборот. Поэтому нарушил Бергман все обычаи и дал подмастерью ученика, будто мастеру. Выбрал Дюрер Гейнца, который, по его мнению, мог бы завершить задуманное им. Засиживались за полночь. Вместе доделывали начатое, вместе бились над новыми рисунками.

Помощь Гейнца тем более оказалась кстати, что получил Альбрехт ещё одно письмо от отца. Дюрер-старший был в гневе: сын не только не прислал своего портрета, но и вообще не соизволил выразить никакого отношения к невесте. Пришлось отложить в сторону все, сесть перед зеркалом. Бергман расщедрился, подарил лист пергамента. Нет, не собирался Альбрехт изображать себя в робе ремесленника, не собирался он ставить себя ниже какой-то там Агнес Фрей с её знатными родителями. Подумаешь — дочь купца и патрицианки! Разве он, художник, не отмечен печатью божьего дара — таланта?

Было потеряно несколько драгоценных дней, но автопортрет вышел именно таким, как хотелось. С поразительной точностью выписано лицо юноши. Оно ещё не тронуто невзгодами. Рыжие локоны тщательно расчесаны, словно гребень бойцового петуха, задорно сидит на голове красная шапочка. Мускулистый торс обтянут шелковой рубахой, расшитой золотом. Не ремесленник взирал на зрителя, а гордый молодой патриций. В угоду Агнес нарисовал в своих руках веточку чертополоха — символ мужской верности. Георг был первым критиком. И первыми его словами были: не высоко ли он метит?

Разделавшись с автопортретом и отправив его с оказией в Нюрнберг, Дюрер снова набросился на гравюры к «Кораблю дураков». Вот этой работой он действительно мог гордиться. Ничего ни у кого не позаимствовал, все создал сам. Когда зашел в типографию к Бергману проститься — попросил ещё раз показать ему доски. Выстроились они, словно ландскнехты на смотре. Сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят... Рассматривал их Дюрер, и грустно становилось на душе, будто навсегда прощался с чем-то дорогим и любимым. Теперь, когда гравюры были завершены, он ясно видел все их достоинства и недостатки. Но вместе с

тем понимал и то, что в работе над ними создал собственную манеру. Невозможно было спутать их с гравюрами ни одного из известных ему мастеров. Они были только его и больше ничьи. Иллюстрируя труд Бранта, перешагнув он рубеж, отделяющий подражателя-подмастерья от самобытного художника.

А потом все вместе сидели в трактире — и Брант, и Амербах, и Бергман, и Шонгауэр. Пялили на них глаза из-за всех столов: Дюрер теперь стал знаменитостью. Молва о его гравюрах к поэме Себастьяна успела обежать базельские улочки. Брантовы студенты и Бергмановы подмастерья рассказывали всем, кто хотел слушать, как Дюрер, отказавшись от еды и питья, а заодно и от сна, за месяц — ну, может быть, чуточку больше — создал восемьдесят гравюр, равных которым в мире еще поискать — большую часть иллюстраций к поэме.

Похвал в тот вечер выслушал Альбрехт немало. Обычно молчаливые мастера сейчас на слова не скупились, жалели, что покидает он Базель, однако добавляли, что остается здесь его труд примером для подражания и что будут впредь на этом примере учиться многие. Так, по крайней мере, несколько раз сказал во всеуслышание Бергман, преподнесший в дар своему бывшему подмастерью новый набор инструментов для изготовления гравюр, самый лучший, какой только можно было разыскать в Базеле. И Бергман и Амербах — оба в один голос заявили: если будет ему плохо в других местах, пусть возвращается в Базель — двери их типографий всегда открыты для него.

Пасмурным осенним утром 1493 года по пустынным базельским улицам надрывно проскрипели повозки, увозившие так и не распроданный скорб золотых дел мастера Георга Шонгауэра. Итак, на север! Георг тянулся за своим счастьем. А вот Альбрехт Дюрер отправлялся на поиски неизвестно чего. Вглядывался, прощаясь, в еще спящие окна домов и не мог отделаться от чувства, что его-то счастье остается здесь.

Может быть, Страсбург и понравился бы Альбрехту, если бы...

Лил непрерывно противный ноябрьский дождь. А им пришлось битый час ругаться с владельцем постоялого двора, пока тот не согласился найти для них место и не разрешил милостиво перетащить под навес промокшее насквозь имущество.

Хотя помещение для мастерской они нашли легко, однако никто не поспешил к ним с заказами — привыкли доверять своим мастерам. Деньги таяли. Плюнул Альбрехт на все и отправился обивать пороги местных типографий, но везде один ответ: гравер не требуется, свои мастера есть.

Страсбургский печатник Иоганн Грюнингер никак не мог понять: почему это он отправился искать счастья в Страсбург, когда здешние художники спят и во сне видят Базель? В конце концов получил Дюрер от Грюнингера заказ на две гравюры — распятие Христа и голова Спасителя в терновом венце. Все свое умение вложил в их исполнение. Хвалил мастер Иоганн его работу, но на этом сотрудничество и кончилось.

А хозяина нужно было искать срочно. Пал окончательно духом Георг, стал невыносимым. Брант советовал правильно: надо от Георга уходить. Не так просто разорвать связавшую их нить, но все-таки решился. Снова пошел к Грюнингеру — возьмите, ради бога. Не день и не два надоедал мастеру Иоганну. Дарил привезенные из Базеля рисунки и гравюры. Грюнингер подарки брал. Потом уже и дарить стало нечего. Тогда предложил Дюрер написать портреты хозяина типографии и его дородной супруги — разумеется, бесплатно. Во имя обстоятельств пришлось поступиться принципом — изображать все так, как в жизни. Приукрасил обоих. Угодил и, распрощавшись с Георгом, перебрался к Грюнингеру.

Получилось весьма нескладно: через несколько дней свалила его с ног болезнь — почти на всю зиму. На месте Грюнингера другой бы его на улицу выбросил, а Иоганн даже доктора приглашал раза два. Пытался Альбрехт не быть ему в тягость, Как только боль отпускала, обматывал голову мокрым полотенцем, хватался за работу. Правда, толку было мало: из рук все валилось. В один из таких дней изобразил самого себя. На голове — полотенце, в глазах — боль и ужас, щеки ввалились.

О Нюрнберге теперь вспоминал часто. Вернуться бы на берега тихого Пегница, в родительский дом! Даже предстоящая свадьба с девицей Агнес не представлялась трагедией. А что здесь страшного: осядет в Нюрнберге, начнет самостоятельную жизнь...

Приход весны, яркое веселое солнце враз прогнали всяческую погань, в том числе и мрачные мысли. И вот тогда-то он и встретил свою первую любовь. Вместе прогуливались у городских стен. Прислушивались к щебету птиц, журчанию проснувшихся ручьев. Снова взялся Альбрехт за карандаш. Нарисовал двоих — обнявшихся, что-то друг другу нашептывающих.

Однако весенняя пора коротка. Набежала — встряхнула — кончилась. Успели уже деловитые купеческие караваны протоптать дороги сквозь распутицу. Грозное отцовское письмо разыскало сына и в Страсбурге. Требовал Дюрер-старший, чтобы Альбрехт возвращался домой, непременно к троице, в противном случае пусть пеняет на себя. Что стряслось за зиму в Нюрнберге? Может, дочери достойных Фреев

подвернулась более выгодная партия? Что бы там ни было, но отцовский приказ не преступишь. Стал собираться.

Ушел Альбрехт Дюрер из Страсбурга, не оглянувшись даже на его стены. Если б мог — забыл бы навсегда этот кошмарный год!

ГЛАВА III,

в которой рассказывается, как променял Дюрер молодую супругу на Италию, как познакомился в Венеции с братьями Беллини и как понял, что к мастерству ведет долгий путь.

В день троицы — 18 мая 1494 года — стоял Альбрехт на холме, с которого открывался вид на нюрнбергские красные стены, на Пегниц, разделивший город на две почти равные части. Четыре года не видел он родины. Скрипели колеса проезжавшего мимо купеческого обоза. А через четверть часа вошел караван в ворота Нюрнберга...

За длинным столом в отчем доме собрались родные и знакомые. Сыпались на возвратившегося из странствий вопросы. Какие цены на товары в Базеле и Страсбурге? Как одеваются ремесленники и патриции в Швейцарии? С кем успел познакомиться? Каждого интересовало свое. Крестный требовал подробного отчета о том, как поставлено книгопечатное дело в Базеле. Расцвел, когда сообщил Альбрехт, что книги из его типографии считаются образцом как у базельских, так и страсбургских печатников. Лишь он один с вниманием рассматривал привезенные Альбрехтом книги и гравюры. Оценивал прочность бумаги и качество печати. Показывал Альбрехт Брантов «Корабль дураков». Приобрел его на страсбургской ярмарке, выложив почти все сбережения. Не удивил. Поэма Себастьяна была уже известна в Нюрнберге. Ее хвалили. Но только сейчас узнали, кто делал гравюры. Спустя год предлагали Дюреру большие деньги, чтобы повторил он свои рисунки. Собрались издать «Корабль» в Нюрнберге. Удивил Дюрер заказчиков, наотрез отказавшись это сделать.

Когда узнал Кобергер, что его крестник был иллюминатором «Корабля», сразу предложил: не хочет ли поработать у него? Платой обижен не будет. Альбрехт обещал подумать. Крестный не скрыл обиды: само собой, думать всегда полезно, но тем не менее не грех бы к думам еще и деньги иметь, они семье пригодятся.

Ах да — семья! Предстояла ведь свадьба...

Перешел разговор на семейство Фреев. Знали их хорошо. Да и как не знать, когда Ганна Фрей, урожденная Руммель, всему городу надоела своими сетованиями на обиды и несправедливости, которые терпит она, патрицианская дочь, из-за того, что ее отец разорился? Дело в том, что отец Ганны, фактор банка Медичи в немецких землях, вследствие этого обладал

правом избираться в Совет сорока. Но в год рождения Альбрехта поразило его первый удар судьбы — банк Медичи лопнул. Собрались патриции, обсудили банкротство Руммеля и, вздохнув, лишили его права занимать место в совете: нищим там делать нечего. Вот и пришлось Ганне Руммель выйти замуж за купеческого сына Ганса Фрея. Правда, супруг ее был богат, вел обширную торговлю с Австрией, Штирией, Венгрией. Но преследовал Ганну рок: постепенно сужался круг клиентов Фрея, пришлось ему с убытком продать торговую контору. Осталась у него только литейная мастерская, выпускавшая настольные фонтанчики. На них была мода, так что мог Ганс рассчитывать на определенный доход.

Прислушивался Альбрехт к разговорам о Фреях. Не понимал, что побудило отца торопиться с этой свадьбой. Вся знатность рода его суженой осталась в прошлом. На деньги тоже, видимо, не приходится надеяться. А уж характер его будущей тещи Ганны не сулил ничего хорошего. И все же — увы! — отцовская воля — закон.

Назавтра состоялись смотрины невесты. Не могла скрыть девица Агнес своего разочарования, когда представили ей жениха. И Альбрехт не был в восторге от невесты. Красотой не блещет. Лицо ничего не выражающее, тяжелые, словно опухшие ото сна, веки. Фигура пышная, с годами превратится Агнес в толстуху. Впрочем, в Нюрнберге полнота не недостаток.

7 июля 1494 года состоялось бракосочетание Альбрехта Дюрера и Агнес Фрей. Это событие не было занесено в городские хроники — не патриций ведь женится. Были сделаны подарки, произнесены подобающие случаю поздравления. И жизнь вошла в свою колею.

Прошла неделя. Уже на третий день после свадьбы заговорил Альбрехт о том, что не мешало бы ему съездить в Венецию: там он еще немного подучится и тогда уж обязательно станет в Нюрнберге первым художником. А это ведь почет, деньги. Играл на струне, наиболее Фреям понятной. Агнес, однако, в слезы. Пришлось замолчать. Тоска...

Работа могла бы отвлечь, но даже к ней не лежит душа. С Агнес уже обо всем переговори и успели друг другу смертельно наскучить. Она старательно делает вид, что ее очень интересуют гравюры, привезенные мужем из Базеля. Сидит у стола и вяло перелистывает их. А он от скуки взял карандаш, бумагу — стал рисовать. Будто гири висит на руке, потеряла она прежнюю сноровку. Свинцовая палочка почти бесшумно скользит по бумаге. Несколько точных штрихов — и появляются на бумаге очертания платья, контуры белокурых волос со смешными хвостиками-косичками, рука, на которую оперся подбородок, длинный мясистый нос.

Полуопущенные веки. Он почти готов — эскиз к портрету полудевчонки-полуженщины, задумавшейся над чем-то, может быть, очень важным. Готово! Остается написать всего два слова — «Моя Агнес». Альбрехт протягивает свой рисунок супруге. Она смотрит на него безучастным взглядом.

Будто огнем обожгла его мысль: а ведь он не любит сидящую перед ним женщину и никогда не полюбит. Ему уже сейчас противны эти мясистые веки, нависшие над водянисто-голубыми глазами, ненавистна ее манера разговаривать. Он никогда не примирится с тем, что ей безразличны его труд, его мечты и его стремления, а главное — что искусство может доставить ей радость лишь тогда, когда его ценность точно выражается в гульденах. Виновата ли она в этом? Видимо, нет, но от этого не легче.

Молодые кочевали от одних родителей к другим: неделя у Фреев, другая у Дюреров. Раза два Гансу удалось затащить зятя в свою мастерскую. Пытался заинтересовать его производством фонтанчиков. Дюрер отнесся к ним безразлично. Несколько раз после того случая с Агнес брался Альбрехт за карандаш, но так ничего путного и не создал. Завершил только рисунок, изображавший кладбище святого Иоанна — в угоду Фрею, который, как ему казалось, в этой полупатрицианской семье лучше других относился к нему. Для Ганса кладбище было дорого тем, что там покоилось не одно поколение его предков. Оно было излюбленным маршрутом его загородных прогулок. После того как Фрей приобрел под Нюрнбергом клочок земли, на котором поставил по примеру знатных горожан «виллу» — так пышно именовался в семье обыкновенный домик для летнего отдыха, эти прогулки совершались часто. Обычай покидать душный город летом в числе многих других был завезен в Нюрнберг из Италии и доставил совету города немало хлопот: некоторые горожане вообще перебрались в свои поместья и поставили его перед необходимостью решить вопрос, считать или не считать их нюрнбержцами, признавать или не признавать за ними прежние права?

Судя по всему, Фрей с радостью переселился бы на свою «виллу» — подальше от горластых домочадцев, но опасение потерять право горожанина удерживало его от этого шага. Однако летом он давал себе волю. Брал обычно с собою Альбрехта к неудовольствию Ганны и Агнес.

В августовские ночи полыхали зарницы и падали звезды. Было тревожно и душно. Фрей ворочался с боку на бок, молился. В одну из таких ночей поделился с ним Альбрехт планами поездки в Венецию. Тесть кряхтел, не решаясь высказать своего мнения.

Над «виллой» величаво плыли облака — на юг, в сторону Альп...

Дни блаженства, однако, кончились неожиданно. Агнес и Ганна с несколькими родственниками привезли ужасную новость: чума, гулявшая до этого по многим немецким землям, завернула в Нюрнберг. В городе начался мор. Ганна настаивала на том, чтобы на некоторое время перебраться в одно из отцовских поместий. Переждать, отсидеться! Агнес и Альбрехт, конечно, поедут с ними. Ганс решил воспользоваться оказией. Почему бы не отправить молодых в Венецию? Пусть посмотрят, как люди живут в других странах. Это все рассказы, что там одна лишь распущенность. Нравы строгие. Нарушишь законы — пожалеешь, что на свет родился. Деревянную сваю без разрешения забьешь — тюрьма, огрызок яблока в капал бросишь — изгнание.

Замечание мужа насчет строгости венецианских нравов Ганна пропустила мимо ушей. Раскричалась. Как он может предлагать Агнес такую поездку? И этого еще с ума сбивает. Тоже досталось сокровище их дочери — дармоед!

Дармоед... Это слово на всю жизнь застряло в ушах Дюрера. Не забыл его и не простил. Не одна только теща так думала. Хоть и украшал себя всеми силами Нюрнберг, ко далеко было до исполнения предсказания Кобергера об уважении к художникам. Как считала прежде молва их бездельниками, так и продолжала считать. Делом, по мнению горожан, занимались купцы, нотариусы, ювелиры, на худой конец портные. Но рисовать картинки — разве это труд? Что ж, тем лучше. Если так, он волен поступать как считает нужным. И объявил о своем решении: ни в какие поместья он не поедет, а отправится в Венецию. И ничто его не остановит — ни слезы, ни брань, ни отцовские запреты. Он уезжает — и все тут.

В первый день осени 1494 года, в день святого Гильгена, в Нюрнберге умерло девяносто шесть человек. Чума брала власть над городом. Дошла почти до Дюрерова дома: скончался Вильгельм Пляйденвурф. Жители бросились вон из города, подальше от отравленного воздуха! Фреи уехали, взяв с собою Агнес. Альбрехт остался тверд в своем решении.

Медлить было нельзя. Весть о чуме в Нюрнберге распространялась по окрестным городам. А это значило, что не всякий купеческий караван рискнет принять к себе зачумленного. Правда, ученые лекари утверждали: опасен лишь зараженный воздух, а не люди. Только в народе было на этот счет другое мнение.

В начале сентября, наскоро простившись с родителями, Альбрехт покинул город. Торопился: скоро зима, станут неприступными альпийские перевалы.

Повезло. В ближайшем городе натолкнулся на караван, направлявшийся в Италию. Купцы спешили: предстоял им путь неблизкий — добрые две недели. Но если чума нагонит их, начнутся неминуемые задержки, а это потеря времени и денег. Поэтому привалов почти не делали.

Слухи о чуме в Нюрнберге опережали караван. Все чаще перед ними захлопывались ворота городов. Приходилось ночевать под открытым небом: нюрнбержцев боялись словно посланцев смерти.

Миновали Аугсбург, прошли Миттенвальд. В Инсбруке решили задержаться на день — и лошади, и люди нуждались в отдыхе. В ту же ночь умер один из купцов, самый молодой. Эта смерть не осталась без последствий. Утром появился на постоялом дворе посланец городских властей. Обвинил купцов в том, что завезли они в город чумного, и требовал их всех к ответу. Дело грозило крупным штрафом, и купцы, естественно, заупрямились: и так они много заплатили — пошлину, подорожную и тому подобное. Больше не получают с них ни пфеннига. Ах так! Ну, тогда двери на замок и к дверям стражу!

Просидели бы купцы из-за своего упрямства в Инсбруке всю зиму, если бы не Андреас Кунхофер, приставший к каравану в Аугсбурге. Кто он был таков, никто толком не знал — студент или путешествующий ради своего удовольствия. Правда, одно было ясно, что не купец и не разбойник. Припоминал Альбрехт, что была в Нюрнберге семья Кунхоферов, впрочем, ничем себя не прославившая. И что вроде бы как-то в библиотеке Региомонтана слышал он о младшей ветви и ее представителе Андресе, изучавшем в Италии математику и астрономию. Пытался по пути поговорить о пропорциях, но Андреас отвечал односложно и снова уходил в свои мысли, которые, видимо, были не такие уж веселые.

Не с руки было Кунхоферу торчать бог знает сколько времени на постоялом дворе. Попытался он было уговорить стражников, чтобы пропустили караван дальше — не вышло. Но безрезультатно эти переговоры все-таки не закончились. Когда смерклось, выбросили они с Альбрехтом свои пожитки из окна, выбрались сами — стража сделала вид, что не заметила, — и двинулись на другой конец города, где жил какой-то знакомый Андреса. Их у него, впрочем, было в каждом городе по дюжине, не менее.

Так получил Альбрехт возможность без помех побродить по городу, осмотреть его и даже кое-что зарисовать, например, инсбрукскую крепость — бург. Рисунок вышел удачный. Но вот беда — начались тут дожди,

солнце почти не выглядывало из туч.

Кунхофер ли постарался или власти наконец вняли голосу разума: если караван зачумлен, то не резон его держать в городе. Отпустили их на все четыре стороны. Но в ту пору дожди размыли прямую дорогу на Триент. Пришлось идти в обход, сделав немалый крюк. Больше всех это известие взволновало Андреса. Видимо, спешное дело было у него в Венеции.

Однако что поделаешь? По размытым дорогам не поскачешь. Теперь волей-неволей привалы приходилось делать чаще. Это давало Дюреру возможность рисовать с натуры. Упражнял свою руку и глаз. Рисовал акварелью. На память, а может быть, и про запас — для будущих надобностей. Стали эти его рисунки первыми в немецкой живописи пейзажами. До сих пор пейзажа как самостоятельного жанра в Германии не было. И хотя был Дюрер еще не силен в передаче перспективы, тем не менее изображения путевых ландшафтов у него столь точны, что потом удалось проследить по ним весь его маршрут. Здесь нет традиции — не вгрызаются горы щербатыми зубьями в небо, не поражают фантастическими силуэтами. Краски великолепны: зелено-голубые и красновато-фиолетовые скалы, отражающиеся в темной воде пожелтевшие деревья, бесконечное голубое небо. Какое впечатление производили эти рисунки на его попутчиков? Вероятно, художник казался им чародеем. Впрочем, они были купцами, и у них были другие, куда более важные заботы.

Чем ближе подходили к Венеции, тем большее беспокойство овладевало караваном. И не без причины. Все подробнее выспрашивал Кунхофер встречных путников: что там, за Альпами? Ведь за Альпами было беспокойно. Неудачное время выбрал Дюрер, чтобы учиться у итальянцев. Завязывался в Италии тугий узел, который потом пришлось истории распутывать несколько веков. За два года до его поездки стал римским папой Родриго Борджиа, принявший имя Александра VI. Ни для кого не было тайной, что получил он тиару за деньги, купив голоса коллегии кардиналов. И до него процветала в римской церкви «симония» — взяточничество и продажа духовных санов, и его предшественники покровительствовали собственным отпрыскам, рожденным в грехе. Но Александр VI дошел до крайних пределов. Имена его детей — Цезаря и Лукреции — стали для истинно верующих символами того морального разложения, в который все больше погружался Ватикан.

Даже сама церковь осуждала своего главу. Истовый католик — французский король Карл VIII — воспользовался этим: не мог он якобы терпеть такого безобразия. Чаша гнева его переполнилась. В 1494 году

высадился он по просьбе Людовика Мора — миланского герцога, опасавшегося за свой престол, — в Италии и двинулся на юг, к Риму, чтобы сокрушить первосвященника, поправшего христианскую мораль.

Вера верой, мораль моралью. Но другие государи тоже не лыком шиты. Разгадали они этот маневр: стремился Карл VIII вернуть Неаполитанское королевство, никогда не принадлежавшее анжуйскому дому, установить свое господство в Италии.

Встревожился король Испании, задумался и император Максимилиан о безопасности альпийских перевалов. Венецианский сенат дал понять, что готов объединиться и с тем, и с другим, чтобы выставить французов из Италии. И пошли с караванами из немецких земель «купцы», не умевшие торговать, «ученые», не собиравшиеся совершенствовать свои знания, «монахи», равнодушные к римским святыням. Некоторые из них оседали при итальянских княжеских дворах и даже при дворе самого папы. Большинство же словно исчезало бесследно. Крупницы добытых ими сведений текли в Аугсбург, в Нюрнберг, в императорскую канцелярию в Линце. Да, неудачное время выбрал Альбрехт Дюрер, чтобы совершенствовать мастерство художника!

Об этом без околичностей и сказал ему Андрес, с которым сдружились за долгую дорогу. Выразил сожаление: с живописцами ему до сих пор дела иметь не приходилось. Знает он, правда, братьев Беллини. Но это птицы высокого полета. Трудно ручаться, что примут они Альбрехта...

Венеция открылась перед ними как-то вдруг, и была она совсем не такой, какой представлялась Дюреру. Не блистали золотом городские кровли. Адриатическое море оказалось далеко не лазурным, а совершенно серым. Видно, был виноват в этом тоскливый холодный дождь. Привстав на стремянах, пытался Альбрехт рассмотреть дворцы и соборы, о которых в пути рассказывал Андрес.

Остановились на постоялом дворе, принадлежавшем немцу. Таков неписанный закон: прежде всего ищи своих, держись друг за друга. На следующее утро Андрес отвел Альбрехта в Фондако деи Тедески — «Немецкое подворье». Фондако — в самом центре Венеции, у моста Риальто, не заблудишься. Здесь заключали сделки, назначали деловые свидания. Тут всегда толпился народ — купцы, ростовщики, факторы. Разыскивали земляков, получали письма, меняли деньги или просто убивали время. Здесь распрощались: Кунхофер вынужден покинуть его на некоторое время, ему предстоит идти на юг.

Оставшись без Андреса, боялся Дюрер отходить от подворья. А что,

если окажется правдой все то, что слышал он о Венеции как городе мошенников и буянов? В Фондако увидел впервые Альбрехт мавров и наводящих на Европу ужас турок, но здесь они были мирными. Однажды забрел сюда на подворье и вовсе диковинный гость — индеец. Кавалеры-венецианцы в богатых, расшитых золотом кафтанах встречались на каждом шагу. Заглянули в Фондако и несколько местных дам в пышных платьях из дамаста и кружевных накидках. Подметил Альбрехт — итальянца от немца отличить нетрудно: у немцев платье узкое, обтягивает фигуру, а венецианские одеяния свободные, со множеством складок. Сделав такое наблюдение, начал искать среди земляков спутников для прогулок по Венеции. Желающих что-то не находилось. А те, к кому обращался, стали даже обходить его стороной. Уже потом ему объяснили: его бесцельное пребывание на подворье, где все заняты делом, наводило на подозрение — не агент ли он страшного Совета десяти? Были ведь они и среди немцев. Это только официально считается, что совет надзирает за венецианскими должностными лицами, на самом деле под его присмотром и каждый иностранец.

Так что пришлось Альбрехту знакомиться с Венецией самостоятельно. Начал с площади Святого Марка. Поразила его площадь своей красотой, взгляда не мог отвести от стоявших по обеим ее сторонам Прокураций. То, что здесь размещалось правительство Венеции и жили сановники-прокураторы, Дюрер знал от Кунхофера. А вот о знаменитых конях, сотворенных древними мастерами, Андреас ничего не сказал. Остановился как вкопанный, увидев их. С час не мог насмотреться на это чудо.

...Пьяцетта — «маленькая площадь», рядом видно море. Лениво покачивались на воде сбежавшиеся со всех концов света в Венецию корабли. Море было огромно и несравнимо ни с чем.

Через несколько дней Дюрер отважился плавать по каналам на гондоле. Каждое такое путешествие приносило новые открытия. Решил он посетить все венецианские соборы. Подолгу простаивал у алтарей. Это было рукотворное чудо, которому он не уставал удивляться. Имена их создателей звучали как музыка — Кривелли, Виварини, Карпаччо, Беллини, Чима да Конельяно...

Кунхофер все не возвращался. И без него не решался Дюрер посетить мастерскую Беллини. Что, если в суматохе собственных дел забыл Андреас о мимоходом брошенном обещании? Но эту мысль Альбрехт гнал прочь и каждый вечер упрямо отправлялся в Фондако. Упорство его было вознаграждено. Альбрехт заметил Андреаса сразу, как только вошел в зал. Сидя в самом дальнем темном углу, Кунхофер беседовал с купцом,

которого Дюрер видел на подворье впервые. Купец, несмотря на начавшуюся в Альпах зиму, видимо, собирался, вернуться на родину, и Кунхофер передавал ему какие-то поручения. Упомянули в разговоре Вилибальда Пиркгеймера, обучавшегося в Павии. Как понял Дюрер, получил тот приказ от отца прервать свои занятия в университете и немедленно отправляться домой. Вилибальду такое насилие было весьма не по душе.

Выглядел Андрее усталым, и неудивительно — весь сегодняшний день ему пришлось провести в седле. Приехал он с юга. Рассказал: во Флоренции горожане приняли Карла VIII как освободителя. Провожая его в дальнейший поход, они присвоили ему титул «восстановителя флорентийской свободы» и отсчитали двадцать тысяч гульденов. Французский король предложил Александру VI сдаться на милость победителя, но тот ответил, что уж его-то слугой он никогда не будет. Пока счастье сопутствует Карлу — ему удалось захватить любовницу папы Джулию Фариезе. Все гадают теперь, что будет дальше? Вилибальд Пиркгеймер в разговоре с ним говорил, что папские прегрешения пугают простой люд в Италии, который считает: сел на престол святого Петра антихрист и сатана. Колеблется вера. Если сомнение в папской непогрешимости перекинется за Альпы, кто знает, что произойдет в Германии, где крестьяне и ремесленники и без того волнуются: мол, все их страдания происходят из-за того, что правят ими безбожники.

Посидели еще немного с Кунхофером. Пытался Дюрер узнать что-либо о художниках других городов Италии. Но Андреас ничего толком объяснить не мог. Сказал лишь, что слышал, будто то ли скульптор, то ли литератор по имени Альберти утверждает, что с помощью линейки и отвеса можно любую скульптуру разложить на угловые величины и размеры, после чего не составит особого труда создать ее совершенно точную копию. Более того, одну часть копии можно изготовить, скажем, на знаменитом своим мрамором острове Парос, а другую — где-нибудь в Италии. И тем не менее, сложенные вместе, они составят единое целое. Но относится ли это к пропорциям, он, Андреас, честное слово, не знает.

Альберти! Опять всплыло это имя. Может быть, не стоило ехать искать истину в Венецию, если ее разгадка лежала в Региомонтаповой библиотеке в Нюрнберге?

Спросил Кунхофер: с кем из живописцев Альбрехту удалось познакомиться, был ли у Джованни Беллини? И, узнав о том, что пока еще не пришлось и что знакомыми он тоже не успел обзавестись, возмутился: такого недотепу первый раз в жизни видит. Чем же он вообще занимался?

Ну ладно, завтра же можно пойти к Беллини.

Оставшись один, долго переживал Альбрехт причиненную ему обиду, перебирал в памяти дни, проведенные в Венеции. Чем занимался?! А эти десятки рисунков, эти копии с гравюр Мантеньи! «Смерть Орфея», «Вахкханалия»! Никогда не понять Кунхоферу, как много он узнал, трудясь над ними. Постиг, как передавать объем фигуры, догадался, что не обозначением нескольких складок на одежде нужно изображать движение, как учил его Вольгемут. Передать на бумаге движение, Андрее, возможно, лишь зная строение человеческого тела. И вот они — зарисовки обнаженной натуры! Может быть, скажешь, как и другие, что немецкое искусство такого разврата не примет? Но это не разврат, Кунхофер, а сама жизнь. Искусство же для того и существует, чтобы изображать ее. Да впрочем, стоит ли злиться на этого доброго малого? Ведь нашел же он время, чтобы разузнать о пропорциях. Не забыл. Может быть, и не ради него, Дюрера, может быть, его как математика тоже заинтересовала эта проблема. И к Беллини они все-таки пойдут вместе!..

На следующий день повез Андрее Альбрехта к Джованни Беллини, несравненному Джанбеллино, как ласково называли художника венецианцы. Было не исключено, что они могли застать там и старшего брата Беллини, Джентиле, не менее известного.

Баловни судьбы... Как еще назовешь мастеров Беллини! Жители Венеции боготворили своих живописцев. Сейчас мессер Джентиле трудился над картиной, изображающей торжественную процессию на площади Святого Марка. Весь город только и говорил о ней.

Дюрер уже видел картины обоих братьев и отдавал предпочтение младшему, Джентиле все же присуща некоторая сухость в письме. Джованни — другое дело! Завоевав славу к тридцати годам, Джанбеллино не успокоился, продолжал стремиться к еще большему совершенству. Ни одна из его картин не походила на предшествующую. Считался художник подлинным мастером в изображении природы, в передаче света, знал законы перспективы. Вот у него бы Альбрехт с удовольствием поучился. Но это исключалось: иностранцы не допускались в венецианские мастерские.

В доме Джованни Беллини привыкли к частым визитам. Появление немцев не вызвало удивления. Андрее разом охватил взглядом мастерскую и устремился к долговязому детине, только что протиснувшемуся через боковую дверь. Венецианец покосился на папку в руках Дюрера, пожал плечами и снова скрылся за дверью. Кунхофер ворча вернулся к Альбрехту: вечно у этого Большого Георга, по-итальянски Джорджоне, голова

пустяками забита, никогда не помнит о деле. Ведь договорился же с ним вчера в Фондако. А тот забыл предупредить мастера.

Наконец Джорджоне вывалился из двери красный как рак. Наверное, попало ему от маэстро. Поманил их за собой. И вот они у самого Джанбеллино!

Мессер Джованни был явно не в духе. Не сказав и слова в ответ на учтивое приветствие, протянул руку к папке. Первый рисунок не привлек его внимания, второй тоже, более или менее заинтересовался лишь четвертым: бург в Инсбруке. Его мастер рассматривал дольше других. С оставшимися Джованни расправился быстро — мельком взглянул и отложил в сторону. Сказал что-то стоявшему за его спиной Джорджоне, но что именно, Дюрер не понял.

Джанбеллино захлопнул папку, обратился на сей раз непосредственно к Дюреру. Андресу пришлось взять на себя роль толмача. Но не о рисунках говорил Беллини, а о роли пейзажа. По его мнению, может он играть лишь второстепенную роль. С помощью пейзажа можно подчеркнуть перспективу, добиться изображения третьего измерения на плоскости. Об этом, кажется, говорил Мессина, живописец из Сицилии. Далее посетовал Джованни с некоторым кокетством: не приходится отрицать, брат и он сам преуспел в живописи немало, но, должен признать, муж их сестры, Андреа Мантенья, все-таки выше их. Тому удалось разгадать тайны греческой скульптуры. Это помогло ему придать своим картинам объемность фриз. Можно лишь сожалеть, что не поставил он свою кисть на службу Венеции. И что только влечет его ко двору Лудовико Гонзага? Это было, пожалуй, все, что сказал Джованни Беллини. А Джентиле Беллини так и не появился.

Потом долго стояли с Кунхофером на берегу Большого канала. Андрес был хмур. Сталкивал в воду камушки, наблюдая, как медленно расходятся от них круги. Понял ли Альбрехт, что сказал Беллини Джорджоне? Нет? Джованни изрек: для немецкого варвара этот Дюрер рисует довольно сносно...

Вскоре Кунхофер снова куда-то таинственно исчез. Альбрехт уже один несколько раз заходил в мастерскую Беллини, но в конце концов ему дали понять, что здесь ему искать нечего.

Поддержку Дюрер нашел там, где искал меньше всего, — в Фондако.

Земляки-купцы, узнав, кто такой Дюрер и зачем он прибыл в Венецию, старались теперь ему помочь кто чем мог. Они сносили на подворье все, что, по их мнению, могло представить интерес для Альбрехта — рисунки, гравюры, книги, даже картины. Сопоставляя работы различных мастеров, Дюрер пытался без посторонней помощи проникнуть в их тайны. Делал

точные копии с гравюр Мантеньи и Антонио Поллайоло. Но это перестало удовлетворять его — особенно штриховка. Достигать подобия мраморных фриз он не собирался, ему нужна точная передача действительности. Он возвращается к тому штриху, который применял еще в Базеле. Это оживляет рисунки, тем не менее до поставленной цели все так же далеко. А пока что он приблизился к осуществлению девиза аугсбургских мастеров: делать так, чтобы было не хуже, чем у итальянцев. Все услышанное о манере письма итальянских мастеров и методах их обучения он пытался тотчас же воплотить в жизнь. Если, как полагал Беллини, Мантенья достиг совершенства, рисуя древние статуи, то почему бы и ему не попытаться сделать это? Правда, статуи для него недоступны — он не вхож в венецианские дворцы, но ведь можно приобрести их уменьшенные копии, продающиеся в лавках. Купцы подарили ему восковую фигурку Аполлона, копию той мраморной скульптуры, которую десять лет назад выкопали в Риме и которой до сих пор не уставали восхищаться. Дюрер рисовал ее до полного изнеможения — во всех мыслимых ракурсах. Копировал также изображения сатиров, кентавров, тритонов. Этих просто про запас, хотя и мало было вероятности, что они пригодятся ему в Нюрнберге. Там предпочитали существ пострашнее — таких, как на шонгауэровском «Искушении св. Антония». Попытался также срисовать с натуры фигуру льва, что стоит на площади Святого Марка как символ мощи и храбрости Венеции. Однако от этой попытки пришлось отказаться, ибо вокруг стали собираться любопытствующие бездельники, готовые к насмешкам над чем угодно.

И все же правильно говорят: нет худа без добра. Насмешки зевак привлекли к нему внимание знаменитого Джентиле Беллини, проходившего по площади. Поразило его, что рисует Альбрехт, несмотря на то, что холодно и карандаша в пальцах толком не удержишь. На такое способен только человек одержимый. Подошел, пригласил следовать за собой. Не мог взять в толк Дюрер, чем заинтересовал он официального живописца республики. Во всяком случае, не своей же жалкой мазней, долженствующей изображать перспективу площади Святого Марка. А Джентиле не только защитил его от насмешников, но любезно пригласил бывать у себя в мастерской. Конечно, слава старшего Беллини ставила его выше всех законов и традиций Венеции. Да и секретов он никаких не раскрывал. Мессер Джентиле просто показывал Альбрехту свои эскизы к «Шествию на площади Святого Марка», рассказывал, где и когда познакомился с людьми, изображенными на них, почему считает их достойными попасть на полотно. А что касается техники живописи, то

Беллини о ней умалчивал...

Казалось, что становится все на свои места, что следует Дюреру подольше задержаться в Венеции, съездить и на юг. А он вдруг заторопился домой. Первое путешествие художника в Италию оставляет впечатление незавершенности, какой-то незаконченности, словно было оно прервано на полпути в связи с какими-то обстоятельствами. Отсутствие денег? Весьма возможно, но Дюрер их всегда мог бы занять. Не исключено, что приходили из-за Альп письма от отца, выражавшего возмущение тем, что сын бросил молодую жену, умчался в дальние края и думать забыл о ней. Только вряд ли это побудило бы Альбрехта бросить все и сломя голову нестись в Нюрнберг.

Видимо, дело в том, что живопись Венеции, хотя и достигшая к тому времени своего расцвета, все же оказалась не в состоянии дать ему того, что он искал. Он, безусловно, слышал о таких великих именах, как Леонардо да Винчи и Микеланджело, тем более что последний, бежав из Флоренции, зиму провел в Венеции и разговоры о нем не смолкали в тех кругах, которые посещал молодой Дюрер. Сохранившиеся рисунки говорят о том, что он должен был обязательно разыскать и хотя бы поговорить с Андреа Мантеньей, живописцем, перед чьим искусством он преклонялся. Может быть, для этого он и предпринял поездку в Павию к Вилибальду Пиркгеймеру.

Правда, ко всему прочему, время в Италии было беспокойное. 31 декабря 1494 года войска Карла VIII взяли Рим и основательно разграбили «Вечный город». О января папа принял французского короля в Ватиканском дворце, отдал ему в заложники Цезаря Борджиа, уговорил оставить Рим в покое и идти в Неаполь. По Италии пополз слух, что французский король, этот поборник истинной католической веры, продался сатане. Карл взял. Неаполь, был провозглашен неаполитанским королем, после чего снова повернул на север, ибо получил сообщения о союзе, заключенном между королем Испании и императором Максимилианом. На полпути его встретил неистовый флорентийский бичеватель пороков Савонарола, и проклял как изменника делу обновления церкви. На севере Италии назревала новая война. Здесь уже было не до живописи.

Да к тому же у Альбрехта вдруг пропала охота к усвоению итальянских уроков. Такие периоды апатии посещали его потом не раз. Теперь он чаще бывал на море, чем в венецианских соборах. Ему посоветовали отправиться в предместье Санта-Клара, где к самой лагуне подступают фруктовые сады, и на остров Чертоза — приют рыбаков. Вот там можно видеть настоящее море!

И он отправился в путь. Первое впечатление от моря было ужасным, словно ты один на всей земле и твой голос теряется в давящей тишине. И чем только влекла к себе Мартина Бегайма эта бескрайняя пустыня? Уже потом, побывав несколько раз на острове Чертоза, Альбрехт избавился от этого наваждения. И море ожило для него. Рыбаки показывали странных животных, извлеченных из таинственных глубин. А он, удивляясь многообразию жизни, старательно рисовал омаров, крабов, невиданных рыб, пытался передать их расцветку с помощью водяных красок. На морском берегу ему никто не мешал. Никто не отпускал колкостей, как это было на площади святого Марка. Он мог ошибаться, начинать заново. Неудавшиеся рисунки рвал и бросал в море. Будто стая мотыльков, уносились бумажные клочки в безграничный простор или опускались на воду и колыхались на ней, собираясь в веселые стайки. Море больше не пугало — оно успокаивало...

Оставалось еще приглашение Пиркгеймера. Кунхофер был прав: не откликнуться на него — значит оскорбить патриция, от которого, может быть, зависит вся дальнейшая судьба. Но теперь уже сам Андрес, вновь появившийся в Венеции, просил отложить поездку в Павию. Появилось новое дело, осуществлению которого Альбрехт мог бы содействовать. Поскольку оно было связано с живописью, Дюрер ответил согласием. Оставалась, конечно, опасность, что очередной караван нюрнбергских купцов привезет от отца приказ немедленно возвращаться на родину, но ведь даже и в таком случае можно было бы найти предлог, чтоб задержаться в Италии на месяц или на два.

Так состоялось знакомство Дюрера с мессером Якопо по прозвищу Барбари, что значило «варвар». Своей кличкой Якопо был обязан не происхождению, а поистине несносному характеру. Но что бы там ни было, у него единственного хватило смелости взяться за выполнение заказа нюрнбергского купца Антона Кольба создать план-чертеж Венеции, хотя это и могло бы привлечь внимание Совета десяти. Правда, заломил он за него небывалую цену и поставил условия: в случае осложнений с властями города германский император должен принять его на должность придворного живописца. Были или нет у Кунхофера такие полномочия, но он ответил согласием. И на следующий день явился к Барбари вместе с Кольбом, весьма кстати оказавшимся в Венеции. Договор на исполнение живописных работ был подписан.

Не заказ Кольба и даже не обещание Андреса заплатить за помощь Барбари влекли Дюрера в мастерскую строптивного венецианского

живописца. Тетради Барбари — вот что ему было нужно. О них он уже столько слышал: будто содержатся в них все тайны живописного мастерства. Справедливости ради следовало сказать, что никто из говоривших самих тетрадей не видел. Но ведь нет же дыма без огня!

Барбари рьяно взялся за дело, Дюрер со своим умением быстро и точно передавать увиденное на бумаге был для Барбари истинной находкой. Его помощь приближала мессера Якопо к заветной цели. Оба художника побывали на острове Сан-Клементе, вместе взбирались на самую высокую колокольню. Когда взглянул оттуда Альбрехт вниз, то даже дыхание перехватило: огромный город лежал у его ног, со всеми своими соборами, палаццо, жилищами простого люда, каналами, площадями. Барбари было не до красот, его занимало другое: найти центр города, сделать первый набросок — ту схему, которая станет остовом гигантского чертежа. Здесь, на колокольне Сан-Клементе, услышал Дюрер впервые более или менее связный рассказ о том, что такое перспектива. Нанося на бумагу линии, которым предстояло на плане стать каналами, овалы и квадраты, обозначающие просторные площади, Барбари учил: на рисунке или картине Венеция выглядела бы иначе. Отсюда, с высоты, можно видеть, как постепенно уменьшаются в размерах предметы второго, третьего и остальных планов, как размываются очертания находящихся у горизонта строений. Вон там, где глаз уже ничего не различает, все линии сошлись как бы в фокусе. Это и есть перспектива.

А спустя некоторое время, когда установились между ними почти дружеские отношения, увидел наконец Дюрер знаменитые тетради Барбари. В них мастер просто заносил все, что когда-либо слышал или прочитал о живописи. Удивили Альбрехта нарисованные в них странные человеческие фигуры, состоявшие из одних квадратов, окружностей, треугольников. Что же это — искусство или чернокнижие? Дальше шли таблицы ничего не говорящих ему цифр, наброски, вдоль и поперек исчерканные линиями. Скрывалась ли действительно за этими загадочными рисунками какая-то тайна? И если да — то почему тогда Барбари, ее обладатель, не создал гениальных картин, которые посрамили бы его недоброжелателей и завистников? Почему, уклонившись от состязания с ними, намеревался сбежать из Венеции?

Как-то раз Барбари начал говорить о том, что законы пропорций человеческого тела были открыты уже в глубокой древности Фидием, Праксителем и Апеллесом. Альбрехт весь обратился в слух. Но Якопо только посетовал, что от великого их труда остались лишь скудные упоминания в старых рукописях. Невежество и зависть губили уже не раз

великие открытия. Каждый раз приходилось людям начинать сначала. Вот и все, что мог сказать Барбари о пропорциях. Как далеко бы ушла живопись, если бы каждый художник начинал свой путь оттуда, где остановился его предшественник!

Побудил Дюрера этот разговор снова вернуться к копиям древних статуй. Сравнивал их, делал вычисления. Итог был плачевным: или не существовало в искусстве никаких закономерностей, или же все эти копии были несовершенные.

Поездка в Павию все-таки состоялась, хотя Дюрер туда и не особенно рвался. Но как правильно говорил Андрес, нельзя не откликнуться на приглашение патриция. К тому же Вилибальд все-таки друг детства. По мере приближения к цели путешествия все больше стало попадаться навстречу вооруженных людей — то стягивались войска, собиравшиеся дать решительное сражение Карлу VIII. Папа из Рима призывал как следует проучить «безбожника», посягнувшего на римские святыни. Патрон Вилибальда Пиркгеймера герцог Франческо Гонзага откликнулся на призыв «святого отца» и присоединился к антифранцузской лиге. Кунхофер все больше начинал сомневаться, застанут ли они Пиркгеймера в Павии. И где тогда его искать: у французов или в войсках лиги? Теперь не поймешь, на чьей стороне надлежит быть. Все выступают за «истинную» веру, только неизвестно, за какую. Вопросы веры Андреса не особенно волновали. Значительно больше его сейчас беспокоило то, что скажет отец Вилибальда, старый Иоганн, если он не вернет его сына домой.

Оказалось, что опасения напрасны — Вилибальд преспокойно пребывал у себя дома в Павии. Его мало занимали распри между папой и королем, хватало своих забот. В комнатах ни с чем не сравнимый беспорядок. Повсюду разбросаны книги и рукописи. Рисунки, которым цены нет, валяются на столах, мнутя. Поверх них — лютни, какие-то другие музыкальные инструменты. Час уже не ранний, но Вилибальд не соизволил проснуться. Слуга насилу его добудился: Пиркгеймер выскочил к ним полуодетый. Буркнул нечто вроде приветствия...

Пиркгеймеру силы не занимать — могучие плечи ратника, круглое лицо топорной работы, на котором красуется перебитый нос. Несмотря на свою массивность, быстр в движениях. По сравнению с этой грудой мяса кажется Альбрехт узкоплечим, изнеженным.

Передав Дюрера под опеку Пиркгеймера, Кунхофер исчез из Павии. Думал Альбрехт, что Вилибальд познакомит его с живописцами, поведет в их мастерские. Однако ничего подобного.

Дни шли; среди новых знакомых Дюрера оказалось много поэтов и музыкантов — людей, безусловно, интересных, только для него совершенно бесполезных. Вместе с Вилибальдом побывал даже на лекции знаменитого юриста Ланселота Деция. Патриций превозносил ученого до небес: тот, кто не слышал его, никогда не постигнет поэзии права, логической стройности кодекса Юстиниана. Профессор сыпал латынью, будто горохом из мешка, так что Альбрехт ровным счетом ничего не понял.

Потом появились среди знакомых и живописцы, но не шли они ни в какое сравнение с венецианскими, даже Барбари был на голову выше их. Однажды с сожалением сказал Пиркгеймер: вот бы Альбрехту приехать пораньше. Вызывал он его в Павию после разговора с Андреа Мантепье, обещавшим показать немецкому живописцу свою мастерскую. И что он так долго торчал в Венеции? И дождался: Франческо Гонзага вызвал мессера Андреа к себе; теперь-то он, видимо, вернется не скоро.

С Пиркгеймером было интересно. Хотя он говорил откровенно, что всем искусствам предпочитает поэзию, однако в живописи все же толк знал. Даже сам рисовая сносно: в этом Дюрер убедился, когда увидел альбом с зарисовками разрушенных римских зданий, «каменных свидетелей прошлого», как выражался Вилибальд. Поясняя свои рисунки, рассказывал о взглядах древних на архитектуру, цитировал по памяти древних авторов. Когда же Альбрехт посетовал по поводу гибели творений Апеллеса, Вилибальд высказал мысль, что не все здесь потеряно: погребло действительно многое, но остались описания некоторых картин.

Мантеня все еще пребывал в Мантуе, так что оставаться в Павии Дюреру не имело никакого смысла. Да и Вилибальду, судя по всему, было сейчас не до Альбрехта. В письме, которое привез Андрес, Иоганн Пиркгеймер приказывал сыну немедленно вернуться в Нюрнберг. И чтобы не смел заканчивать университет и получать диплом доктора прав, ибо дальнейшая судьба Вилибальда уже определена: ему предстоит стать членом Совета сорока. Каждую мелочь учел старый политик — даже то, что не мог стать членом совета холостяк. Потому невеста из знатного патрицианского рода — некая Кресценция Риттер — ожидала Вилибальда в Нюрнберге.

Несчастливым человеком считал себя Пиркгеймер-младший — родитель все время перечеркивал его планы: хотел стать рыцарем — отец повернул на другую стезю, увлекся древностями — отец заставил изучать право, в конце концов увлекся юриспруденцией, но и тут старик оборвал занятия, приказал возвратиться в Нюрнберг неизвестно ради чего. Хорошо понимал эти жалобы Альбрехт, сам в свое время был точно в таком же положении.

Аугсбургские купцы, возвращавшиеся на родину из Рима, доставили Альбрехта назад в Венецию, а оттуда он, не мешкая и дня, поспешил домой — в Нюрнберг.

ГЛАВА IV,

в которой рассказывается о том, как Дюрер стал мастером, как у него появились первые заказчики и покровители, как началась его дружба с Вилибальдом Пиркгеймером и как был создан «Апокалипсис».

Притча о блудном сыне, как известно, заканчивается тем, что отец, радуясь возвращению сына, заколол упитанного тельца и созвал гостей на пир. Но немногие знают, что было потом. А Альбрехт узнал: потом были попреки, слезы, нахмуренные брови, косые взгляды. Когда он собирается приступить к работе? Когда намеревается сдавать экзамен на звание мастера? Разве он не знает, как трудно стать в Нюрнберге мастером? Многих надо уговаривать, умасливать, а прежде всего Вольгемута. От его слова зависит благорасположение других.

Альбрехт подумал и решил, невзирая на недовольство Фреев, вернуться на некоторое время в мастерскую Михаэля. Если возьмет, конечно. Вольгемут обещал по думать: вот летом уйдет один из подмастерьев, тогда можно будет и поговорить.

А пока что с утра уходил Альбрехт за город. Шел наугад, куда глаза глядят, выискивал красивые ландшафты. Рисовал. Но больше злился на близких. Уж отец-то мог бы понять, не подстегивать. Постепенно завалил комнату зарисовками каменоломен, скал, оврагов, деревьев. Тут был и карандаш, и акварель. Пытался в этих простых работах найти разгадку тайн перспективы. Одна беда — за такие рисунки никто ничего не платил. И это лишь вызывало новые ссоры в доме. Отец требовал заняться наконец делом: не берет Вольгемут, пусть идет к Кобергеру — у него тоже рука в совете есть. А то ему уже на улицу выходить совестно. Пальцем показывают. Воспитал, мол, сына, будто патриция, целыми днями шатается без дела. Денег им в доме разве не нужно?

Наконец ушел Вольгемутов подмастерье. Мастер Михаэль просил передать: пусть приходит. Сильно сдал учитель. Часто вспоминал Пляйденwurфа, даже с сожалением. Ученики Вильгельма после его смерти разбрелись кто куда. Гравюрой он, Вольгемут, теперь не занимается. Но в живописи пока за ним первое место. Если Альбрехт помнит — как раз перед его уходом в Венецию умер викарий церкви св. Лоренца Райль. И завещал наследникам заказать «эпитафию» для его могилы, изображавшую распятого Христа. Весной вот этого, 1495 года, они обратились к Вольгемуту, и он за короткий срок выполнил их просьбу. До сих пор

удивляются в городе, как это удалось шестидесятилетнему мастеру превзойти самого себя. Увидев позже «эпитафию» в церкви св. Лоренца, разгадал Альбрехт причину неожиданного взлета мастера Михаэля. Была она написана по наброску, за который в свое время выслушал ученик Дюрер немало нелестных слов от своего учителя.

Уже в первый день стало ясно, почему Вольгемут взял его к себе: надеялся, что поставит с его помощью у себя граверное дело. Но Дюрер не согласился — появились теперь и у него свои секреты. Другим их просто так уступать резону не было. Мастеру Михаэлю сказал, что хочет-де поучиться у него владеть кистью. Долго колебался Вольгемут, потом согласился. Был у него один заказ. Небезызвестному Зебальду Шрайеру пришла идея перестроить свой дом на Бургберге на венецианский манер и расписать в нем два зала сценами из греческой жизни. Стал мастер Михаэль читать список фигур, которые предстояло изобразить: Орфей, Аполлон, девять муз, семь греческих мудрецов, Амфион и еще с десяток сюжетов того же рода. Пока еще Вольгемут не создал ни одного эскиза. Появление Альбрехта оказалось кстати — мастер надеялся на рисунки, привезенные им из Италии. Принялись они с Вольгемутом отбирать нужное. С Аполлоном трудностей не было, подыскали и Орфея, и муз. Но как дошли до греческих мудрецов и Амфиона — дело застопорилось. О них Альбрехт не знал ровным счетом ничего. Порешили: пусть сам Шрайер объяснит, что ему нужно.

Через несколько дней появился Вольгемут в доме Дюреров — подписывать контракт. Можно было бы сделать это и в другом месте, но смекнул Альбрехт, что тем самым протягивает ему мастер руку помощи. Смотрите, мол, вы ему пеняете, а я вот столь ценю его талант, что не поленился сам прийти. И сумму, которую собирался уделить будущему помощнику из гонорара, назвал несколько раз громко, чтобы все слышали. По понятиям Альбрехта, была она огромной. Вот вам и картинки!

Сговорившись, мастер Михаэль заторопился домой. Альбрехт вызвался его проводить. Колебалось от ветра тусклое пламя фонаря. Ночь, как нарочно, темна, будто сажа, ни зги не видать. Всю дорогу промолчали. Да и что говорить? Без слов поняли друг друга.

На следующее утро вместе пришли в дом Шрайера. Там все вверх дном, словно турки стояли постоем. А виноват Вольгемут. Хозяин предложил ему написать фрески. Живописец отказался: мол, не обучен. Если уж почтенный Зебальд обратился к нему, а не к итальянским мазилам, то пусть обошьет эти два зала досками. Он по штукатурке не пишет. Вот почему пахло в доме стружками, мелом и еще чем-то

кисловато-сладким. Вольгемутовские ученики заканчивали грунтовку стен. Через несколько дней можно было приступать к росписи. Шрайер торопился: на носу осенняя слякоть. Ко всему прочему должен был со дня на день приехать Цельтес. Писал он Шрайеру, что приветствует его начинание и с большой охотой сочинит назидательные подписи для картин, но для этого ему нужно видеть хотя бы эскизы.

Конрад Цельтес появился в Нюрнберге, когда его уже и ждать перестали, ибо осень вступила в свои права и дороги превратились в сплошное месиво. Не успел Цельтес очистить грязь, которой был заляпан с головы до ног, как потащил его хозяин осматривать «греческие залы». Смотреть пока было нечего — живописцы успели набросать лишь контуры будущих картин.

Эскизы Цельтесу, как видно, понравились. Дюрер не ожидал этого: слишком много было в них вольгемутовского — угловатость, изломанность линий. Между тем Конрад, как поклонник итальянских гуманистов, должен был обратить на это внимание. И обратил, конечно, но вопреки ожиданиям Альбрехта похвалил: вот это в немецкой манере. Мастер Михаэль прав: итальянская манера в ее чистом виде в Германии не привьется. Каждый народ должен искать свое, любить свою страну и свою историю. Не первый уж раз слышал такое Дюрер, притом часто от таких людей, которые готовы молиться на всякую римскую статую. В чем же дело? Наверное, в том, что через свои обычаи не прыгнешь. Но тогда и живописцам в Германии не подняться до того почета, которым пользуются их итальянские коллеги. И, как нарочно, подтвердил это сам Цельтес во время обеда, на который Шрайер любезно пригласил и обоих живописцев.

Насытившись, стал рассуждать Конрад о высказывании Пико делла Мирандолы, что есть, мол, три мира: элементарный, интеллектуальный и небесный, иными словами — универсум. Вот этот самый универсум посредством божественной «инспирации», вдохновения то есть, отражается в трудах ученых и литераторов. Разум человеческий несовершенен, поэтому каждый по-своему толкует снизошедший на него импульс, а временами и вовсе не понимает его. Вот здесь-то и отважился Альбрехт спросить: распространяется ли на живописцев божественная инспирация? Не задумываясь ответил Конрад: конечно, нет — в противном случае была бы живопись искусством, а она как была ремеслом, так им и остается.

Обидело это высказывание Дюрера. В течение всего остального обеда не промолвил он и слова. Правда, о живописи больше не говорили. Поэт рассказал о том, что обнаружил в библиотеке регенсбургского монастыря

рукопись монахини Розвиты из ордена бенедиктинок в Гардерхейме. Вот воистину всем находкам находка! Подумать только — в этой рукописи целых шесть комедий. И каких комедий! Не кривя душой, может он смело поставить их в один ряд с произведениями Теренция и Плавта. А восемь стихотворений Розвиты! А ода — посвящение императору Отто! Пусть теперь посмеют утверждать, что у немцев не было писателей, которые могли бы соперничать с древнеримскими. Надо искать упорно и настойчиво. Сколько еще таких сокровищ таится в немецких монастырях!

Клятвенно заверил Цельтес: как только освободится он от неотложных дел, немедленно приступит к печатанию комедий Розвиты. А одно из таких дел он уже завершил — издал Тацитов у «Германию», посвятив свой труд городскому совету Нюрнберга. И дерзнул присоединить к ней собственное произведение — историческое и географическое описание «Норимберга».

Как тут обижаться на Конрада? Разве Альбрехт не любил свою землю точно так же, как он?

Вилибальд Пиркгеймер приехал в Нюрнберг вскоре за Цельтесом. А до этого перед домом на Главном рынке почти ежедневно на протяжении двух недель останавливались фуры. Сгружали мебель, какие-то таинственные неподъемные тюки. Вывод из всего этого можно было сделать только один: семейство Пиркгеймеров собиралось прочно и надолго обосноваться в Нюрнберге. Когда же досужие кумушки разнесли по городу весть, что старый Пиркгеймер обратился в городской совет с просьбой предоставить Большой зал ратуши для торжеств по случаю бракосочетания своего сына с девицей Кресценцией Риттер, тут уж и гадать было нечего.

В дюреровский дом весть о возвращении Вилибальда первой принесла Агнес. Никогда до этого она не проявляла особого интереса к семейству Пиркгеймеров, а тут стала приставать прямо-таки с ножом к горлу: пусть отправится Альбрехт в Пиркгеймеров дом засвидетельствовать свое почтение. Ясно, чья работа: это Ганна Фрей все полагает, что без знакомства с патрициями ничего не достигнуть. Не пошел Альбрехт, и первая его встреча с Вилибальдом произошла в доме на Бургберге.

Закончив подготовительные работы, приступили художники к росписи «греческих залов». Ученики работали с оглядкой на учителя — дюреровское норовили переписать по-вольгемутовски.

В тот достопамятный день пришлось Альбрехту по совету Михаэля и требованию хозяина, наслушавшегося поучений Цельтеса, придать более благопристойный вид чересчур оголившейся музе, и дошел он вследствие

всего этого до белого каления. Пригрозил бросить работу, если не будут считаться с ним. Распалившись, не заметил даже, что внезапно перестал мастер Михаэль огрызаться. А потом услышал знакомый смех...

Спрыгнул с помоста. Ну конечно же, Вилибальд!

Вот кто их спор решит... Но у Пиркгеймера от собственных забот голова пухнет: 13 октября — день свадьбы. Нужно обойти с визитами все патрицианские дома, пригласить сильных мира сего на свое бракосочетание. Не сделаешь этого — обида на всю жизнь, а ведь отец прочит его в члены совета.

Вызвался Дюрер проводить Пиркгеймера до следующего патриция. Интересно все-таки узнать, что там нового в Италии. Вилибальд рукой махнул: что теперь ее вспоминать, далеко она, за Альпийскими горами. Навряд ли ему достанется такая покладистая супруга, как у Альбрехта, что отпустит его одного в Венецию. Сказал таким тоном, будто не с визитом шел, а к речному омуту топиться.

Немалый переполох вызвало в дюреровском доме приглашение на пиркгеймеровскую свадьбу. Не забыл Вилибальд об Альбрехте. Отец для подарка молодоженам отдал два лучших своих кубка. Но стоимость их Альбрехт возместил, благо деньги появились. Спасибо Шрайеру — не скупясь заплатил за гравюру, сделанную по его настоятельной просьбе. Дело в том, что уговорил он Цельтеса сочинить оду в честь патрона Нюрнберга — святого Зебальда и взял на себя все расходы по ее изданию. К ней и создал Альбрехт гравюру — первую после возвращения. Шрайер отправил и доску, и рукопись оды в Базель к Бергману — нюрнбергским мастерам не доверил.

Выполняя Шрайероз заказ, не заметил Альбрехт, как подкралась зима. Выбелила нюрнбергские улицы, загнала жителей в дома — поближе к очагам. Под рождество расплатился Зебальд с живописцами. И снова остался Дюрер не у дел. В мастерской Вольгемута затишье — постаревший Михаэль растерял прежнюю ретивость. Работой теперь себя особенно не загружал. За «греческие фрески» получил Дюрер звание мастера. Многие помогли — и Шрайер, и Ниркгеймер. Но больше всех, пожалуй, мастер Михаэль. Он сказал, что замысел и исполнение на две трети принадлежит его бывшему ученику, и назвал его своим преемником. Но не торопился Дюрер открывать собственную мастерскую. Нужно было приноравливаться к нюрнбергским вкусам. Знания и опыт, приобретенные в Италии, оказывались здесь ни к чему. Видел теперь это и сам, без подсказки Цельтеса — не приживутся греческие боги, музы и мудрецы в холодном

Нюрнберге. Об итальянской манере здесь говорят много, по таким любителей, как Шрайер, много не найдешь. Плоть в Германии греховна. Так было, так будет.

Нет, не нужны Нюрнбергу языческие боги. Не им поклоняется город, а христианским святым и мученикам за веру. Был и пребудет в веках имперский город цитаделью католицизма. Мощи святого Зебальда обрели здесь место последнего успокоения в великолепной раке. С уважением говорили нюрнбержцы о некоем Николае Муффеле, собиравшем святыне реликвии. Было их у него ни много ни мало, а ровно триста, а его посланцы продолжали шарить по всему свету в поисках новых, ибо дал Муффель обет довести их число до трехсот шестидесяти пяти — по количеству дней в году.

Отложил Дюрер в сторону до поры до времени итальянские гравюры, извлек гравюры Шонгауэра. Этот мастер немецкие вкусы знал — осторожненько перекидывал мосток от старого к новому, не отвергая целиком прежней манеры и не оскорбляя ничьей веры. Для покорения Нюрнберга избрал Дюрер такой же путь. И обрушился на сограждан поток его гравюр: мученичество святого Иоанна, убиение святого Себастиана, страдания святой Катерины, скорбящая богородица, страсти Христовы — бичевание, возложение тернового венца, несение креста, распятие...

Не приносила работа удовлетворения. Все это вроде бы эскизы к чему-то главному. А вот к чему? Искал ответа и не находил. Чтобы развеяться, шел к крестному. Здесь все будило в памяти дорогие воспоминания: Рейвих, Брант, Бергман... Запах типографской краски приятно щекотал ноздри. Шум печатных прессов успокаивал. Это был тот мир, к которому Альбрехт тянулся всем сердцем. Он твердо решил посвятить себя гравюре, которая так же, как книга, может прийти в любой дом, рассказать каждому, даже тем, кто не ведаёт латыни, о мыслях и чувствах мастера, создавшего ее. И ведь она — не алтарь. Его видят от силы сотня-другая людей, да и то зачастую не зная имени его создателя — художника. Да и к чему оно верующим? Не живописцу они молятся, а святым, им изображенным.

Крестный Антон был захвачен новой идеей. Все свои помыслы теперь посвящал он разработке новых шрифтов — таких, чтобы давали ровную и четкую строку, не шатались в разные стороны, подобно подвыпившим подмастерьям. Подбирался к Альбрехту — не возьмется ли тот за это дело? Но нет, сейчас не до этого. Кобергер пожимал плечами. Влюбленный в свое дело, не понимал, как другие могут быть равнодушными к нему.

В сонете, однако, Альбрехт крестному не отказывал. Только не всегда его мнение совпадало с мнением Антона. Как-то раз увидел Дюрер доски,

приобретенные крестным в Кёльне. Собирался Кобергер повторить издание знаменитой «Кёльнской библии». Но потом изменил замысел. Парис из рисунка исчез, остались одни женщины — кокетливая Венера, мудрая Минерва, не привыкшая выставлять напоказ свое тело и поэтому стыдливо пытающаяся прикрыть его, и Юнона — супруга Юпитера, женщина замужняя, а посему набросившая на лицо вуаль. А за ними с кислой улыбочкой стоит богиня раздора Дискордия. Решил переосмыслить Дюрер древний миф, приспособил его к немецкому пониманию: женщина вводит в грех, от нее все зло. Появились поэтому на его гравюре слева — врата ада с поджидающим свои жертвы дьяволом, справа — врата смерти. А чтобы на этот счет ни у кого сомнений не было, нарисовал Дюрер и яблоко раздора, висящее почему-то на потолке, а на нем три буквы — ОСН, что значит — «мерзость рода человеческого».

Пиркгеймер хохотал до слез: какие же это богини, это же сущие ведьмы. И оказался прав: утвердилось за этой гравюрой в народе название «Четыре ведьмы». И возможно, не так уж далек он был от истины, когда, почесав свой бритый подбородок, изрек: нет, никогда не подняться Альбрехту до светлой легкости итальянской живописи, душа у пего богобоязненная — истинно немецкая душа.

Вскоре начались в судьбе Дюрера большие перемены.

Штатгальтером Нюрнберга, то есть наместником императора, имевшим право чинить здесь суд от его имени и призванным блюсти интересы империи в целом, был назначен саксонский курфюрст Фридрих. Нюрнбержцы этим решением остались довольны. Главное — курфюрст был умен, недаром же его прозвали Мудрым. Гонцы из Саксонии принесли весть, что весной 1496 года Фридрих прибудет в Нюрнберг, чтобы вступить в свои права.

В апрельский день, необычно теплый, прокатила по нюрнбергским улицам карета саксонца, продралась сквозь многочисленную толпу к бургу прибывшая с ним свита и стража. Поглазев вместе с другими на въезд штатгальтера, вернулся Дюрер к своим занятиям. Однако по второй половине дня пришлось их бросить: посыльный городского совета чуть не разнес в щепы дверь дома, так торопился передать Дюреру весть, что штатгальтер желает его видеть. От кого курфюрст узнал о существовании художника Альбрехта Дюрера, некогда было выяснять. Помчался в бург.

Принял Альбрехта курфюрст в жарко натопленных покоях, видимо, едва успев отдохнуть от дороги и обеда. Коренастый, плотный, похожий на крестьянина, Фридрих ворчал, что-де замучила его проклятая жажда —

кормили пищей чересчур жирной. С этого и начался их разговор о вещах простых, житейских. Кто отец и пребывает ли он в добром здравии? У кого учился Альбрехт мастерству? И тут будто из-под земля появились бумага, угли, серебряные палочки-карандаши. Не словам вера, а делу — так, кажется, говорят в Нюрнберге? Пусть-ка Дюрер изобразит его, а уж он сам судить будет, правду ля говорят, что у него зоркий глаз и твердая рука и что в умении не уступит он итальянцам. Фридрих сидел не двигаясь, застыв истуканом. Одни губы шевелились — рассказывал курфюрст о знакомых ему художниках и их картинах. Умело рассказывал — с доброй ухмылкой, ремесла живописцев не унижал. Временами забывал Альбрехт, зачем, собственно говоря, сюда зван. Но Фридрих напоминал: времени у него в обрез и следует торопиться. Рисунок удался. Чувствовал это Дюрер. С листа бумаги уже взирал на него двойник курфюрста: широкие вразлет брови, распахнутые глаза, нависший над пышными усами мясистый нос. Приступил к шитому шелком и золотом камзолу. Однако прервали — появился человек из свиты, стал делать тревожные знаки. Но Фридрих особой спешки не проявил. Покряхтывая, встал со скамьи, взял у живописца рисунок, посмотрел. Собрался, видимо, высказать свое мнение, да появился в дверях еще один придворный. Оставалось курфюрсту лишь чертыхнуться вполголоса и поспешить за ним.

Вот незадача. Не знал Альбрехт, что ему делать, — уходить или ждать. Снизу докатились приветственные клики. Это Фридрих появился среди собравшихся гостей. В комнату вкатился слуга. Передал приказание спуститься вниз.

Там просторный зал был переполнен до отказа. Духотища. Вокруг Фридриха кольцом нюрнбергские патриции. Плотно стали — не пробьешься. Но слуга, по всему видно, человек бывалый, мертвой хваткой вцепился в руку Дюрера, тянет за собою к штатгальтеру. Тех, кто поплоче, — брюшком в сторону. Между именитыми проскальзывает, будто уж. Курфюрст беседовал с каким-то осанистым чужеземцем с золотой цепью чуть ли не до пупа, когда Дюрер предстал перед ним с рисунком в руке. Видимо, как раз вовремя, ибо Фридрих выхватил у него свой портрет и сунул его под нос собеседнику. Все Италия и Италия! А вот что умеют в Нюрнберге!

Стоявшие рядом столпились плотнее, задние поднялись на цыпочки, пытаются рассмотреть. Сопят, прокашливаются, но молчат. Кто знает: может, решил курфюрст подурочиться. Мудро житейское правило: держи свое мнение подальше от языка, тогда не осрамишься. И вдруг из задних рядов — восторженный басыще Вилибальда: это же просто чудо, походит,

мол, портрет на оригинал, как одна капля на другую! А с того места, где стоит Пиркгеймер, ни черта не видно. Но первое слово сказано, и курфюрст с этим мнением согласился. Пошутил, однако: уж слишком много сходства у него с Эразмом Роттердамским, того и гляди придется заняться толкованием латинских текстов. Шутка пошла по залу. Широкое мужицкое лицо курфюрста, покрасневшее от выпитого вина, расплылось в улыбке. Сегодня был он весел и щедр. Сказал, что заказывает Дюреру свой портрет. Нет, нет, это не все — куда же мастер заторопился? Заказывает еще и алтарь трехстворчатый.

Через четыре дня Фридрих покинул Нюрнберг. А накануне прислал к Дюреру своего слугу с деньгами — жаловал их живописцу на кисти и краски. О плате же за картины договорятся особо.

Начал Дюрер с портрета. Здесь откладывать нельзя: улетучатся из памяти подмеченные детали. Поскольку вроде бы порицал Фридрих итальянскую манеру, стал писать под Вольгемута. А рука не повинуется разуму. В результате с законченного портрета взирал на зрителя нюрнбергский патриций с дерзкими глазами итальянского кондотьера. Во всяком случае, был это не тот Фридрих, который раскатисто хохотал на приеме в бургe.

С алтарем — та же история. Тему его центральной части задал курфюрст; проиллюстрировать слова Симона, сказанные богородице: и меч пронзит душу твою. Другими словами, предстояло Дюреру изобразить мадонну скорбящую. Вольгемут сказал бы — нечего здесь мудрствовать, есть каноны, по ним и пиши. Альбрехт же отказался от всех обязательных в немецкой живописи символов. Он просто изобразил охваченную печалью мать. В нише окна пустого храма Мария молится над младенцем. Жесток и безразличен мир, поджидающий ребенка там, за толстыми стенами. В нем мало тепла и ласки, там с момента рождения человек обречен на физические и нравственные муки.

Не случайно изобразил Альбрехт на боковых створах святого Антония и святого Себастьяна: первый испытал все нравственные муки, второй — физические. Первой увидела картину его мать.

Необычность решения темы потрясла Барбару. Страшной показалась ей богоматерь своей обычностью — не святой была она, а простой женщиной. Барбара заплакала. Привычный для нее мир менялся, наступали грозные и непонятные времена. И эти изменения вдруг воплотились в сознании матери в святой Марии, написанной ее сыном богородице, которая не защитит, ибо сама беззащитна.

Начав работу для курфюрста, Альбрехт и не думал о том, что она

потребуется столько времени и сил. Прошла весна, лето давно уже вступило в свои права, а он даже не заметил этого. Каждый новый день начинался точно так же, как предыдущий. Кисти, краски... Проснувшись, художник спешил к своему алтарю, засыпая, думал только о нем.

С Вилибальдом виделся редко. Беседы сводились в основном к монологам молодого Пиркгеймера о своих дипломатических успехах. На пасху 1496 года, к великой радости старого Иоганна, Вилибальд большинством голосов был избран членом патрицианского совета Нюрнберга. Город, невзирая на молодость Пиркгеймера, возложил на него обязанность регулировать спорные вопросы с соседями. А споров Нюрнбергу хватало. Пиркгеймеру с одних переговоров приходилось мчаться на другие, лишь на короткое время заезжая домой. Удача, как кажется, сопутствовала ему, и это заставляло Вилибальда втягиваться в дело, которым он еще недавно готов был пожертвовать ради науки или литературы.

А Дюрер тем временем писал алтарь да исподволь создавал собственную мастерскую. Появились и первые ученики. И вот в одно прекрасное утро он вдруг заметил, что лето подходит к концу. Неудержимо потянуло прочь из пыльного и душного Нюрнберга. Стал снова исчезать на целые дни из дома. Только теперь не уходил далеко, как раньше, держался берега Пегница. Зарисовал почти все мельницы на реке, в том числе так называемые «Большую» и «Малую». Если уставала рука и утомлялся глаз, бросался ничком на пропахшую зноем землю. Нежно шелестели деревья, баюкали, возвращая в счастливую пору детства, когда все было так просто и ясно.

Там, за городом, впервые услышал разговор о том, что в одной из окрестных деревень родилась необычная свинья — об одной голове, но о двух телах. Толковали диковину по-разному, но большинство сходилось на том, что она не предвещает ничего хорошего. А городские мудрецы решили: это не иначе как предзнаменование окончательного раздела империи. Известно: что больше всего волнует, то и во всяком деле видится.

Погрыз в это время император Максимилиан в повой авантюре. В 1495 году на вормском рейхстаге выколотил он из владык немецких княжеств и городов крупные суммы. А на что их ухлопал? Начал новую войну — на этот раз в Италии. Женился он на Бьянке Сфорца, дочери убитого в 1476 году миланского герцога, получил в приданое триста тысяч золотых дукатов. Кажется, взял бы и на том успокоился. Но нет — подавай ему миланские владения. И снова война. Не приведет это ни к чему хорошему!

Дорогу в деревушку было легко найти. Валом валил по ней народ.

Действительно, чудище! Одна голова, два туловища, четыре пары ног, одна из которых растет прямо из загривка. Дюрер просил хозяев разрешить это чудо зарисовать. Согласились. Рисунок Дюрер показал крестному. Кобергер потребовал сделать гравюру. И немедленно. Много часов, не разгибая спины, бился Альбрехт над медной пластиной. Лишь к утру, стерев со лба пот, отошел от стола. Постоял в раздумье, снова сел и вырезал на пластине свою монограмму —



Через час, скрипел уже в кобергеровской типографии пресс.

Еще раз подтвердил крестный свою деловую хватку. Гравюру рвали из рук. Из доходов крестный выделил Альбрехту половину — это было немало. Впервые Агнес проявила интерес к делам мужа, с утра отправлялась на рынок, ученик из мастерской тащил за нею стопу гравюр, еще пахнущих типографской краской. Кобергеру предприимчивость Агнес нравилась: с такою супругою не пропадешь.

Идею с монограммой Кобергер тоже одобрил. Теперь нужно выходить на рынок. Да не на нюрнбергский, а пошире. Самим торговать гравюрами хлопотно. Нужны посредники, они понесут гравюры в другие города и страны, прославят имя мастера, создавшего их. Вскоре прислал Кобергер к Дюреру своего фактора Конца Швейцера, который рискнул взять на комиссию его гравюры. 8 июля 1497 года был подписан договор. Осторожный Швейцер лишь на год брал на себя обязательство «возить дюреровские гравюры из одной страны в другую, из одного города в другой» и по мере возможностей торговать ими, стремясь добиваться наиболее высокой цены, а также не оставлять их там, где нет на них спроса. Выручку обязался передавать Дюреру регулярно за вычетом еженедельной платы за услуги в размере полугульдена. Через две недели заключил Дюрер такой же договор и со Штефаном Кобергером.

Появились тем временем и первые серьезные заказчики из Нюрнберга.

Первыми заказали свои портреты сестры-патрицианки Фюрлингер. Альбрехт старался как мог, ибо нравились ему сестры — веселые, говорливые, не закрывавшие рта во время сеансов.

В начале осени возвратились Конц и Штефан. В соответствии с договором записали они «на бумажке» все проданные гравюры и выручку за них. Кроме этой «бумажки», не получил Альбрехт почти ничего: неходовой товар пока что гравюры в Германии, платят за них в десять раз меньше, чем за пару перчаток. Так что те жалкие гульдены, которые удалось выручить, перекачивали в карманы посредников за услуги. Кобергер, однако, советовал не опускать рук. Нужно, убеждал он, завоевывать итальянские рынки. Ясное дело — трудно.

Снова легли на стол Дюрера привезенные из Италии гравюры и рисунки. А у Кобергера продолжали печатать «Четырех ведъм». Им первым суждено перевалить Альпийские горы, проложить другим гравюрам путь в итальянские города.

Легко говорить, что нюрнбергские жернова все перемелют. Велением судьбы и по своей воле Альбрехт Дюрер оказался вдруг в положении этого самого жернова и понял, что задачу поставил себе не из легких. Не так просто отказаться от традиций. Еще сложнее привить людям новые вкусы. Какая-то раздвоенность видна в начавшемся после возвращения из Италии периоде творчества художника.

Дюрер был в отчаянии, метался от одной крайности к другой. Похоже, не раз называл себя бездарью, и от такой мысли у него опускались руки. Не она ли привела его к поспешному бегству из Италии — домой, к привычному, устоявшемуся? Он не понимал, чего достиг, как ребенок не замечает своего роста. Под карандашом и штихелем Дюрера пятна распались на линии, сплетающиеся, расходящиеся, прерывающиеся, вновь соединяющиеся. Гравюра вдруг обрела внутреннее движение. Если раньше только искушенный, натренированный глаз мог полностью понять изображенное, то теперь гравюра стала доступна каждому. Она стала своего рода книгой — рассказывающей, поясняющей, просвещающей. Она начала действовать на чувства, заставляя любить и ненавидеть, смеяться и плакать. Всего лишь несколько месяцев отделяло Дюрера от одного из основных подвигов его жизни. Всего лишь несколько месяцев, когда, опередив многих, он скажет мятущемуся, не видящему выхода народу: вот человек, жизни которого ты должен следовать, вот личность, которая несет добро, зовет тебя сравняться с нею. С того времени, когда столкнула его судьба с Себастьяном Брантом, бичевателем пороков и моралистом, неоднократно думал он об идеале и смысле жизни. Теперь он, как казалось,

нашел ответ на свой вопрос. Он спустил бога на землю. Показал на него: вот таким должен быть человек. Но если ты не исправишь своих пороков, то ждет тебя то, что описано Иоанном Богословом. Дюрер перевел Евангелие на доступный для него и основной массы народа язык — язык рисунка.

Первый сеятель вышел в поле и бросил начальную горсть семян, еще не ведая того, что сеет ветер, который обернется сокрушающей бурей. На рынках немецких городов появились гравюры из задуманной Дюрером монументальной серии «Страстей Христовых». Знатоки видели в них повторение гравюр Шонгауэра, искали совпадений в композиции и различий, но открытая Дюрером техника, облекшая бестелесных существ из неведомого мира в реальную плоть, сознательное изображение евангельских персонажей в современных Дюреру одеждах, казалось, говорили зрителям: на этой земле сию минуту распинают Христа и попирают оставленные им заветы. Видимо, так и воспринимались его гравюры теми, кто мучительно искал ответа на вопрос — что же произошло, почему все вдруг стало вверх ногами, а мир, кажется, катится к пропасти? Не гравюры на мифологические темы находили сбыт, а рассказ о жизни Христа, тысячу раз уже слышанный и известный во всех поворотах сюжета. Что-то новое, тревожащее было в этих гравюрах, которые заставляли задуматься и вроде бы давали ответ, но на самом деле ставили новые вопросы — что же делать, как быть дальше? Иногда всего важнее бывает поставить вопрос, ибо беспокойный человеческий разум не утомится до тех пор, пока не найдет на него ответ. Таков был дух Возрождения.

Шли бесконечные споры в пивной, где обычно собирались патрицианские отпрыски, но куда был допущен Дюрер, хотя в принципе ему как сыну ремесленника и самому ремесленнику здесь было не место. Тут же искали выхода. Тревожные известия докатывались до Нюрнберга, и молодой Пиркгеймер уже начал говорить о том, что исправление нравов нужно начинать с Совета сорока. К его словам прислушивались, пожимали плечами, удивлялись смелости суждений, однако наскоки на власть, к которой Вилибальд и сам был причастен, объясняли молодостью и незрелостью мысли. Потом-то все это ему припомнят...

Все больше распространялось в странах Европы недовольство существующими порядками, все большее количество людей выражало нежелание мириться со своим положением. Низы искали возможности выразить свои требования. Для них доступен был язык различных «пророков», толковавших Библию и отражавших их чаяния. Все чаще в

нюрнбергской «пивной для господ» говорили о том, что заворошился крестьянский и ремесленнический люд, что появились в городе пророчества сожженного на костре безумца Ганса Бёла, «дударя из Никласхаузена». Само имя его по велению папы следовало забыть, а вот поди же — помнят. Опасны были пророчества Бёма, ох как опасны, и это понимали патриции. Они не имели ничего против распространения моральных писаний Себастьяна Бранта, в которых призывал бывший поэт к самоусовершенствованию и искоренению пороков. А вот «дударь» — да будет забыто его имя! — советовал во имя спасения от надвигавшихся на немецкий народ бедствий разделить между всеми поровну имущество, отменить налоги и подати, предоставить всем право бесплатно пользоваться пастбищами, охотничьими и рыбными ловлями, платить священнослужителям не больше, чем поденщикам, искоренить накопительство и скопидомство.

И если бы только было дело в распространении сочинений этого богом и папой проклятого еретика! Появились и новые пророки, которые требовали того же. От новоявленных проповедников «божьего слова» и ревнителей забытых божьих заповедей на улицах Нюрнберга проходу уже не было. С ввалившимися щеками, горящими глазами, худые, будто сама смерть, потрясали они кулаками и драли глотки на площадях города. Кричали — разве не нынешнего папу-антихриста имел в виду святой Иоанн в своем «Откровении», говоря о семиглавом звере, на семи диадемах которого начертаны слова богохульные? Люди, посмотрите окрест себя: вон за каменными стенами, за железными дверьми, за окнами с крепкими решетками сидят ваши погубители! Они утаили от вас божьи заповеди — или вы можете читать Евангелие, которое до сих пор печатают на неизвестном для вас языке? Люди, те, кто погряз в разврате, убийствах и стяжательстве, откупятся от Страшного суда индульгенциями, денег им не занимать. А вы-то, горемыки, ничем не провинившиеся, вы-то за что пострадаете? Близок божий суд! Прольется чаша гнева господня! Приближается день и час расплаты! Смутьянов строго карали, выталкивали в лучшем случае взашей за ворота города, но они были неистребимы, появлялось их все больше и больше.

Настала пора, когда спрашивающих стало больше, чем отвечающих. Был час ожидания новых пророков. И воцарился повсюду страх. Наводнения, землетрясения, моры, которым раньше не придавалось особого значения, теперь толковались как знамения свыше. Начались видения. Городские власти сочли достойным занесения в анналы Нюрнберга рассказ одной старушки из Кузнечного переуллка, которой некий

голос приказал подняться среди ночи и отправиться в храм святого Зебальда. Там увидела она давно уже почивших сограждан и каких-то странных безголовых людей, которые истово молились. Но не богу, а дьяволу! Другие же видели не раз на городских кладбищах Человека в красном, ходившего среди могил и помечавшего что-то в своей книжице. Вновь ожили сказания о Диком охотнике, дьяволе, высматривающем свою добычу. Потом распространилось в Нюрнберге предсказание безымянного астролога, в котором говорилось, что 25 февраля 1524 года обрушится на мир второй потоп. Было время великого ужаса...

Этот ужас будет продолжаться четверть века, то утихая, то вновь вспыхивая. Люди будут жить с ним, и он будет определять их помыслы и действия. Кто знает, может быть, иным путем пошло бы творчество Дюрера. Возможно, привил бы он своим соотечественникам новый взгляд на искусство, не будь всего этого. Но он жил и творил в то время, когда, не вынеся мучительного ожидания Страшного суда, грешники кончали жизнь самоубийством, совершая тем самым еще больший грех, когда на площадях городов толпы людей занимались самобичеванием и ползли на коленях в церкви, оставляя за собою кровавые следы, когда прелюбодеи и браконьеры публично каялись в совершенных ими преступлениях, когда вчера еще цеплявшиеся за каждый грош ремесленники раздавали все свое имущество и шли с протянутой рукой на паперть. Дюрер родился и вырос в религиозной семье, он верил и в бога и в Страшный суд, он знал, что по немецким традициям изображение обнаженного тела считается греховным. Можно лишь отчасти представить те страдания и муки, которые раздирали его душу и сердце, и следует поражаться тому мужеству, с которым он продолжал начатое дело, той вере в человеческий разум и в конечную победу Света над Тьмою, Жизни над Смертью, Добра над Злом, которую он пронес до последнего своего часа.

Он работал над «Страстями Христовыми», обдумывал новую серию «Жизнь Марии», рассказ о радостях, страданиях и мучениях женщины, родившей того, кому следовало подражать в это страшное время. Но где-то в его сознании уже зрела, обретала конкретные образы новая тема — тема «Апокалипсиса».

Пели школяры: живу я и не знаю, как долго, умру я, по вот только когда, еду я, не ведая куда, и удивляет меня лишь одно — почему же я все-таки счастлив? И хотя шли дни, неумолимо приближая человечество к гибели — в этом никто не сомневался, — но, молясь и каясь, занимались люди своими делами — воевали, торговали, производили себе подобных.

Помолившись и купив индульгенцию, старались забыть о предстоящих кошмарах. Так же поступал и Дюрер. Он будто даже стал торопиться запечатлеть мир, которому предстояла гибель. Для кого? Для чего? Но не сидеть же сложа руки в ожидании Страшного суда!

«Мужская баня»... На гравюре он сам, Вилибальд Пиркгеймер, неизвестно зачем затесавшийся в их компанию Михаэль Вольгемут. Распаренные, они отдыхают в садике подле бани, ведут неторопливую ученую беседу. Ублажают себя яствами и музыкой. Ничего грозного, ничего страшного. Мир пока еще полон гармонии.

«Сон доктора»... Пиркгеймер, раздобревший, умиротворенный, заснул у теплой печки. Снится ему прекрасная Венера. Не поддавайся соблазнам, Вилибальд, проснись, и ты увидишь за спиною дьявола, который, орудуя кузнечными мехами, навевает эти порочные сны.

Ночами те же размышления о грехах и те же сны, где образ Дикого охотника переплетался с образами всадников из «Апокалипсиса». Днями — работа до изнеможения. Рисунки и гравюры теперь отложены. Альбрехт принялся за картину, изображавшую святого Иеронима на покаянии в Халкидонской пустыне. Название — дань традиции. Пустыни как таковой здесь нет. Есть город с красными стенами — такими же, какие окружают и Нюрнберг. Есть одетые пышной зеленью деревья, есть горы, покрытые снегом, — несомненно, Альпы. Передний план выписан особенно тщательно, каждая былинка, каждый кустик. Да, это травы и цветы его родной земли.

Картина, пронизанная светом и радостью бытия, — его последняя попытка оттянуть время исполнения темы, которая все больше созревает в нем, которая уже созрела. На обороте березовой доски «Св. Иероним» изображена кроваво-красная звезда, разрывающая облака, та самая, которая недавно вошла на нюрнбергском небе и свет которой от ночи к ночи становится все ярче, все страшнее.

Уже набросаны на доске фигуры четырех всадников. Положено начало гравюрам, на которых не будет тихих летних закатов, трав и цветов, источающих пряный аромат, спокойных задумчивых гор. Не будет Жизни, а будут слезы и муки, ужас, объемлющий землю, мрак и тоска. Будет Смерть.

Он не представлял, какой труд взваливал на себя. Туманны были «Откровения» Иоанна, каждая строка их так многосмысленна. Только молодость могла дерзнуть на толкование того, что не могли богословы. Здесь невозможно обойтись одной фантазией, здесь нужно точное знание.

А вокруг каких только слухов не приходилось слышать! После появления хвостатой звезды говорили об «Апокалипсисе» почти в каждом

нюрнбергском доме, толковали его кто во что горазд. Даже в «пивной для господ» и то прекратились неторопливые беседы о положении дел в империи, новых рынках и городских финансах. И здесь теперь чуть не рвала друг другу волосы, споря о том, как понимать «Откровение». Как не хватало точного перевода Библии на немецкий язык! Говорил Дюрер об этом с приором монастыря августинцев Эвхарием Кара. Приор разделял его точку зрения. Да, давно бы пора немцам иметь свою Библию. Но кто рискнет взяться за такое дело? Рим считает, что незачем простому мирянину вникать в ее суть. Согласился Кара помочь Альбрехту. Подробно разъяснял ученый богослов все символы и намеки, содержащиеся в «Апокалипсисе». Но беседовал с Альбрехтом так, будто закончил живописец богословский факультет. Снимал с полок книги, рукописи, приводил мнения известных теологов. Как-то неудобно было просить Эвхария говорить пояснее, а сам он этого не замечал. Иногда вся беседа сводилась к толкованию какого-нибудь одного-единственного слова, и тогда на помощь себе привлекал приор греческие и древнегреческие тексты.

Полезны, спору нет, были полученные знания, но для художника мало пригодны. Найти бы человека, который бы просто точно перевел ему текст! Вилибальд, конечно, мог бы помочь, однако новоиспеченного члена городского совета мирские дела интересовали куда больше богословия. И все же о просьбе друга он помнил. Однажды завалился к нему почти в полночь, перепугав раскатистым басом всех насмерть. Есть, мол, знаток «Апокалипсиса»! Искали его за тридевять земель, а он тут, рядом: Иоганн Пиркгеймер — его отец!

Потом уж все выяснилось. Не меньше других в городе прислушивался старый Пиркгеймер к слухам о предстоящем светопреставлении. Верил ли в это? Пожалуй. Ведь недаром именно теперь принял он решение уйти в монастырь. Замаливать грехи? Укрыться от предстоящих бед? Кто знает, какие мысли и соображения таились за мощным лбом советника многих мирских и церковных владык. Но главное было в том, что в разговоре с сыном согласился он помочь его другу, способствовать благу делу. Советовал Вилибальд Альбрехту не тянуть, завтра же встретиться с Иоганном. Может передумать — у каждого старика, как известно, свой норов.

Вопреки опасениям Пиркгеймера-младшего старый нюрнбергский патриций воспринял просьбу Дюрера благожелательно. Стремление молодого художника постигнуть тайны «Откровения», над которым бился он сам, и поведать о них людям счел заслуживающим всяческой поддержки. По крайней мере, среди этих многочисленных шалопаев

нашелся хоть один, кто наконец задумался о смысле жизни. Ясное дело, имел в виду прежде всего собственного сына: в последнее время Иоганна раздражало до крайности то, что Вилибальд и в Нюрнберге пытался вести тот же образ жизни, какой он вел в Италии. Сплетни о его выходках и сомнительных связях доходили до ушей старого Пиркгеймера, и тот трудно переживал «вырождение Пиркгеймерова рода».

Первый разговор с ученым патрицием вызвал у Дюрера страх: вновь точно так же, как в беседах с Эвхарием Каром, придется плутать в богословских дебрях! Хотелось без обиняков сказать: не это мне нужно! Однако сдерживался, боясь обидеть собеседника. А Пиркгеймер говорил о смысле, заложенном в «Апокалипсисе», который, как ему казалось, он наконец постиг. Истина заключается не в уничтожении сущего, как твердят не переставая все эти доморощенные оракулы, а в возвращении к жизни без греха, к богу, единому началу и одновременно цели бытия. Должен, по его мнению, Альбрехт подчеркнуть своими гравюрами необходимость искоренения пороков, но отнюдь не лишать людей надежды. Ведь заканчивается «Апокалипсис» не картиной всеобщей гибели, а описанием Нового Иерусалима. Медленно, не торопясь развивал свои мысли старик, видимо, уже завершавший земной путь и прозревший многое. Добрую половину его слов Дюрер не понимал. Но, как кажется, схватывал главное. К этим главным была н а д е ж д а.

Когда потом люди, вечно стремящиеся заглянуть в будущее и объяснить прошлое, обратятся к тем нелегким годам, они скажут, что именно там, на перепутье средневековья и нового времени, рождалась идея о бессмертии человеческого рода и о его бесконечном пути через тернии к звездам. Как женщина, носящая под сердцем ребенка, человечество терзало себя картинами предстоящих мук и, может быть, гибели, но надежда на будущее безграничное счастье все-таки была сильнее. Она рождалась в кабинетах ученых-гуманистов, в мастерских художников, подобных Дюреру, в тесных монашеских кельях, в лачугах крестьян и ремесленников, жаждущих перемен и готовых в отчаянии вырвать их силой. Время не могло дать ей других одежд, кроме тех, которыми располагало, — библейских. Но идея зрела. Чувствуя разумом предстоящие перемены, начал Дюрер «Апокалипсис» и «Страсти Христовы», приступил к делу, которое через двадцать лет воодушевило Лютера и Мюнцера, Цвингли и Меланхтона. Не сознавая того сам, Дюрер одним из первых увидел пока еще очень слабый луч Реформации, зари нового времени, уже занимавшейся на небе Германии.

Иоганн Пиркгеймер не повел своего собеседника в теологические

дебри. Старик, прошедший непростую жизнь и встречавший на своем пути разных людей, знал, к кому; с какою меркою подходить. Художника удивило, что этот, как казалось, ученый сухарь, дипломат и воин отлично разбирается и в его ремесле. Так, сказав, что события, предсказанные «Апокалипсисом», видимо, будут происходить в трех сферах — на небе, в воздухе и на земле, Пиркгеймер заговорил о композиционных особенностях немецкой школы, позволяющих совмещать в единой картине разновременно происходящие события. Полагал он, что такой принцип изображения времени можно было бы применить и для показа трех сфер. Дюрер, уже достаточно знакомый с манерой итальянской школы, не отвергая идеи Пиркгеймера — да и позволил бы он себе перечить патрицию! — понял, что перед ним ставится одна из сложнейших задач искусства: совмещение на одной плоскости трех планов и слияние их в единое целое. Редким художникам такое удавалось.

Чтение «Апокалипсиса» заняло довольно много времени. Иногда к ним заглядывал Вилибальд, пытался поправить отца: это-де слово они понимают неправильно, в нем другой, иносказательный смысл. Сжималось у Дюрера сердце: опять начнутся диспуты, из-за которых они с Каром так и не сдвинулись с места! Но у старого Иоганна был другой нрав. Одним движением лохматых седых бровей выставлял он сына за дверь и, будто ничего не случилось, продолжал перевод.

Попутно выявлялись и темы будущих гравюр. Со всем старанием перевели и записали соответствующие места из «Откровения» — их Пиркгеймер советовал поместить на обороте гравюр. Похоже, и Иоганн не верил, что можно средствами рисунка точно передать текст. Никто, никто не разделял дерзновенного замысла художника. Даже этот мудрый старик!

Стремясь к воплощению замысла и видя перед собою воочию конечную цель, мало кто придает большое значение своим подготовительным работам. Дюрер и не подозревал, что его выдержки из «Апокалипсиса» — предтеча Лютерова перевода Библии на немецкий язык. Не знал, что незаметно для себя овладевает мастерством слова, что, ставящий точность в чем бы то ни было превыше всего, он одним из первых предпринимает попытку навести порядок в языке своего народа. Принесет ему это не меньше мучений, чем живопись, придется бросать на полпути начатые рукописи, вновь возвращаться к ним и править, править, править их без конца. И уж, конечно, Дюрер и в мыслях не мог представить, что наряду с Лютером будущие поколения назовут его основоположником немецкого литературного языка.

Вечерами, вернувшись от Пиркгеймеров, листая Библию, изданную

крестным, в сотый раз, наверно, рассматривая гравюры неизвестного ему кёльнского художника, которыми та была украшена, думал Альбрехт о предстоящей работе и не решался к ней приступить. Предстояло ему изобразить те же самые события, но он твердо решил, что изобразит их иначе, что заставит зрителя поверить в происходящее и найдет для этого средства!

С огромным трудом давалась первая гравюра: видение Иоанна — бог в окружении семи золотых светильников, с глазами, исторгающими пламя, с семью звездами в правой руке и мечом, исходящим из уст, а также апостол, словно мертвый, упавший к его ногам. Движение! Только бы удалось передать всю мощь явления бога, столь великую, что она повергла ниц Иоанна. Похоже, что задача удавалась. Светильники Альбрехт выстроил не в один ряд, как у предшественников, они образовали дугу, которая заставляла глаза зрителя невольно обращаться к самому главному в гравюре. Рука бога, занесенная как будто для удара, и семь звезд — с ними пытались безуспешно справиться прежние живописцы — теперь оказались не просто орнаментом. Они привлекали внимание к поднятой в гневе божьей деснице. Меч действительно исходил из уст бога, но впечатление от гравюры в целом столь велико, что можно поверить и в невероятное.

Подобный же прием применил Дюрер и в следующей гравюре, рассказывающей о том, как распахнулись небесные двери и стало видно сидящего человека в окружении двадцати четырех старцев. У их ног поместил художник тихий, спокойный пейзаж. Вроде ничто еще не предвещает тех страшных событий, которые вот-вот произойдут.

Но вдруг все меняется. Несутся четыре всадника, облеченные властью уничтожить четверть человечества. Несутся тесной группой, будто зажатая в кулаке чудовищная неодолимая сила. Вырвался вперед один — размахивающий весами, словно плеткой. Глаза палачей человеческого рода обращены вдаль — на новые жертвы. Те, что лежат под копытами коней, уже не интересуют их. Вперед! Вперед, сокрушая все попадающееся на пути! Как часто, возвращаясь ночью от Пиркгеймеров, представлял Дюрер этих всадников. Пустынные улицы наводили на него безотчетный страх. Ржание коней в городских конюшнях заставляло всякий раз вздрагивать и в ужасе оглядываться. Да, он видел воочию всадников, которых запечатлел на своей гравюре!

Дни шли за днями. Альбрехт трудился не переставая. Боялся прервать работу, сбиться с ритма. Вздыхалась твердь, уступая силе чудовищных землетрясений. Меркли луна и солнце. Небо свертывалось, будто бумажный свиток. Ангелы сражались с дьяволом. Фантастические звери то

возникали из ничего, то снова рассыпались в прах. Звучал трубный глас семи ангелов, накликающих на землю новые беды, от которых нет и не может быть спасения. Возникали люди, жаждущие смерти и не могущие умереть, ибо час их еще не пробил, драконы и прочая нечисть, хулящая церковь и соблазняющая обессиленных небесными истязаниями людей. А штихель безостановочно чертил битву архангела Михаила с врагом рода человеческого и низвержение сатаны, семь опрокинутых чаш божьего гнева, вавилонскую блудницу на звере багряном...

О, как он устал! Но ему удалось совершить невозможное. Он сумел показать даже ангела, одетого в облака, с огненными столбами вместо ног. И Иоанна, пожирающего книгу. И дракона с семью головами. Но не это было главным, а то, что он все-таки именно рассказал, а не показал! Найденный им способ передачи движения, контрасты света и тени помогли создать гравюры, которые производили на современников, обладающих сравнительно с последующими поколениями гораздо большей непосредственностью, впечатление, куда более сильное, чем прочитанная книга. Впоследствии многие, в том числе и великий Эразм из Роттердама, будут превозносить его за то, что нашел он способ передачи разнообразия цветов всего лишь двумя красками. Да разве только одно это! Казался им Дюрер магом-чародеем, способным изображать даже звуки.

Но все это будет потом. Видимо, художник вздохнул с облегчением, когда наконец добрался до последней гравюры: «Новый Иерусалим, град, отведенный богом для спасенных праведников». Усталость сказала на ней, последнем гравюре из «Апокалипсиса». Здесь нет никаких открытий и новшеств: ангел, простерший руку в направлении города, и подавшийся вперед Иоанн. То же, само собой, движение передано, но здесь не более, чем повторение ранее найденных приемов. Гораздо важнее другое: несогласие художника с тем, кто утверждал: в результате светопреставления погибнет оскверненная грехами человеческими земля, будет находиться где-то рядом с небом Новый Иерусалим. Но Дюрер поставил свой город все на той же родной и близкой ему земле, над которой снова, как после всеочищающей грозы, засияло солнце. День победил ночь. Добро восторжествовало над злом.

Тем временем приблизилась масленица. Как всегда, город заблаговременно готовился к карнавальным дням. Вилибальд носился с мыслью показать для членов совета не какой-то там «фастнахтшпиль», а настоящий балет «на итальянский манер». Дюреру пришлось уважить просьбу друга, набросать для него эскизы нужных костюмов. Правда, Вилибальдова затея привлечь для постановки балета знатных

патрицианских дам не удалась. Но не беда — тот прибег к услугам более покладистых девиц с берегов Пегница. В Пиркгеймеровом доме у Главного рынка вызвало это «безобразие» новые ссоры между отцом, ставшим еще более благочестивым, и сыном, окончательно запутавшимся в грехах.

Визиты Вшшбальда в дюреровскую мастерскую, к великому недовольству Агнес, участились. Пиркгеймер отрывал художника от работы — теперь Альбрехт собственноручно резал доски, ибо боялся доверить свой труд даже опытным нюрнбергским граверам. Вилибальд говорил, как в обществе вершителей судеб города недостает друга. Он что, в отшельники записался? Напрасно — в городе его так любят. Прав был Вилибальд. В отличие от своего отца Альбрехт не избегал людей. Когда бывал в ударе, мог заговорить любого, мог вести серьезные разговоры, а мог и тешить собравшихся шванками. Где-то в потаенном уголке его души все еще жил беззаботный юноша-подмастерье. Время от времени этот второй Дюрер вырывался на свободу, приводя в ужас и негодование и Агнес, и родителей: пел со всеми, пил, был обыкновенным человеком от мира сего. Но теперь этот бездельник был накрепко упрятан в темницу. И не освободился даже тогда, когда его двойник-творец снял в типографии Кобергера с досок первые оттиски своих гравюр, а все собравшиеся вокруг ахнули от восхищения.

К удивлению крестного, Альбрехт попросил переплести гравюры в книги и так продавать их. Да он что — с ума сошел? Кобергер не мог найти объяснения такой глупости: продажа отдельными листами принесет гораздо больше прибыли! Но, оказывается, крестнику не нужна была прибыль, ему была нужна книга, его книга. Все-таки тайком Кобергер пустил гравюры на рынок. Листы охотно покупали.

Но все же вырвался на волю бесшабашный подмастерье. Душа требовала отвлечься от того поистине страшного труда, которым художник изнурял себя несколько месяцев. Альбрехт всецело отдался подготовке Пиркгеймерова балета, не обращая внимания на брань Агнес, на предостережения матери, которая теперь ежедневно молилась о прощении за совершенные им грехи.

Но нравы строгого Нюрнберга еще не пали столь низко, чтобы в открытую наслаждаться итальянскими «скабрёзностями». Члены городского совета наотрез отказались присутствовать на «бесовских играх». Жаль, они, по мнению Вилибальда, лишили себя великолепного зрелища. Балет в Пиркгеймеровом доме удался на славу. Девицы с берегов Пегница старались вовсю. На их ужимки и рискованные на невозможно было смотреть без смеха. Но не успели еще доморощенные лицедейки как

следует войти в роль греческих богинь и нимф, явился трясущийся от гнева старый Иоганн Пиркгеймер и выставил всю компанию на улицу.

Впрочем, веселью это не помешало. Бродили без цели, задирая встречавшихся на пути, а услышав от них нелестные отзывы о своем поведении, не оставались в долгу. Девиц с Пегница где-то растеряли. У дома патрицианок Фюрлингер по предложению Альбрехта запели на венецианский манер хвалебную песнь в их честь. Одним словом, Себастьян Брант будто с них списывал сцену для «Корабля дураков». Все-таки знающий был человек, пока окончательно не подался в богословие. Знающий до того, что даже конец веселого похода предсказал с абсолютной точностью:

...всполошила весь квартал
Орда ночных праздноштал:
Покой домашний им не лаком —
Милей на улице гулякам
Торчать под окнами красотки,
Бренчать на лютне и драть глотки,
Чтобы, с постели встав, она
Им улыбнулась из окна.
Продет один, другой стишок,
А из окна ночной горшок
На них выплескивает прямо
И камнем потчует их дама...

Э, плевать!.. Плевать и на то, что завтра разнесут по городу злые языки очередную сплетню о бездельнике Альбрехте Дюрере. Пусть болтают что хотят. Грех? Тоже не беда — можно купить индульгенцию.

Тем временем во дворе Кобергеровой типографии грузят на фуры кули с отпечатанными книгами. Среди них и Альбрехтов «Апокалипсис». Утром уйдет из Нюрнберга купеческий караван. Через несколько месяцев имя Дюрера станет известным всей Европе.

«Апокалипсис», перевалив через Альпы, поверг в изумление итальянских коллег. Мессер Альберто — так на свой манер произносили они имя Дюрера — совершил невозможное: не отказавшись от старой манеры рисунка, он вдохнул в нее жизнь, форма перестала подавлять содержание, ее условности на этот раз воспринимались как необходимость.

Художник заставил поверить в происходящее. Факторы Кобергера привозили все новые заказы. Гравюры Дюрера перестали стоить дешевле перчаток.

Фортуна повернулась к нему лицом. Кобергер советовал не упускать удачи. И подарил крестнику печатный пресс: работай, не ленись! От подарка Альбрехт не отходил несколько дней. Еще немного, и разобрал бы пресс на части, чтобы внести усовершенствования, казавшиеся необходимыми. Но отец и Агнес удержали его от этого намерения. У Агнес появились свои планы. Она теперь настаивала, чтобы Альбрехт печатал гравюры сам: так будет дешевле и прибыльнее.

Печатать пока было нечего. Начались раздоры с женой, которую вдруг обуяла жажда деятельности. Кобергеровых факторов она выставила за дверь и приобрела нечто вроде лавочки на нюрнбергском рынке. Со временем она намеревалась пробиться на франкфуртскую, а пойдет удачно — так и на другие ярмарки.

Но Дюрер вдруг потерял интерес к гравюрам.

Работа над «Страстями Христовыми» застопорилась, а ведь совсем недавно ему казалось, что с этими гравюрами он справится быстро. Деяния сына божьего ему были известны, события понятны — не то что мистические откровения святого Иоанна. Но он переоценил свои силы. Мозг и воображение требовали отдыха. На пятой гравюре Альбрехт прекратил работу над серией и переключился на писание портретов. Это был более надежный источник получения денег. А они дозарезу были нужны семье. Отец стал немощен, все реже спускался в мастерскую. Гравюры давали доход, правда, их еще нужно было продать. А здесь заказчики сразу выкладывали наличные. Но Дюрер перестал бы быть Дюрером, если бы работал только ради денег. Пропорции человеческого лица — вот что интересовало его теперь. И ради этого он писал портрет за портретом. Одухотворенности в них немного. Впрочем, лица супругов Елизаветы и Никласа Тухеров и наяву не носили отпечатка сильных страстей и чувств. Женатые вот уже семь лет, успевшие приобрести достаток и уважение, они были и желали оставаться заурядными гражданами. И перед живописцем не ставили сверхъестественной задачи — главное, чтобы были похожи. Дань новым веяниям Дюрер отдал тем, что изобразил Тухеров на фоне природы. Вернее, попытался это сделать — и получилась «картина в картине». Пейзаж ничего не подчеркивал и ничего не пояснял.

В портрете Освольта Креля, торгового представителя Равенсбурга в Нюрнберге, появился характер — купеческая хватка и сила воли. Выглядел

из-за этого Крель жестоким и хищным. Ничего, сошло. Для перевозки портрета равенсбуржец заказал еще защитные боковые створы, наподобие алтарных. На них изобразил живописец не святых, не цветочки и ягоды, как обычно, а «диких людей» — полудьяволов, полусатиров. Может быть, был в этом какой-то намек? Кто знает?

Недостатка в заказах не было. Дюрер входил в моду, возбуждая зависть у других нюрнбергских художников. Однако они немало бы удивились, если бы узнали, что сам мастер Альбрехт недоволен собою. На портретах он в точности передавал все — каждый волосок, каждую морщину, каждую складку на платье. Его работы нравились заказчикам — большего им и не требовалось. Но, написав уже с дюжину портретов, Дюрер яснее других видел: недалеко он ушел от лишенного — теперь это стало ясно — жизни и души изображения Фридриха Саксонского. Душа... Может быть, состояла его ошибка в том, что, стремясь к точной передаче деталей, как учил его в свое время Вольгемут, забывал он о главном — о характере и сущности сидящей перед ним модели. Мастеру «Апокалипсиса» никак не удавалось достигнуть в живописи того же совершенства, что и в гравюре. Те, кто побывал, в Италии, говорили: видимо, не овладел он искусством наложения красок и их правильного сочетания. Чепуха какая-то — в немецких землях художники, даже самые малозначительные, уж в этом-то итальянцам не уступят, а он, во всяком случае, не стоит ниже их. Искать ошибку надо в другом. Но в чем же? Может быть, в незнании человеческих пропорций? Вот здесь с итальянцами действительно не поспоришь! А душа? Что с ней делать? За Альпами ее он тоже на портретах не встречал. Все это раздражает, подстегивает, заставляет искать. А окружающие говорят: изменился мастер Альбрехт, зазнался.

Портретной живописью занимается он уже несколько лет, начал еще до «Апокалипсиса». Не скрывает: деньги, нужны, а этот род живописи — верный путь к достатку. В ожидании светопреставления многие будто с ума сошли, спешат запечатлеть свой облик на память. Только вот на, чью память? Даже Дюрер-старший пошел навстречу сыну. Он теперь почти перестал работать, появилось у него много свободного времени, чтобы позировать Альбрехту. Раньше большей частью отмахивался — некогда! Память потомства его мало трогала — как и Иоганн Пиркгеймер, растерял он под старость свое тщеславие. Ему просто были важны эти часы, которые он проводил наедине с сыном. Они давали ему возможность не спеша поговорить с ним, поделиться воспоминаниями о молодости, предостеречь от ошибок в жизни. Видел отец, что мучается Альбрехт над решением какой-то задачи, но не мог понять, какой именно. Что за существо человек

— не может удовлетвориться достигнутым. После возвращения из Италии, как полагал старик, добился сын такого совершенства, что стал на голову выше других нюрнбергских художников. Так чего же еще ему нужно? Теперешнее положение, Дюрера-младшего обеспечивало твердый, притом немалый заработок. О таком каждый ремесленник мечтает. Невдомек было старому ювелиру, что не считает Альбрехт живопись ремеслом, поднимает ее на ступень искусства.

Если бы разбирался Дюрер-старший в живописи побольше, то, может быть, и понял, к чему стремится сын, сравнив свой портрет с автопортретом Альбрехта, написанным почти одновременно. Бывший золотых дел мастер изображен в том же рабочем халате, в каком написал его сын семь лет тому назад, когда уходил странствовать, как бы подчеркнув этим: время вот для таких тружеников, до сих пор готовых молиться на стародавние традиции, не отступая от них ни на йоту, застыло. Ах, если бы это было так! Очень постарел за эти семь лет Дюрер-старший. Лицо удлинилось, резче выступил вперед некогда волевой подбородок, морщины глубже избороздили щеки и лоб. А взгляд, вроде бы еще устремленный вперед, вместе с тем обращен вглубь, в прошлое, в несбывшиеся мечты.

Рядом — автопортрет сына. В венецианском роскошном наряде, который мать бережно сохраняет в сундуке, ибо сын согласно нюрнбергским законам и традициям, будучи ремесленником, не имеет права носить его здесь. Белые перчатки, тоже привезенные из Италии, скрывают честные руки работника, покрытые ссадинами, порезами, пятнами ввевшейся краски. Волосы завиты и уложены локонами. Жиденькая борода, жалкого вида которой Альбрехт тоже стыдится — это всем известно, так и кажется, источает запах дорогих венецианских духов. В окне открывается пейзаж с радугой, символом надежды, но это не немецкий ландшафт. Отец догадывается, однако молчит: видел эти горы его сын на своем пути в Италию и до сих пор помнит о них. Проклятая Венеция украла у него сына, его душа осталась там, за Альпами. И хотя Альбрехт в последнее время избегает делиться воспоминаниями о своем путешествии, этого все равно не скроешь. Его глаза на автопортрете достаточно красноречивы: застыло в них и беспокойство и грусть. Человек на картине так и не обрел уверенности в своих силах, он все еще на пути поиска. А ведь пора бы уже и найти. Недаром стоит на полотне надпись:

Я создал сей автопортрет
В свои двадцать шесть лет.

Теперь и того больше — двадцать семь. В таком возрасте перестают люди метаться, крепко становятся на свой путь. Тем более Альбрехт: у него позади уже «Апокалипсис», прославивший своего создателя, поставивший его в ряды первых немецких художников! Сам курфюрст Фридрих не стесняется называть себя его покровителем. А мастер по-прежнему не уверен в своих силах. Это вызывает недоумение не только у отца. Не понимают Альбрехта Дюрера в Нюрнберге. Те, кто видел автопортрет и надпись на нем, пожимают плечами: не слишком ли высоко метит художник, не отсюда ли его недовольство собою, окружающим — вот, мол, я каков, а вы мне подобающего места под солнцем не даете! И надписи на картинах, и эти монограммы, которыми он украшает свои гравюры... В Нюрнберге, как, впрочем, и в других немецких землях, такое самовосхваление особой любви не вызывает — раньше ремесленники вели себя тихонько, ибо знали, что заказанное им и у них купленное их собственностью более не является. И если так дело дальше пойдет, то, глядишь, каждый портной на сшитой им одежде будет свое клеймо ставить!

А еще раздражала заказчиков Дюрера и необходимость по несколько дней торчать в его мастерской. Это уж слишком, вроде им больше нечем заняться! И пусть бы это ускоряло его работу — так нет: неделями, а то и месяцами приходится ждать исполнения заказа. Конечно, Дюрер мог бы работать и быстрее. Он уже достаточно набил себе руку, чтобы, не тратя лишних усилий, писать всех этих патрициев, купцов и их дородных супругов. Но никто из обижавшихся не знал, что не привлекает его так сильно, как раньше, писание портретов. Вновь все больше овладевало его помыслами услышанное и увиденное в Италии. Даже Вилибальд Пиркгеймер не мог взять в толк, с чего это его друг стал интересоваться сюжетами, какие предпочитал изображать Апеллес, и не может ли, мол, Вилибальд найти в своих книгах что-нибудь о манере письма достославного живописца. Совсем измучил вопросами, никак понять не может: ни сам Вилибальд и никто другой не мог видеть картин художника, жившего без малого семнадцать столетий назад, так как весь его труд поглотило беспощадное время. А то, что можно прочесть об Апеллесе, не могло удовлетворить Дюрера: все это скорее было поэзией, но отнюдь не точным описанием, которое хотел бы заполучить Альбрехт. Известно, однако, что современников Апеллеса поражала его способность владеть линией, точно передавать контуры и фактуру предметов и тем создавать полную иллюзию реальности изображаемого. Знал Пиркгеймер также, что знаменитый грек

предпочитал прочим красный, желтый и белый цвета, а черную краску для своих картин изготовлял из жженой слоновой кости. Что же касается сюжетов, то вроде бы написал Апеллес Александра Македонского, Афродиту Анадиомену и аллегию клеветы. Но этим ведь Альбрехта не удовлетворишь! Ну хорошо, будет время, Вилибальд повнимательнее полистает манускрипты в своей библиотеке. Но, к сожалению, как всегда, для друга времени-то как раз и не хватало.

Несдержанный на язык во всем, что не касалось его личных дел и секретов города, сболтнул Пиркгеймер в «пивной для господ» о замысле Дюрера сравняться с Апеллесом, и слух об этом пополз по всему Нюрнбергу. У неизлечимо пораженных «итальянской заразой» вольнодумцев такое намерение соотечественника, как ни странно, вызывало одобрение. Но таких, к сожалению, было меньшинство. Большая же часть горожан не знала никакого Апеллеса, да и знать не желала. Заказчиков Дюрера слухи о его поисках привели в беспокойство — теперь, похоже, оплаченных уже портретов не скоро дождешься! Все-таки у этого Дюрера голова не в порядке, бездельник он и лодырь, а не ремесленник! Агнес плакала, в сердцах пересказывала, что болтают о нем в городе. Отец, помня свой давнишний разговор с Вольгемутом о пресловутом Апеллесе, терзался сомнениями — с одной стороны, он очень хотел, чтобы его сын посрамил этого грека — мол, знай наших! — но, с другой, старый мастер с беспокойством замечал, что заказчиков становится все меньше и что все чаще Альбрехт ссорится с ними. И это ему совершенно не нравилось.

Но в свои двадцать семь лет Альбрехт хорошо усвоил народную мудрость — всякому мил не будешь. Как только за заказчиком, с которым он крепко поругался по поводу своей медлительности, закрывалась дверь, он не бросался заканчивать злополучный портрет, а спешил к столу, к своим бумагам и, случалось, просиживал над ними ночь напролет. Теперь он стремился найти разгадку пропорций человека. И твердо был уверен, что, найдя ее, наконец исправит то, что раздражало его в уже написанных портретах. И вновь делился сомнениями с Пиркгеймером. Вилибальд выходил из себя: что он, в конце концов, от него хочет? Потом смирялся: хорошо, где-то приходилось про такое читать. Возможно, у Внтрувия? Сейчас точно не помнит. Запомнилось лишь, что если в пупок лежащего на земле человека воткнуть циркуль и описать окружность, то каким-то образом можно вычислить соотношения всех частей его тела. Если выдастся свободная минута — посмотрит. Времени, конечно, опять не находилось.

Тот, кто теперь полистал бы бумаги на столе Дюрера, был бы немало

поражен занятиями художника, а молва о нем как о спятившем с ума, наверное, получила бы новую пищу. Альбрехт портил великолепные гравюры, вписывая в них окружности, квадраты и треугольники. Не щадил ни Аполлонов, ни Венер. Объяснялось же все просто: он поставил перед собою задачу разложить человеческую фигуру на простые геометрические фигуры, вычислить их размеры и найти соотношения. Почти, как ему казалось, добился этого. Потом решал задачу в обратном порядке: громоздил друг на друга различные геометрические тела, обводил их карандашом — и получал Аполлона. Правда, один лишь контур. Объемности по-прежнему не было. Но тем не менее вроде бы получалась возможность с помощью линейки и циркуля вычислить идеальные пропорции человеческого тела. Значит, Барбари все-таки был нрав. То, что стоит Дюрер на верном пути, подтверждали и монахи-августинцы, с которыми он после этого разговаривал. Оказывается, почитаемый ими Николай Кузанский стремился соединить науку о числах с теологией и был уверен, что только так можно создать самую совершенную и неопровержимую философскую систему. Это говорило само о себе.

Приставания к Вилибальду оказались не безрезультатными. Сказал Пиркгеймер при встрече: недавно вычитал у Плиния, что Апеллес часто изображал Геракла, ставил его выше других героев. Вот еще один сюжет. Так что дерзай, Дюрер! Может быть, Плиний сообщает, каким изображал греческий художник этого Геракла? Ладно, надо посмотреть. Но скоро стало Вилибальду не до древних авторов.

Как раз в это время швейцарцы отказались подчиниться решениям имперских судов и платить налоги. Максимилиан собрался их проучить как следует. А у него, как известно, на все один ответ — война! Для нее же нужны люди и деньги. Потребовал император и то и другое от Нюрнберга. Город был поставлен в сложное положение — и со швейцарцами, у которых в руках пути в Италию, не хочется ссориться, и с императором тоже. Тянули с решением сколько могли. Может, кончится Максимилианов запал — такое уже не раз бывало. Но нет, на этот раз не удалось отвертеться. Порешили выделить триста пеших воинов, тридцать два конных, снарядить для похода четыре пушки, стреляющие каменными ядрами, и шесть фургонов. Во главе этого славного воинства стал Пиркгеймер в пышном звании «генерал-капитана и полковника». Любит Вилибальд на словах стратегию разводить — пусть повоюет на деле!

Новоиспеченный генерал-капитан от оказанного доверия, казалось, даже ростом выше стал. Рьяно начал подготовку к походу. Прежде всего занялся снаряжением. Таскал Альбрехта с собою в арсенал, где проверял

шлемы, мечи, аркебузы, пушки. Обсуждал с оружейниками, где и что надо подправить, починить, почистить. Копились тем временем у Дюрера зарисовки различного оружия. А еще — ландскнехтов со знаменами, пиками и мечами. Неожиданно для всех проявил художник интерес к военному делу. Думали даже, что вместе с другом отправится в Швейцарию. Но остался Дюрер в Нюрнберге. Когда 1 мая 1499 года в два часа пополудни ушел Вилибальдов полк в поход, расстался он с Пиркгеймером у городских ворот.

Пока Вилибальд воевал в Альпийских горах, занят был Альбрехт гравюрами, на которых христианских святых сменили Геркулесы, Орфеи и иные греческие персонажи; Вот здесь уже работал в итальянской манере. Но очень скоро поостыл. Забыл и об Апеллесе, и о своем намерении. Создал собственного «Еркулеса» и еще «Морское чудо». Получилось не хуже, чем у итальянских мастеров.

И ведь какое совпадение! В день окончания «Еркулеса» получил новый заказ от курфюрста Фридриха — написать для «Летнего зала» его виттенбергского дворца именно этого героя, избивающего стимфалийских птиц. В легендарный сюжет вкладывал Фридрих символическое содержание — торжество добродетели над жадностью. Ну вот и появилась у Дюрера возможность вступить с Апеллесом в состязание. Если верить Вилибальдовым рассказам, древний грек написал подобную картину.

Военные действия не вызывали в Нюрнберге особого интереса. Но не таков Пиркгеймер, чтобы дать забыть о себе. Слал частые рапорты городским властям. Судя по ним и нюрнбергский полк, и он сам проявляли чудеса героизма. Совершили поход через альпийские перевалы во владения миланского герцога Лодовико Моро, чтобы раздобыть провиант для войск Максимилиана. Рейд завершился успешно. Он, Пиркгеймер, всегда на виду у императора, который благоволит к нему и внемлет его советам. Что же касается других военачальников, то это просто «трусливые бабы», «пожиратели железа», «подлые завистники». Дальше больше: начал Пиркгеймер диктовать совету, как тому надлежит действовать. Патриции стерпели, когда Вилибальд приказал им от имени императора прислать подкрепление. Но когда он в следующем донесении сообщил, что начал переговоры с Моро об оказании ему помощи для возвращения утраченных владений, патриции решили поставить точку. Приказали Пиркгеймеру переговоры немедленно прекратить, солдат распустить, выплатив им жалованье, а самому возвратиться в Нюрнберг.

В октябре въехал генерал-капитан с небольшим конным отрядом в город. Привез письмо императора, где восхвалялись его заслуги и

храбрость нюрнбергского полка. Посовещавшись, совет решил вознаградить Пиркгеймера за ратные труды золотой чашей.

Через день нагрянул Вилибальд к Дюреру, осмотрел, что было создано живописцем за это время. «Еркулес» ему понравился: краски сочны, композиция удачна. Несколько, правда, смущает, что больно уж Геркулес походит на Альбрехта. Все облазил Вилибальд, все осмотрел, надавал массу советов. Упорно добивался, чтобы Дюрер показал ему картину, завешенную полотняной тряпкой. Но Альбрехт отказал: смотреть нечего, простые упражнения в пропорциях.

ГЛАВА V,

в которой рассказывается, как в Нюрнберге ждали конца света, как Дюрер создал еще один автопортрет, как умер отец художника и как Альбрехт с Вилибальдом собирались отправиться в Италию.

Когда наступил 1500 год, замер мир в ожидании неминуемого конца — так сулили все пророчества. 24 декабря 1499 года папа распорядился открыть настежь замурованные доселе «Святые ворота» в базилике святого Петра, дабы душам праведников ничто не мешало свободно войти в рай. Верующие полчищами потянулись в вечный город в расчете на отпущение их грехов. Шли босыми по каменным дорогам, ползли на коленях. В саванах, с зажженными свечами. Падали без чувств перед изображениями Страшного суда, не в силах перенести зрелища ожидавших их мук. Еще больше увеличился спрос на дюреровский «Апокалипсис».

Но прошло рождество, прошли январь и февраль — светопреставления не наступило. Тем не менее проповедники по-прежнему вещали: оно все-таки неизбежно. Но когда же, когда? Может быть, завтра. Может быть, через несколько месяцев. В день святого Петра, 29 июня 1500 года, произошло событие невероятное и достойное того, чтобы над ним задуматься: молния ударила в папский дворец и полностью разрушила апартаменты, в которых проживал отпрыск святого отца, дьявол в человеческом образе, Цезарь Борджиа, обрушила обломки на тронный зал, где папа только что уселся на престол, чтобы открыть аудиенцию, и погребла и его самого и его трон. Однако остался папа невредим. В этом тоже увидели предзнаменование, божественное откровение: создатель не собирался разрушать до основания сотворенный им мир, он лишь требовал уничтожения той скверны, которая захлестнула его. Иной смысл приобрели тогда некоторые листы дюреровского «Апокалипсиса», те, где бросил он под ноги четырех всадников попов и королей, где епископов ввергнул в ад. Хотя здесь он отдал всего-навсего дань традиции — все, мол, равны перед богом и смертью, — люди увидели большее.

Нечего и говорить: после «Апокалипсиса» стал Дюрер среди своих коллег художников непререкаемым авторитетом. Эти же гравюры у людей простых, не причастных к тайнам искусства, вызывали чувство уважения к тому, кто дал им наконец возможность прочесть «божье слово» и хоть что-то в нем разъяснил. Ведь даже через десять лет сам Лютер, подобно тысячам других, решил совершить паломничество в Рим в надежде на

спасение и стоял перед «Святыми воротами» все с тем же вопросом — что же делать дальше? И верил, что от предстоящего светопредставления спасения нет.

Верил ли Дюрер в свое какое-то особое предназначение? Считал ли он себя не только художником? Скорее всего это было именно так. Иначе не появился бы его новый автопортрет, к которому он не подпустил своего друга, сказав, что это только упражнение в пропорциях. Вероятно, задумывая его, он преследовал только эту цель. Но уже на первоначальной стадии работы над портретом Альбрехт совершил, с точки зрения средневековых канонов искусства, подлинное кощунство: начал писать себя анфас — в ракурсе, немыслимом для изображения простых смертных, пусть даже великого живописца. Так допускалось писать только бога. Но Дюрер пошел дальше: он придал своему облику черты Иисуса Христа. Случайность? Вряд ли, ибо известно, что и в последующем художник неоднократно использовал себя в качестве модели для изображения Христа.

Старый Дюрер, зайдя как-то в мастерскую сына, увидел картину, только что законченную им. Христа — так показалось золотых дел мастеру, зрение которого окончательно испортилось. Но, всмотревшись пристальнее, увидел он перед собою не Иисуса, а своего Альбрехта. На портрете был одет его сын в богатую меховую шубу. Зябка стягивала ее борта рука с бледными, беспомощными в своей худобе пальцами. Из мрачного фона, словно из небытия, выступало не просто лицо — лик святого. В глазах застыло неземное горе. Мелкими буквами сделана надпись: «Таким нарисовал себя я, Альбрехт Дюрер из Нюрнберга, в возрасте 28 лет вечными красками».

Этот автопортрет производил на видевших его незабываемое впечатление, даже на рационалиста Пиркгеймера. Слух о новом создании художника, хотя оно никогда не выставлялось публично и всегда оставалось в собственности мастера, разнесся по городу и вскоре вышел за его пределы. Были все основания порицать Дюрера за непомерную гордыню, особенно в это страшное время. Но ему простили даже гордыню. Картина открывала не только новый этап в немецкой портретной живописи. Она как бы говорила, что человек создал бога по своему подобию.

Для немецкой живописи этот портрет имел еще и другое немаловажное значение. И первым об этом догадался Якопо Барбари, тот самый Барбари, с которым Дюрер познакомился в Венеции. Закончив наконец чертеж города лагун, мессер Якопо 8 апреля 1500 года объявился в Аугсбурге и получил аудиенцию у императора Максимилиана. Тот обещал ему в дальнейшем всяческую поддержку, а пока что отправил в Нюрнберг,

где тот мог изучить состояние немецкой живописи и, не опасаясь агентов Венеции, спокойно трудиться.

Увидев дюреровский автопортрет, Барбари остолбенел. Но его поразило не сходство с Христом. Схватив со стола циркуль и линейку, он так темпераментно набросился на картину, что у Альбрехта дрогнуло сердце: чего доброго Якопо изувечит его работу. Итальянец же, не обращая внимания на его предостережения, углубился в измерения и вычисления. Чертеж автопортрета Барбари набросал в считанные минуты. На нем ниспадающие волосы приобрели форму равнобедренного треугольника. Лицо будто само собой разделилось на четыре равновеликие части. Взяв за центр кончик носа, мессер Якопо без труда вписал лицо вместе с шеей в квадрат и окружность. Бормоча что-то, Барбари продолжал колдовать над картиной: вычерченный им треугольник одним своим углом уперся в верхний край портрета, а его основание разделило все изображение линией золотого сечения. Отложив в сторону циркуль, Барбари долго смотрел на изготовленный чертеж. Дюрер не мешал гостю и только тогда, когда тот закончил свои вычисления, положил рядом с его чертежом листок со своими расчетами. Изучив его, Якопо молча пожал Альбрехту руку. Слова были лишними: его немецкий коллега высчитал идеальные пропорции человеческого лица. Сам, без чьей-либо помощи.

Приезду Барбари Дюрер был несказанно рад. Полоса удач продолжалась. Вместе с итальянцем они откроют и другие тайны. И мессер Якопо вроде бы был не прочь сотрудничать с ним. Даже делился секретами из своих знаменитых тетрадей. В пределах допустимого, конечно: ведь ему предстояло выдержать конкуренцию с местными мастерами. Узнал Барбари, что Дюрер до сих пор не удосужился прочитать первую главу из третьей книги Витрувия, где говорится о пропорциях человека. Какой позор! Вместе проштудировали ее. Барбари объяснял на рисунках приведенные в книге соотношения. На бумаге все было гладко, в жизни, однако, обстояло иначе. Суть была в том, что люди сильно отличались друг от друга: чересчур короткие ноги разрушали гармонию Витрувиевых пропорций, курносый нос перечеркивал все его хитроумные расчеты. Может быть, потому, что древние римляне ближе стояли к Адаму, Витрувию удалось найти идеальные пропорции? Но в современном Нюрнберге их уже нужно было искать днем с огнем.

Дальнейшую работу пришлось прекратить, ибо срочно потребовались деньги, и Дюреру пришлось искать заказы. Опять выручил Кобергер, предложил на выбор несколько книг для иллюминирования. Альбрехт остановился на «Откровении Бригитты Шведской». Эту рукопись прислал

император Максимилиан для издания в нюрнбергской типографии. К ней требовалось изготовить всего лишь одну гравюру. Этого, разумеется, было мало, чтобы поправить дело. И тогда Кобергер поручил крестнику также титульный лист к «Философии» Конрада Цельтеса. Хотя работа была мудреной — поэт-лауреат потребовал многих аллегорических изображений — Альбрехт взял и этот заказ, и не только ради денег: хотелось отблагодарить Конрада за полученные недавно четыре стихотворных послания, где поэт превозносил художника до небес.

Потрудиться, однако, пришлось изрядно: аллегория на аллегии — Истина, Четыре ветра, призванные выразить не только времена года, но еще и четыре темперамента и четыре элемента, греческий алфавит от пи до тэты (путь от философии к теологии), портреты ученых мужей Птолемея, Платона, Цицерона и Альбертуса Магнуса. На Магнусе фантазия иссякла — портрет Альбертуса получился похожим на живописца, создавшего его.

Да, трудный выдался год. Заказов было мало. Однако хлеб насущный требовался каждый день — пришлось снова обращаться к посредникам. С трудом нашли Якоба Арнольта, но и того чуть было не потеряли, когда по совету Агнес Дюрер потребовал у коммерсанта поручительства. Арнольт возмутился подобным недоверием. Помирились с большим трудом, и Арнольт повез в Италию «Апокалипсис» и еще несколько гравюр, которые, по его мнению, могли найти сбыт по ту сторону Альп. Вернулся Якоб без гравюр — распродал все, но вырученная сумма была невеликой. Фактор оправдывался: там, в Италии, за гравюры немецких художников платят гораздо меньше, чем за произведения собственных. Может, «Апокалипсис» и пользуется успехом, он спорить не будет, а платят все-таки меньше.

Как бы то ни было, Якоб поправил их положение, и теперь можно было месяц по крайней мере спокойно заниматься пропорциями. Была у Дюрера мысль затащить Барбари в библиотеку Региомонтана и вместе проштудировать рукопись Альберти. Но, увлекшись своими делами, опоздал Альбрехт — мессер Якопо решил распрощаться с Нюрнбергом. Жаловался: не дают ему здесь ходу, ставят палки в колеса. Члены совета обещали поддержку, да только дальше слов дело не пошло. Но не это было главной причиной. До смерти боялся Барбари длинных рук Совета десяти, собирався перебраться дальше на север — в Нидерланды.

Дюреру оставлял Барбари завет бороться и дальше за начатое совместное дело. А заключалось оно в том, что решили художники-единомышленники добиться возвышения искусства. Еще тогда, когда они прорабатывали Витрувия, предложил мессер Якопо написать прошение на имя штатгальтера Фридриха о том, чтобы тот своей доброй волей возвел

живопись в ранг восьмого свободного искусства. Проект этот обсуждал Барбари с нюрнбергскими живописцами и скульпторами. Те против его идеи ничего не имели, в успехе же сильно сомневались. Возражали Якопо, что в Италии-де пользуется живопись большим почетом, чем в Германии, но даже и там она до сих пор не возвышена до грамматики, риторики, диалектики, арифметики, геометрии, музыки и астрономии. И там остается ремеслом. И ведь никто еще не смог получить за нее громкий титул доктора искусств. Барбари все же от своей затеи не отказался. Немало дней они провели с Дюрером за сочинением прошения. Нужно было убедительно доказать, что давно уж выросла живопись из детских пеленок. Ремесло стало искусством. Стремились внушить Фридриху мысль, что, подкрепив своим указом их замысел, он не только осчастливит современников, но и прославит свое имя в веках. С оказией отправили прошение в Саксонию. Стали ждать ответа. Ждали долго. Видимо, затерялась их бумага в курфюрстовой канцелярии. Уезжая в Нидерланды, наказывал Барбари Дюреру время от времени напоминать курфюрсту об их просьбе, высказанной от имени всех живописцев. Напоминания ни к чему не привели. Так и осталась живопись в Германии всего-навсего ремеслом.

Хотя страшный 1500 год ушел в небытие, не принесся конца света, умиротворения так и не наступило. В Нюрнберге упорно распространялась молва о прибывших в город тайных посланцах, видимо, неистребимого союза «Башмака». Все были уверены, что, когда в страстную неделю 1493 года в Шлетштадте многие члены этой секретной организации крестьян и городских плебеев нашли смерть на плахе и виселице, опасность была устранена. Но нет! В юбилейный 1500 год вновь зазвучали требования бунтовщиков: долой ростовщичество, отменить все налоги, к черту церковный и императорский суд, урезать доходы попов и устранить тайную исповедь! Этот «Башмак» воистину был бессмертен. Члены союза окружали себя непроницаемой тайной. Говорили, что, когда в Шлетштедте был раскрыт заговор, в сети властей попалась лишь мелкая рыбешка, главные же руководители союза ушли и теперь готовят мятеж. Симпатии у плебса к «Башмаку» росли.

Было бы возможно, так Совет сорока просеял, наверное, всех находящихся в городе сквозь сито, чтобы выловить таинственных злоумышленников. Старались попы, пытаясь на исповеди выявить имена и намерения пришельцев-невидимок. Кипела работа в застенках: ломали пальцы, рвали волосы, жгли каленым железом. Члены совета расточали мед в своих речах и намекали на возможные перемены. Напрасно. Знали — есть в городе заговорщики, но были они неуловимы. А может быть, во

множестве мерещились они просто от страха. Власти бросали косые взгляды даже на монастырь августинцев, вдруг заговоривших о необходимости обновления церкви и о восстановлении христианской морали во всей ее чистоте. Вилибальд сразу же перестал посещать просвещенных отцов-августинцев и рекомендовал Дюреру сделать то же самое: якобы во сне ему было видение, которое предвещало городу беды от этих монахов-еретиков. Дюрер совету не внял.

Не только он, но и другие замечали: овладело Пиркгеймером какое-то беспокойство. Нет, не страх — что могло испугать Вилибальда? Скорее уж ожидание чего-то неизбежного. Молодой Пиркгеймер понимал, что многое срочно нужно исправлять, если патриции хотят выжить. Понимал, но был бессилен что-либо предпринять. Не давали ему развернуться. Он даже Дюреру завидовал, что тот, опубликовав «Апокалипсис», сказал свое слово. А его, Вилибальда, предостережения в совете оставались гласом вопиющего в пустыне. И требования — очистить ратушу от людей непорядочных, подрывающих непомерным стяжательством, жадностью и явным презрением к черни авторитет совета. Был до поры у него в этом деле союзник, его шурин Ганс Риттер, но, к сожалению, неожиданно скончался. На место Ганса пришел Пауль Фолькмер, редкостный хапуга. Этот не стал, подобно другим отцам города, сквозь пальцы смотреть на эскапады молодого коллеги — начал сколачивать против него оппозицию. Разгорелась между ними борьба не на жизнь, а на смерть. Кончилась она тем, что выжили Вилибальда: увидел, что склоняется совет на сторону противника, и попросил освободить его от возложенных на него обязанностей. Ему «пошли навстречу» — в марте 1502 года он не был избран в члены совета.

Проклиная всех тех, кто «дальше своего носа не видит», заточил себя Пиркгеймер в доме у Главного рынка. Стал переводить Лукиана. Рылся в рукописях, наводил порядок в библиотеке. Приглашал к себе Альбрехта, чтобы тот рисунками украшал поля и титулы наиболее любимых им книг и манускриптов. Дюрер его просьбы выполнял.

Крепился Вилибальд, делал вид, что отстранение от городских дел отвечает его же интересам: дескать, давно собирался посвятить себя служению литературе. Только Дюрера, который знал его получше других, обмануть было трудно: тяжело переживал друг происшедшее с ним. Пил, в разгуле пытался забыть обиду. Приглашал друзей из Италии и немецких земель, спорил с ними на философские темы. Кричал: нужно сделать так, чтобы в Германии не было никаких других властителей — слишком много их развелось, отсюда и все беды, — кроме одного императора. Те, кто стоял

близко к совету, рекомендовали ему придерживаться язык: ведь таково нее одно из требований союза «Башмака»!

Трудное время наступило для Пиркгеймера. В довершение ко всем бедам тяжело заболела Кресценция. Дитрих Ульсен, главный городской лекарь, стал в доме частым гостем. Но исцелить Вилибальдову супругу, видимо, не было возможности.

Дюрер пытался утешить друга. Исполнял его желания, будь бы это в его силах — всю бы Пиркгеймерову библиотеку украсил рисунками. Видимо, в благодарность за то оставлял его Вилибальд за своим столом, когда собирались у него именитые гости. Их было интересно слушать. Сколько нового узнал Альбрехт от Конрада Цельтеса, прибывшего в Нюрнберг, чтобы напечатать здесь рукопись монахини Розвиты. У Пиркгеймера теперь только о ней и вели речь. Цельтес пребывал в состоянии восторга. Вот доказательство того, что и в стародавние времена по своим талантам германцы не уступали римлянам. Не мог понять его Дюрер: к чему это, чем другие народы хуже? Да и Розвита ему не нравилась: видимо, ее лишь одно беспокоило — как охранить праведниц и наставить на путь истинный блудниц. Бог, конечно, держал ее сторону: ведь не иначе как по его воле превращались платья христианок при покушения на их честь легионеров из полотняных в железные.

Еще рассуждал Цельтес о том, что пора прекратить междоусобицы между немцами — мол, только так можно восстановить их былое величие. Мрачнел Конрад, когда слушал рассказы Вилибальда о его военных подвигах. Будто отвечая ему, читал нараспев недавно написанные стихи:

Нам пойти б войной на свирепых турок,
С гордым Римом нам потягаться б в сече
Иль чужих князей потеснить бы к вящей
Славе германцев.
Нет, пуская кровь соплеменным братьям,
Руки мы свои оскверняем только,
Только лишь урон, дураки, себе же
Сами наносим.

Лицо сына франконского виноградаря печально хмурилось. Срывался его голос на крик:

Дева, ты внимли неустанным зовам,

Ты конец войне положи нелепой,
Мир нам дай, сплоти племена родные
Дружбой, любовью!

Где он, новый Карл Великий? Возродится ли его дух когда-нибудь в его потомках? Эх, если бы только было можно подвинуть Максимилиана на настоящее дело. Советом ли, словом. Поэт и в Нюрнберге продолжал работать над панегириком Максимилиану. Воспевал его доблести и добродетели, хоть и знал, что лжет и себе и другим, ибо не раз за Пиркгеймеровым столом говорил он о безволии, несобранности, душевной лености Максимилиана. Будучи в свите императора, Конрад прекрасно знал его.

И все-таки он и его собеседники, подобно тысячам людей в немецких землях, жаждавших обновления, заставляли себя верить в созданного ими самими мессию. И каждый готов был служить номинальному повелителю империи верой и правдой, восхвалять, курить фимиами, прославлять его своими картинами. А уж если говорить правду, то не столько Максимилиана, сколько веру, которой сами жили.

Цельтес быстро нашел работу для Дюрера. Том его философских творений, для которого Альбрехт создал титульный лист, оказывается, должен был открыть собрание сочинений. Деньги на издание давал Пиркгеймер — поэт так и не сколотил состояния. В «Четыре книги любовных историй», которые Цельтес теперь готовил к печати, он включил панегирик городу «Норимбергу». Воспевал великий Конрад тамошние здания и церкви, богадельни и окрестные леса. Чрез меру хвалил мудрость городского совета и суда, законы и обычаи. Титульный лист, исполненный Дюрером для «Философии», Цельтесу пришелся по душе. Просил он живописца сделать еще одиннадцать гравюр для остальных томов.

Не торопился Альбрехт давать согласие: оскомина, не прошла от церковной символики, а уже навязывают аллегории в новом духе. Казалось, чего проще — изобразить преследование Аполлоном Дафны! Похожиз сцены не раз приходилось видеть в улочках на берегу Пегница. С мифом, однако, дело обстояло сложнее. В превращении Дафны в вечнозеленый лавр видел Цельтес глубокий смысл — стремление к идеалу красоты. Что-то созвучное мыслям Дюрера было в таком толковании. Но вот выразить этого он не мог. Сухим и вялым получался рисунок. Бросил. Другие иллюстрации были выполнены его учениками.

Распространилась в ту пору молва, что получил совет верные

сведения: собирается ансбахский маркграф Фридрих IV со дня на день отправить своего сына Казимира в поход на Нюрнберг. Закипел город как развороченный муравейник: родные леса, на которые с давних пор зарятся ансбахцы, не отдадим! Пусть герой швейцарской войны Пиркгеймер возглавит ополчение! Совет склонился перед народной волей. Его посланцы, посетив Вилибальда, взывали к долгу гражданина — когда городу грозит опасность, разве поставит нюрнбержец личные обиды выше общего бедствия? Пиркгеймер для приличия поломался и, конечно же, согласился. Книги и рукописи — снова на полку. Дни напролет проводит в ратуше, доказывает: пора положить конец дедовской тактике — ворота на запор, и с городских стен свысока поглядывать на неприятеля. Нужно вывести войско в открытое поле, использовать силу огнестрельного оружия. Уж он задаст Казимиру! Дюрер тоже рвался защищать родной город. Но Пиркгеймер этому воспротивился — ему-то незачем лезть в драку, без него обойдутся.

Вскоре лазутчики донесли: не сегодня, так завтра Казимир появится у стен Нюрнберга. В спешке обсудили план действий. Разбили ополчение на два полка. Во главе основного — член совета Ульман Штромер. Ему надлежало выступить первым. Пиркгеймеру предписывалось идти другой дорогой и соединиться с основными силами в нюрнбергском лесу.

Все было рассчитано до мелочей. Но когда Вилибальдовы отряды вошли в лес, то увидели штромеровых вояк, бегущих не разбирая дороги. Не захотел Штромер делить лавры победы с Пиркгеймером, полез в драку, не дождавшись его подхода. Ну и получил свое.

19 июня 1502 года у Аффальтербаха навсегда померкла полководческая звезда Пиркгеймера. Штромер вышел сухим из воды, все свалил на Вилибальда: нарочно, мол, тянул с подходом, а придя, не оказал помощи. Пополз после этого по Нюрнбергу слух, что будто бы, затаив обиду на город, нарочно поставил Вилибальд ополчение под удар.

Вот она — любовь народная! Вчера поднимали на щит, сегодня готовы побить камнями. И ведь действительно собирались ото сделать. После того, как отхватил Ансбах нюрнбергские уголья, побаивался Вилибальд выходить из дому — до того накалились страсти. Отсиживался «великий полководец» за крепкими запорами и строчил письма друзьям, оправдываясь и доказывая вину Штромера. Дулся на весь свет. И на Дюрера в том числе. Ведь знает, как ему тяжело, а неделями не показывается! Неужели художник заодно с его врагами? Напрасно убеждал друга Альбрехт: беда в доме стряслась. Но разве себялюбцу докажешь? У Вилибальда на первом плане собственная персона, когда рассержен, все в

одинаковом свете видит.

А беда действительно пришла в дом Дюреров. Отец доживал последние дни. Давно уже начал он говорить о надвигающейся смерти, отдавал последние распоряжения: приказал похоронить себя в церкви святого Зебальда, определил, кто должен служить заупокойную мессу, во что его обрядить. Больше всего доставляла ему волнений судьба мастерской. Альбрехту она ни к чему. Приходится передавать ее второму сыну Эндресу, на которого отец не возлагал особых надежд. Беспокоился мастер и о своем племяннике Николасе, сыне покойного брата Ласло. Двадцать лет тому назад, когда привезли в Нюрнберг тщедушного мальчишку, похожего на лодчонка, принял Альбрехт-старший его в семью как родного сына. Когда же ушел младший Альбрехт к Вольгемуту, стал приучать племянника к своему ремеслу. Оказался Николас малым смышленным, ненамного уступал в сноровке двоюродному братцу. Дал ему мастер свое имя, и стал Николас Дюрером. Но из обычных странствий после окончания учения племянник не вернулся, осел в Кёльне. Перед своей болезнью неожиданно узнал мастер, что сменил Николас прозвище Дюрер на Унгер, что значит Венгерец, после чего вычеркнул его старик из своей памяти. Видимо, не суждено Дюрерам прославить ювелирное дело.

Угасал отец. Пока доставало ему сил, добирался, опираясь на руку сына, до церкви святого Зебальда. Опускался там старый Дюрер на колени и, беззвучно шевеля губами, молил святых заступиться за Барбару, не оставлять ее без защиты после его смерти.

Выходили иногда два Альбрехта за городские стены. Мерил глазами отец убегающую вдаль дорогу — туда, в его родные края, к бескрайним мадьярским степям. Шептал что-то на неизвестном Альбрехту языке. Все больше говорил о днях своей юности. Только сейчас узнал Альбрехт, что пришел отец в Нюрнберг с крестоносцами, возвратившимися из бесславного похода против турок. Не жаловали тогда венгров в Нюрнберге, ибо рыцари креста все свои неудачи объясняли тем, что мадьяры обкормили их хлебом с примесью извести: мол, не хотели допустить, чтобы немцы отняли у них славу победы над турками. Потому и пришлось ему позабыть родной язык, назваться на немецкий лад Дюрером.

Не раз призывал Альбрехт к ложу больного знаменитого Ульсена. Но лекарь не мог сотворить чуда. После каждого очередного визита советовал готовиться к неизбежному. В канун дня святого Матфея, 20 сентября 1502 года, показалось домашним, что наступил перелом в болезни. Старик поднялся с постели, обошел дом и службы, навестил мастерскую и даже немного поработал. Все облегченно вздохнули. Но вскоре больной

почувствовал слабость и снова лег. Тихо заснул. Родные успокоились. Возле кровати осталась сиделка. Она рассказывала потом, что примерно в полночь хозяин открыл глаза и попросил пить. Сиделка дала ему истринского вина, но старый мастер лишь пригубил его, откинулся на подушку и задышал прерывисто и тяжело. Старуха, перевидавшая на своем веку не одну смерть, поняла, что пришел конец. Стала читать молитву святому Бернарду, чтобы облегчить болящему переход в мир иной. Когда начала читать ее в третий раз, старый Дюрер трудно вздохнул и широко раскрыл глаза. Сиделка бросилась за сыном. Спустившись вниз, он застал отца уже мертвым...

После смерти отца многое изменилось в жизни Альбрехта. Теперь на его плечи легла полная ответственность за благополучие семьи. А это значило, что наступила для него пора не только выбросить из головы юношескую беззаботность, но и думать о том, как прокормить, обути и одеть домочадцев. Нужно было заботиться о своей мастерской, подмастерьях и учениках. Следить за благочестием семьи, так как на этот счет городские власти теперь стали строги. Причту церкви святого Лоренца, например, вменили в обязанность служить ежедневно три мессы и читать не менее девяти проповедей. После шока 1500 года снова мало-помалу оживали нюрнбергские горожане. Знамения и предсказания, правда, продолжались, по ведь человек ко всему привыкает. Одно изменилось теперь — стали нюрнбергские бюргеры больше заботиться о спасении душ, а церквам больше жертвовать: кто деньгами, кто землями, а кто и алтарями. Для живописцев наступила золотая пора — работы сделалось больше.

За алтари, однако, Дюрер брался с большой неохотой: к завершению его поисков они не вели — ведь здесь от мастера требуется точно следовать традициям. Да и писал Дюрер медленно, не по-ремесленнически. И может быть, сыновья Мартина Паумгартнера — Лукас и Штефан — не обратились бы к Альбрехту с просьбой написать алтарь в память их умершего отца, но именно такова была четко выраженная последняя воля покойного. Переговоры длились долго — несколько месяцев. Заботы, свалившиеся на Дюрера после смерти отца, пережитое потрясение — он никогда не простил себе, что проспал отцовское благословение, — и усиливавшееся от переутомления недомогание делали его раздражительным и несговорчивым. Цену он заломил непомерную. Братья Паумгартнеры предлагали намного меньше. Дюрер порекомендовал им за эти жалкие деньги купить алтарь на рынке. Когда же наконец сговорились, начались споры относительно сюжета. Сыновья Мартина требовали, чтобы было

изображено рождество Христово. И хотя Альбрехту, в сущности, было все равно, что писать, он заупрямился и стал настаивать на другой теме. В конце концов, правда, уступил — рождество так рождество. У него был даже эскиз: он собирался делать гравюру на эту тему. Казалось, все было улажено, но спор разгорелся снова. В соответствии с обычаями Паумгартнеры требовали поместить на алтаре портреты всех жертвователей-родственников, а их было около десятка. И все они желали в обмен на потраченные деньги обеспечить себе постоянное присутствие в храме. Жило в Нюрнберге, как, впрочем, и в других немецких землях, поверье, что, поместив в церкви изображение покойного, а с ним вместе тех, кто еще жив, можно тем самым сократить срок пребывания душ в чистилище, иными словами, что портрет как бы замещает самого человека. Паумгартнеры же были купцами, следовательно, людьми весьма занятыми, не могущими тратить слишком много времени на посещение молебствий. Желание их, бесспорно, было законным, но вот разместить на алтаре всю эту паумгартнеровскую родню значило разрушить к черту всю композицию эскиза. Ее теперь пришлось бы заново уравнивать. Только разве вобьешь это в тупые головы купеческих сыновей.

Эскизом рождества Дюрер гордился недаром. Создавая его, ставил перед собою задачу — объединить в нерасторжимую композицию события, происходящие в помещении и вне его стен. Стародавний способ — убрать одну из стен — успел уже отойти в прошлое. Нужно было найти другое решение. И Альбрехт нашел: перенес действие в полуразрушенное здание. И отсутствие стены стало оправданным. Конечно, и такое решение условно, но все же алтарь выглядит реальнее, чем у других, хотя и получается, что родился Христос под открытым небом. Но ведь говорят, что в тех краях удивительно тепло.

Согласившись наконец удовлетворить просьбу Паумгартнеров относительно их портретов, Дюрер несколько дней провел за переделкой эскиза. словно по живому резал. Как и положено, разместил всех домочадцев купца Мартина в нижнем углу, каждого со своим гербом, чтобы, не дай бог, на том свете их не спутали. Что же касается сыновей покойного, то их предложил изобразить во весь рост в виде святых на боковых створах — так, мол, принято сейчас у итальянцев. Думал, что заартачатся. Однако то ли устали от споров Лукас и Штефан, то ли не захотели отстать от моды — согласились сразу.

Теперь можно было вплотную приступать к работе. Хотелось закончить алтарь как можно скорее, чтобы отвязаться от не в меру назойливых заказчиков. Решил поэтому подключить к его исполнению

подмастерьев и учеников, «трех Гансов»: Шейфелейна, Лея и Бальдунга.

Вот каким мастером стал Альбрехт — собственные ученики появились! Натаскивал он их в живописном деле, нередко выходил из себя: никак не могут понять того, чего мастер от них добивается. Впервые закралось сомнение: а оставит ли после себя продолжателей своего дела? Ведь нельзя научить бессоннице, не научишь спазмам сердца, не приохотишь к неустанной работе разума. И вообще нельзя принудить человека идти своим путем, только усваивая опыт учителя! Для этого нужна «искра божья», как назовет он позже основное качество художника. Может быть, уже тогда понял Дюрер, что будет одинок в немецком искусстве, ибо всегда жизнь, давая одно, лишает другого.

О Бальдунге рассказ особый. В дюреровской мастерской он был на положении любимца. Появился в доме вскоре после смерти Альбрехта-старшего, как бы в утешение. Паренек постучал в двери под вечер, промокший до нитки под осенним дождем и замерзший так, что зуб на зуб не попадал. С достоинством поклонился, передал вместо рекомендаций папку с рисунками.

Когда парень обсох и поел, беседовал Дюрер с ним в мастерской. Рассказывал Бальдунг о своей короткой жизни, а мастер вспоминал собственную юность. Родился Ганс в семье ученого, и отец готовил ему карьеру доктора права. Но мальчишка решил иначе: в пятнадцать лет ушел в учение к одному страсбургскому художнику. В мастерской был моложе всех, поэтому и получил прозвище Грин, что значит «зеленый». Потом как-то встретил Себастьяна Бранта, давнего знакомого своего отца, и тот ему посоветовал не тратить времени даром, а идти в Нюрнберг и разыскать там Альбрехта Дюрера. Разыскал...

Брант, Себастьян Брант! Словно сжалось сердце. Неужели он в Страсбурге? Да, и давно уже — года с два, наверное. Снискал в городе большое уважение. Был синдиком — старшиной гильдии нотариусов и адвокатов. Недавно принял секретарство в совете. Говорят, сам император его высоко ценит. Спросил Дюрер, как поживает Георг Шонгауэр. Но Бальдунг ничего не слышал о нем. Эх, Георг, Георг, слишком легко хотел ты заработать славу!..

Опустил Дюрер глаза к папке с рисунками. Стал перебирать. Сомнений не было, учили Бальдунга по тем же гравюрам Шонгауэра. Можно было даже назвать, по каким именно. А, но вот это нечто другое, собственное гриновское: неплохо передана мускулатура обнаженной натуры! Пропорции, конечно, хромают, но все-таки есть, есть в парне искра божья. Ему никакие иные рекомендации не нужны. И остался Ганс

Бальдунг, по прозвищу Грин, в мастерской Дюрера...

В лице Бальдунга обрел наконец мастер помощника, которого давно искал. Работалось ладно, понимали друг друга с полуслова. Бальдунг — единственный, кому доверял Дюрер писать некоторые части своих картин. И его-то послал к Наумгартнерам, когда наконец начали работу над злополучным алтарем, поручил сделать их портреты. Вернулся Грин в точном соответствии со своим прозвищем — позеленевшим от злости, Лукас воспринял присылку ученика как неуважение к своей особе. На удивление всем не вспыхнул Альбрехт, не послал братьев к черту. Сказал покорно: да, невелика птица художник, завтра сам пойду.

А вечером почувствовал, что та страсбургская болезнь возвращается: заныло все тело, голова раскалывается от боли. Ночь прометался в бреду, никого не узнавал. Беспреданно меняли мокрые полотенца на голове. И так в течение нескольких дней. Думали уже, что отправится вслед за отцом. Спасибо Ульсену — вырвал из лап костлявой старухи с косой.

Поправлялся медленно. За время болезни, казалось, потерял интерес ко всему — об алтаре даже не вспомнил. Бальдунг принес к постели картины, изображающие святую Барбару и святую Катерину, выполнил их по наброскам мастера. Дюрер едва взглянул и отвернулся к стене. Ульсен утешал домочадцев тем, что, дескать, у людей, причастных к работе творческой, наблюдал од довольно часто приступы «черной меланхолии». Это, кстати, и древние греки подметили. Пусть спросят хотя бы у Пиркгеймера. Но, видимо, даже и лекарь растерялся, когда попросил его пациент зеркало и часами начал рассматривать свое отображение. На лице было такое напряжение, будто хотел там, за стеклом, увидеть свода судьбу. Зеркало поставил на груди, свое лицо видел в необычном ракурсе. Хмурился, что-то про себя; бормотал. Ульсен разволновался, ибо не мог найти объяснение такому поведению. Даже древние греки, пожалуй, не могли здесь помочь.

Потом уже, когда Дюрер начал подниматься на ноги, его странное поведение разъяснилось. Оказывается, хотел он себе представить, каким могли видеть лицо умершего Христа те, что стояли у подножия распятия. Вновь изобразил он себя в виде Спасителя и отложил рисунок до поры до времени, так как собирался продолжить работу; над «Страстями Христовыми». Даже приказал ученикам подготовить для гравюр подходящие доски.

К удивлению родных и соседей, после болезни Дюреру несмотря на настойчивые просьбы и требования Наумгартнеров, почти не прикасался к

алтарю. Он, правда, выполнил свое обещание: обошел лично почти всех их родственников, написал их портреты и зарисовал гербы. Несколько раз садился за мольберт, на котором стоял полуготовый алтарь. Но работа шла еле-еле. Художник думал о другом, в его голове рождались новые замыслы. Эта было ясно для тех, кто хорошо знал его. И вдруг ни с того ни с сего заговорил о необходимости новой поездки в Венецию...

Однако весной 1504 года прибыл в Нюрнберг срочный гонец из Саксонии. И прямо к Дюреру. Печальную весть привез гонец: курфюрст Фридрих заболел чумой, на его владения надвигается «черная смерть». Просит нюрнбергский штатгальтер не мешкая изготовить алтарь для своей дворцовой церкви с изображением поклонения волхвов младенцу Христу. Пояснений не требовалось: согласно поверьям те дары, которые принесли Иисусу волхвы, имели силу смягчать причиняемые болезнями страдания и предотвращать несчастья. Дюрер ответил гонцу, что воля курфюрста для него закон и что завтра же он приступит к работе.

Незадолго до болезни поручил мастеру саксонский курфюрст сделать для виттенбергской церкви эскизы для двенадцати рельефов, темой которых должны были стать страсти Христовы, а также изображения распятия. Намучился немало. Пытался, работая на Фридриха, не уступить в мастерстве Мантенье, у которого рисунки создают впечатление мраморных фриз. Испробовал бумагу всех цветов. Писал и углем, и карандашом, и чернилами, подсвечивал белилами. Вот только на зеленой бумаге вроде бы получилось... Хотел уже отправлять, но неожиданно возникли непредвиденные сложности, к живописи, правда, отношения не имеющие. Когда обратился Альбрехт за помощью к монахам-августинцам, те сказали, что Фридрихов заказ не соответствует религиозным канонам. Нет, они далеки от того, чтобы обвинять курфюрста в ереси. Однако полагают, что в его канцелярии сидят люди, не просвещенные в вопросах веры. Не двенадцать «станций» или этапов мучений прошел Христос, а четырнадцать. Вот так незадача! Придется все переделывать заново! Курьер обещал доложить о нежданном затруднении самому курфюрсту, когда тот, дай бог, понравится. На этом и расстались.

Считается алтарь Дюрера, написанный для саксонского курфюрста, одним из высших достижений его кисти. Композиционное решение, колорит, перспектива и то впечатление, которое производил он на зрителей, не имели в ту пору равных в немецкой живописи. Мастер превзошел самого себя. Кажется, что создан алтарь на едином дыхании, на высоком взлете фантазии. Можно лишь представить, с каким изумлением смотрели «три Ганса», когда на их глазах возникало это чудо. Когда алтарь был

закопчен и мастер отставил его сушиться, пришло сообщение из Саксонии, что Фридрих поправился, а чума отступила из его владений. Канцелярия штатгальтера прислала сердитое письмо по поводу рельефов, смысл которого состоял в том, что нечего зря мудрствовать: в виттенбергской церкви всего шесть ниш, поэтому и было заказано двенадцать эскизов. Что касается людей, несведущих в вопросах веры, то курфюрст таковых при себе не держит. Пусть там, в Нюрнберге, знают свое место!

Таким образом, с курфюрстовыми заказами было покончено. Завершена была и центральная часть триптиха паумгартнеровского алтаря, осталось исполнить лишь боковые створы. Дюрер вновь обрел возможность располагать своим временем. Работа над эскизами рельефов отбила у него охоту к продолжению серии гравюр «Страстей Христовых». Вернулся к изучению пропорций человеческого тела. Принялся создавать в итальянской манере гравюру «Адам и Ева». Бальдунг, стремившийся овладеть тайнами живописи красками, все подбивал мастера вместо гравюры написать картину на ту же тему. Но учитель был упрям: сам знает, что ему делать. Грину не вредно постигнуть и тайны гравюры, это ему не помешает. Но в упрямстве Грин не уступал учителю. Мысль о картине запала ему в голову. Спустя двадцать лет он свою идею осуществил. Дюрер же сделал это значительно раньше.

В основу гравюры положил мастер Альбрехт привезенные им из Италии рисунки, изображавшие Аполлона и Венеру. Языческие бог и богиня как нельзя лучше подходили для его замысла — создать пару идеальных людей. Казалось, все просто: поставить две фигуры рядом на одном листе, ну, добавить еще райское дерево. Но нет, выходило иначе: врозь Аполлон-Адам и Венера-Ева смотрелись отлично, целостной же картины не получалось. По замыслу должны они были стремиться друг к другу. Для этого несколько раз изменял Дюрер положение правой руки Евы, чтобы как-то приблизить ее к Адаму. Но все напрасно. Оставил Еву в покое — принялся за Адамову ногу. Шесть раз ее переделывал, невзирая на то, что может разрушить найденные пропорции, рискует испортить медную пластинку. До конца гравюру довел без всякого вдохновения.

План новой поездки в Италию все больше завладевал помыслами мастера Альбрехта. Об этом свидетельствовали его попытки достигнуть в эскизах рельефов мастерства Мантеньи. Гравюра «Адам и Ева», которая сознательно была начата в итальянской манере, тоже говорила о намерении приблизиться, а может быть, и превзойти заальпийских коллег. В творчестве Дюрера в этом периоде все чаще попадаются рисунки на

мифологические темы. Художник серьезно готовился к состязанию с венецианскими живописцами, постигая уже в процессе работы то, что ему не хватает ни их опыта, ни их знаний. Такие настроения укреплялись и частыми посещениями дома Пиркгеймера, где больше говорилось о классической древности, чем об обновлении церкви, над чем теперь, с усилением крестьянских волнений, бились лучшие умы в немецких землях. Хозяин дома стремился не вмешиваться в дискуссии на теологические темы, подчеркнуто держался в стороне от них и совсем прекратил посещения монастыря августинцев, тем самым как бы говоря, что не желает втягиваться во все эти дразги, не сулившие ему, опальному члену совета, ничего хорошего. Вилибальд работал как одержимый над переводом диалогов Лукиана и, казалось, всецело был захвачен своим занятием.

О просьбе Дюрера найти в рукописях описание картин древних греческих живописцев Пиркгеймер помнил до сих пор. И как-то раз с радостью сообщил: в одном из произведений Лукиана есть упоминание о картине Зевксиса «Семья кентавров». Это место он перевел специально для Альбрехта на немецкий язык, надеясь порадовать его. Но не угодил: были это всего лишь общие фразы — изумительное владение кистью, удачный подбор красок, мастерская передача теней, гармония и уравновешенность композиции. Впрочем, точно в таких же выражениях описывались и картины других художников древности. Но здесь, по крайней мере, сюжет был назван. И Дюрер начал создавать эскиз для точно такой же картины, ибо жило еще в нем желание восстановить искусство древних греков. Благо, видел изображения кентавров в Венеции да и кое-какие зарисовки в свое время оттуда привез. Но замысел не овладел живописцем полностью. Остановился на половине пути. От недолгого увлечения осталась лишь гравюра «Семья сатиров», которую Альбрехт намеревался повезти в Италию, чтобы показать итальянцам, на что способен немецкий мастер.

Венеция по-прежнему оставалась его вожаделенной целью. Он пытался уговорить Пиркгеймера поехать вместе с ним, и тот как будто был не прочь совершить это путешествие, чтобы забыть удары судьбы, словно из рога изобилия сыпавшиеся на его голову в последнее время. Поражение в нюрнбергском лесу и изгнание из совета теперь уже были не в счет. Еще более страшные беды обрушились на дом Пиркгеймеров: скончался старый Иоганн, так и не успев уйти в монастырь. А вскоре, в 1504 году, разрешившись от бремени мертвым сыном, умерла Кресценция. Для Вилибальда это было двойное горе. Он так ждал наследника! И ушла из его жизни та, которая умела прощать его сумасбродные выходки и держать на

себе весь его дом. Он просил Дюрера запечатлеть жену на смертном одре. Но художник не смог исполнить его желание — слишком жива еще в его памяти была смерть отца. Альбрехт изготовил лишь эскиз с изображением сцены прощания Вилибальда с Кресценцией. Картину по этому рисунку писал уже другой художник. И написал ее из рук вон плохо. После смерти жены Пиркгеймер, не находя себе места от горя, решил покинуть Нюрнберг, уехать в Италию, завершить университетское образование и стать доктором права. Он теперь это мог себе позволить: отца, властно распоряжавшегося им, уже не было на свете, а в совет он не собирался возвращаться. Имелось, правда, одно серьезное препятствие — малолетние дочери. Сестры Вилибальда, монахини, соглашались взять на себя заботу о девочках. И все-таки он не мог решиться оставить их.

Дюрер, однако, был уверен, что в Италию они все-таки поедут вместе, в мечтах уже представлял себе эту поездку и начал подготовку к ней. Прежде всего требовались деньги, а это значило, что снова начнутся ссоры с Агнес. На портретах и алтарях удалось заработать изрядно, но, по словам супруги, оказывалось, что сбережений у них — жалкие гроши. Ведь приходится нести значительные расходы на содержание отцовского дома. С брата Эндреса, к которому отошла мастерская, нечего взять. Ко всему прочему, тот отправился странствовать, а мать, жалея младшего сына, отдала ему почти все деньги, оставленные супругом. Это и злило Агнес больше всего, лучше бы заплатила, мол, за дом, ведь покойный свекор так и не смог полностью погасить долг. Барбара и младший брат Альбрехта Ганс стали для нее заклятыми врагами. Подумать только: в доме ни пфеннига, а свекровь, ударившись в благочестие, щедрой рукой раздает милостыню попрошайкам и по всякому поводу покупает индульгенции! А этот бездельник Ганс! В его годы уже сами зарабатывают на хлеб. Все они сидят у нее на шее. Отчасти она была права: ради экономии Агнес рассчитала всех посредников и теперь сама торговала гравюрами лужа на нюрнбергском рынке и ежегодно ездила на ярмарки во Франкфурт. Стоило Альбрехту заикнуться о желании поехать в Венецию, как на него обрушивался град попреков. Она, Агнес, бьется как рыба об лед, чтобы в доме был достаток. Скитается по ярмаркам, когда дороги кишат разбойным людом, останавливается на сомнительных постоялых дворах. О совместной поездке в Венецию не может быть и речи: ноги ее никогда не будет в этом притопе разврата, ей еще душа дорога. Намерение Альбрехта освободить ее хотя бы от Ганса было воспринято женой благожелательно, но зато встретило отчаянное возражение матери: ни за что! Крошка останется здесь, подле нее. Тащить ребенка в вертеп — это же надо придумать!

Тем не менее Альбрехт твердо стоял на своем. Решено: весной он вместе с Пиркгеймером отправится в Италию. Но вскоре его постигло разочарование. Зимой скончался заядлый враг Вилибальда Пауль Фолькмер, и теперь для Пиркгеймера открылась возможность вернуться в Совет сорока. Этого же хотели и его прежние коллеги. Дело в том, что, по их мнению, настало время вывести Нюрнберг из очередной междоусобной войны — за ландсгутское наследство, — в которую город по воле императора Максимилиана был втянут два года тому назад. Император решил помочь Альбрехту Баварскому «восстановить правду», так как герцог Георг Богатый вопреки закону о наследовании завещал свои владения не ему, а Рупрехту Пфальцскому. Нюрнберг, собственно говоря, был здесь ни при чем, однако он был обязан поддерживать Максимилиана. Вспомнили о дипломатических способностях старика Пиркгеймера и решили, что сын унаследовал их, а потому необходимо его снова ввести в совет. На этот раз Вилибальда не пришлось упрашивать. На пасху 1505 года его снова избрали в совет, а через несколько дней он вместе с Антоном Тетцелем уехал в Кёльн на переговоры.

Для Дюрера решение Пиркгеймера было тяжелым ударом. В его глазах друг совершил непростительную измену — отказался от совместной поездки. Однако поступок Вилибальда не поколебал намерения ехать в Италию. Летом Альбрехт начал подготовку к путешествию. День и ночь работал в его мастерской пресс. Дюрер решил окупить поездку продажей гравюр. С этой же целью отобрал с дюжину картин. Кроме того, надеялся, что удастся подработать на заказах. Ведь теперь он не желторотый младенец, а известный мастер! Итак, пусть успокоится Агнес — деньги понадобятся только на дорогу.

В трудах и хлопотах подошло время расставания. Особенно тяжело было прощаться с Бальдунгом. Ганс уходил в Галле, где должен был написать два алтаря для главного собора. Предложение это было сделано самому Дюреру, а он, отказавшись, рекомендовал самым настойчивым образом своего ученика. Так разошлись их пути. Навсегда. Эти два художника, для одного из которых с 1505 года с благословения другого начался период взлета, до конца своих дней сохранили истинно товарищеские отношения, никогда не омрачаемые чувством ревности...

Поверив в то, что Альбрехт собирается в Венеции торговать, Агнес в конце концов скрепя сердце дала согласие на поездку. В августе 1505 года вернулся из Кёльна Пиркгеймер. Довольный сверх меры. Еще бы! Его миссия увенчалась полным успехом. После того как 30 июля при содействии Максимилиана мир между враждующими сторонами был

подписан, Вилибальд на свой страх и риск провел переговоры с собравшимися князьями. Доказывал, интриговал, иной раз прибегал к помощи денег. Спустя неделю подписал от Нюрнберга договор, по которому получал город право владения на все завоеванные им во время ландсгутской войны области.

По просьбе Пиркгеймера совет разрешил ему на некоторое время удалиться от дел. Услышав об этом, обрадовался Дюрер: стало быть, вместе поедут в Италию. Однако Вилибальд опять изменил свое намерение: он отправился в Нёрдлинген, чтобы в деревенской тиши, подобно Вергилию, посвятить себя музам — переводу диалогов Лукиана. Нет худа без добра: видимо, понимал Вилибальд, что подвел друга. Чтобы загладить свою вину, предложил ему в долг сто гульденов. Поставил, однако, условие: заем вернуть не деньгами, а драгоценными камнями, коврами и книгами. Дюрер согласился, так как был уверен, что в Венеции быстро распродаст свои картины и гравюры. Тем более что Вилибальд передал ему разговор, услышанный в Кёльне: в Италии высоко ценят мессера Альберто из Нюрнберга. Некий Марк Антонио Раймонди из Венеции сколотил даже порядочное состояние на подделке его гравюр.

Итак, в путь!.. Обещал Вилибальд перед отъездом вручить письмо-рекомендацию Конраду Пойтингеру, которого Альбрехт должен был навестить в Аугсбурге.

У Конрада множество друзей, в том числе и в Венеции, человек он добрый — поможет на первых порах, заодно и посоветует, какие книги стоит приобрести в Венеции.

Уже защиты в рогожу предназначенные для продажи картины и гравюры — самые лучшие. Те, что похуже, оставлены Агнес для продажи: оборотистая, у нее и такие сойдут. Братья Паумгартнеры дали отсрочку — боковые створы к их алтарю напишет он после возвращения. Раздобрились, даже предложили свои услуги: их караван в ближайшее время отправится в Венецию, и мастер может присоединиться к нему.

Когда пришел к Вилибальду за рекомендациями, тот еще раз настроение испортил: дал поручение города. В Кёльне говорил Максимилиан, что собирается идти воевать Италию. Поскольку император стоял на стороне Нюрнберга, совет решил ему помочь. Если будет возможно, должен Дюрер из Венеции сообщать все, что услышал там об особе императора, а если попадется на глаза какое-нибудь новое оружие, то не лениться и подробно отписывать. Ничего особенного в этом поручении нет — каждый гражданин должен по мере своих сил помогать родному городу. Вот почему в дюреровских письмах из Италии исследователи

находят темы, не имеющие к его творчеству никакого отношения.

Есть еще один момент в его жизни тех лет, который привлекает внимание: мастер постоянно и мучительно думал о смерти. К этому периоду относится его знаменитый «Герб Смерти». И совсем ошеломляющее впечатление производит рисунок углем, созданный, по всеобщему мнению, незадолго до поездки в Венецию — согбенный скелет в короне, вцепившийся в холку замордованной клячи, коса в костлявой руке. Бредет одр неизвестно куда. Едет Смерть за очередной жертвой. Надпись: «Memento mori» — «Помни о смерти!». С мрачным предчувствием, в состоянии «черной меланхолии», которая усиливалась до крайних пределов семейными неурядицами, бежал мастер Альбрехт в город своей юности, туда, где когда-то ему было хорошо и легко, где он не слышал этого проклятого слова «дармояд», где он был не ремесленником, а свободным и уважаемым художником.

С такими чувствами и мыслями расставался Дюрер на этот раз с Нюрнбергом.

ГЛАВА VI,

в которой рассказывается, как Дюрер совершил вторую поездку в Венецию, как он состязался и враждовал с итальянскими художниками, как был признан его талант и укрепилась его слава.

В Аугсбург караван, с которым шел Дюрер, прибыл без происшествий. Здесь, ожидая, когда к ним присоединятся местные купцы, задержались на несколько дней. Дюрер не мешкая отправился к Конраду Пойтингеру. Вручил Вилибальдово письмо.

Друг Пиркгеймера оказался человеком любезным — не пожалел времени, чтобы показать гостю достопримечательности Аугсбурга. Поднимались на Перлах — башню, с которой открывался весь город. Река Лех видна с нее как на ладони, от нее отведены каналы с перекинутыми через них мостами. Их же, как сказал Конрад, здесь побольше, чем в Венеции, и по своей красоте они венецианским не уступают. Конечно, прошли по виа Клаудиа Августа — старой римской дороге. Здесь под открытым небом императоры проводят рейхстага. Поэтому городской совет постоянно украшает ее фонтанами и заставляет патрициев, поселившихся на ней, поддерживать свои дома в образцовом порядке.

Но большую часть времени Дюрер провел в библиотеке хозяина. В ней можно было найти многое. Оказались там и дюреровские гравюры, привезенные Конраду из Венеции. Рассмотрел их Дюрер внимательно. Не его работа, хотя и похожи. Каковы итальянские жулики! Подделали все до мелочей и даже его монограмму поставили, лже-Дюрера безжалостно истребили — фальшивки мастер заменил подлинниками. Здесь, в библиотеке, рисовал Дюрер древнегреческую статую, недавно приобретенную Пойтингером. Казалось, выдержаны все размеры, а когда с хозяином вместе стали сравнивать их с Витрувиевыми канонами, ни один размер не совпал. И так каждый раз: все вроде правильно, а на поверку все ложно. Да существуют ли вообще в природе эти законы?

Что же касается просьбы Пиркгеймера содействовать Дюреру в получении заказов, то уже перед самым отъездом сообщил Конрад: к аугсбургским властям обратилось с просьбой Немецкое подворье в Венеции. Просили найти художника из немцев, который написал бы алтарь для церкви святого Варфоломея, в которой недавно случился пожар, уничтоживший почти все ее убранство. Этот заказ, можно сказать, верный, так как церковь находится при подворье, а его старшины вольны

распоряжаться ею, иначе неминуемо пришлось бы делиться заработком с венецианцами. Тем не менее пусть Альбрехт поспешит, иначе, глядишь, уплывет заказ.

Дюрер этому совету внял, но судьба распорядилась иначе: в деревушке Штайн пришлось прервать путешествие. Свалила его болезнь. Караван ушел дальше, а он остался на попечении хозяина постоянного двора. Однако здесь пролежал Дюрер недолго, местный живописец протянул коллеге руку помощи — забрал к себе. Пользовали его какими-то травяными настоями. Через несколько дней болезнь как рукой сняло.

В лугах за околлицей полегла увядшая трава. В высоком небе догоняли ушедшее лето последние стаи перелетных птиц. По ночам морозец натягивал тонкую ледяную пленку на лужи. Зима тем не менее не спешила. В солнечное осеннее утро ввалился в домишко великан в меховой шубе с золотой цепью на шее, с перстнями на всех пальцах. Представился: Ульрих Варнбюлер, имперский советник. Проезжал мимо, услышал, что остановился здесь прославленный мастер, решил узнать, не нужна ли помощь. Снова повезло: дальнейший путь в Венецию проделал Дюрер в уютном возке имперского советника, удобно покаясь на коврах и мягких подушках.

Въехав в Венецию, расстался Дюрер с Варнбюлером. Отправился на Немецкое подворье разыскивать свои вещи. Мало изменилась Венеция за одиннадцать лет. Обошел Пьяццу Сан-Марко — такая же, как и раньше. За это время построили лишь часовую башню под аркой собора. На Пьяццете — перемен больше. Валявшиеся раньше в беспорядке огромные каменные блоки, о которые он не раз расшибал себе ноги, будто сами собой сложились в Лестницу Гигантов, сбегаящую к морю. Под мостом лениво плещет вода, будто совсем не хочет двигаться и жаждет покоя и отдыха. Там, дома, в Нюрнберге, почти все перестраивается заново, там бьет жизнь. Венеция, достигнув величия и славы, успокоилась, ее словно клонит ко сну. Впрочем, она все уже перевидела и все узнала.

Пойтингер располагал верной информацией. Когда Дюрер встретился со старшинами Фондако, те подтвердили: действительно, алтарь нужен. И против Дюрера как исполнителя ничего не могут возразить — уже успели навести справки. Однако там, в Аугсбурге, не вникли в смысл приписки к письму: вопрос об алтаре будет окончательно решен лишь после того, как станет ясно, сколько денег потребуется для строительства новых складов. При чем тут склады? Ответ был какой-то неопределенный: скорее всего отговорка, чтобы помаялся художник без дела и согласился на любые условия.

Но выглядело все правдоподобно. Склады и впрямь строились. Дюрер сам мог в этом убедиться: необычно много толпилось на Немецком подворье архитекторов и живописцев, хотя все уже знали, что проектировать склады будет Скарпаньино. Не без умысла старшины удерживали их на подворье — пусть Скарпаньино видит, что он не один на белом свете мастер, желающих много. Пусть пойдет на скидку. Не обеднеет: ведь работы на немецкое купечество освобождают от налогов. Одновременно, чтобы умаслить архитектора, старшины давали в его честь один обед за другим. Звали на них неоднократно и Дюрера. Видимо, тоже не без умысла: хотели показать — и у нас, у немцев, тоже есть художники незаурядные! На одной из таких встреч появилась вдруг вроде бы знакомая личность. Поинтересовался. Ну, конечно же, это Джорджоне, Большой Георг! Он-то чего здесь ищет? Старшины переглянулись: с луны, что ли, свалился? Ведь все венецианцы спят и видят немецкие заказы — платят за них прилично, к тому же работа на подворье дает множество льгот. Джорджоне, хотя и пользуется ныне не меньшей славой, чем братья Беллини, не исключение, хочет получить подряд на роспись фасадов будущих складских помещений.

Шел Дюрер к венецианским художникам с открытой душой. А встретил с их стороны сдержанность и подозрительность. Было это отчасти объяснимо: начало Немецкое подворье большие строительные работы, сулившие значительные заказы, и вдруг ни с того ни с сего появляется в Венеции немецкий художник, пользующийся уже известностью и, как видно, их конкурент. Ведь слухи о том, что именно «мессеру Альберто» будет поручено писать алтарь для церкви святого Варфоломея, распространились по городу. Джорджоне, правда, подлинные чувства умело скрывал. Даже разрешил посещать его мастерскую и познакомил немецкого маэстро со своим методом письма. Удивило Альбрехта, что пишет Большой Георг свои картины без всяких эскизов, будто повинаясь минутному вдохновению, потом начинает сразу же писать красками. Множество незаконченных работ стояло у стены: вдохновение мастера иссякло, и им предстояло ожидать, когда оно снова посетит художника. Дюрер сразу же заметил, что со времени его первого посещения Венеции сделали тамошние мастера значительный шаг вперед в искусстве колорита. Но композиционные решения Джорджоне не понравились — нет порядка, сплошная асимметрия! Единственно чему можно было бы здесь поучиться — передаче светотени.

В мастерской Джорджоне встретил Дюрер впервые рыжего юношу, который, словно оруженосец, повсюду сопровождал Георга. Так состоялось

его знакомство с молодым Тицианом. Оказалось, что и он учился у братьев Беллини, потом ушел к Джорджоне и теперь работает вместе с ним. О Джанбеллини говорил Тициан сдержанно и, как показалось Дюреру, даже с некоторым раздражением; нет, он не порочил его мастерство. И вместе с тем, как и его старший друг, был сердит; Джанбеллини, захватив в городе все привилегии, препятствует молодым пробивать себе дорогу. Вот и теперь приходится опасаться, что отобьет он заказ Немецкого подворья — ему это ничего не стоит при той поддержке, которую оказывает ему нынешний дож Леонардо Лоредан. Тем не менее Тициан сопровождал Дюрера в церковь святого Захария, где находился только что законченный Джанбеллини алтарь, и расхваливал его как последнее достижение венецианской живописи. Да, не притупила старость способности Беллини всегда искать новое. Отказался он окончательно от многофигурных композиций — свел здесь число персонажей картины до четырех. Зато какая монументальность, какое умелое размещение фигур в пространстве, какая точная передача архитектурного окружения! Ничего лишнего, ничего, что рассеивало бы внимание! Колорит сведен к двум-трем основным тонам. Подобную же манеру Дюрер подметил еще у Джорджоне. Но у того это пока что было поиском, а здесь — зрелое мастерство. Нет, что и говорить — велик, безусловно велик этот старый Джанбеллини!

Тициан просил у Дюрера разрешения посещать время от времени его мастерскую, которую тот оборудовал в доме Пендера, где остановился. Просьба произвела на Дюрера благоприятное впечатление: знал, что в Венеции этого не требуется — здесь художники писали обычно в окружении своих знакомых, которые давали им советы и развлекали за работой рассказами, В немецких же землях такого обычая не было, и проявленное со стороны Тициана уважение растрогало его: конечно же, молодой друг будет желанным гостем. Нет у него секретов от венецианских коллег.

Только вот большой вопрос, когда удастся начать писать — ведь старшины подворья заказа пока что не передали. Это ставило его в трудное положение. Альбрехт надеялся, что получит задаток, который обеспечит ему на первое время беззаботное существование. Пришлось срочно заняться распродажей привезенных картин и гравюр. В торговых делах опыта у него нет, и никто ничего толком посоветовать не может. Надо искать перекупщиков. Поставленные ими условия повергли Дюрера в уныние: половина выручки мастеру, половина им. На меньшую долю не согласились даже тогда, когда узнали, что перед ними сам мессер Альберто, живописец из Нюрнберга. Конечно, знают они его имя и его работы, однако

пусть не в обиду маэстро будет сказано: уж очень он плодovit, все лавки забиты его гравюрами. Можно поэтому понести и убытки. Приобрел Дюрер несколько «своих» гравюр и отправился с ними в Синьорию, к казначею-прокуратору, главе корпорации венецианских живописцев, просить защиты от людей без чести и совести, которые обкрадывают его, подделывают его работы.

Казначей-прокурор, перебирая янтарные четки, бросал исподлобья хмурые взгляды на Дюрера. Он-то лично разделяет возмущение мастера, но при чем здесь Синьория? Да и верно ли то, что это подделки? Может быть, просто заимствование. Тогда Дюрер только гордиться должен: раз воруют, значит, есть что украсть. Вряд ли это скажется существенно на доходах художника. Уже одно то, что получил мессер Альберто заказ на алтарь, возместит с лихвой убытки. Кроме того, венецианские мастера жаловались, что отбивает Дюрер у них верный заработок. Может, узнав об этом, сменит уважаемый мастер свой гнев на милость?

Рассказал живописец о своем визите к прокуратору на подворье, но поддержки не нашел: кто же жалуется на тех, с кем предстоит иметь дело долгое время? Полюбовно надо договариваться. Здесь ведь ничего не прощают. А что, если прокуратор «посоветует» отдать заказ другому? Прокуратор, правда, этого не сделал. Видимо, решил — не стоит пока ссориться с немцами. Дюрер заказ получил: алтарь для церкви святого Варфоломея на тему «Праздник четок», прославляющий богоматерь.

Сразу приступить к его выполнению Дюрер не мог. В каждом письме напоминал ему Пиркгеймер о долге и настойчиво просил, чтобы к рождеству обязательно прислал бы перстни и книги. Книги нужны для работы, перстни — для подарков друзьям, которых, по слухам, доходившим до Альбрехта, у Вилибальда стало еще больше. Очень быстро рассеялась печаль жизнелюбца-патриция. Снова веселился он напропалую, снова лилось рекою вино в доме на Главном рынке и хороводом вились вокруг Пиркгеймера женщины. Книги больших хлопот не доставили — их быстро подобрали по пиркгеймеровскому списку. А вот с перстнями и камнями пришлось повозиться.

Отправил Вилибальду все, что тот просил, и, облегченно вздохнув, приступил в январе к подготовке холста для «Праздника» и закупке красок. Дюрер рассчитал: если он постарается, то закончит алтарь к пасхе 1506 года, после чего положит в карман сто десять рейнских гульденов и будет искать другие заказы. Наверняка «Праздник четок» удастся, так что в работе недостатка не будет. Почему-то не сомневался в этом. Настроение стало еще лучше, когда получил от посредников деньги за проданные

картины и гравюры.

Все было бы хорошо, если бы Пиркгеймер оставил его в покое: почти все перстни прислал назад — потребовал обменять и купить на те же деньги жемчуга. Сначала Альбрехт пытался выполнить Вилибальдовы просьбы сам. Но потом увидел — не справится. Попросил помощи у знакомых. Февраль прошел в этих заботах. «Праздник» почти не двигался с места. Терпению пришел конец, когда Вилибальд возвратил еще один перстень. Продав его с убытком и купив новый, отправил Пиркгеймеру, приложив злое письмо, мол, последний раз оказывает ему подобную услугу. Если и теперь не угодил Вилибальдовой шлюхе, то пусть Пиркгеймер выбросит перстень в отхожее место и больше его не тревожит.

Написать-то написал, а поручения продолжал выполнять. Нельзя обижать друга, ибо он не только ссудил ему деньги на поездку, но и взял все заботы о его семье. Одному Пиркгеймеру доверил Дюрер свою тайну: несмотря на обещание, данное Агнес и матери вернуться домой весной, решил он пробыть в Италии значительно дольше. В своих письмах родным будет он сообщать, что вот-вот приедет, а на самом деле пусть Вилибальд его скоро не ждет. Постарается Альбрехт здесь, в Венеции, и ума-разума поднабраться, и заработать как можно больше, чтобы разом со всеми долгами расплатиться.

Задумано было хорошо — только не принял во внимание мнения венецианцев, особенно художников. К немцам вообще в городе лагун стали относиться хуже после того, как пронюхали, что собирается император Максимилиан вмешаться в итальянские распри, идти против Венеции. Случайно или не случайно, но слишком часто уж стали вспыхивать пожары в домах, где проживали «немецкие варвары». Даже неустрашимый Андреас Кунхофер, который вместе с купцом Антоном Кольбом, сманившим Барбари в Германию, вдруг объявился снова в Венеции и, по-прежнему каждый раз изъявляя «готовность служить Пиркгеймеру», просил Дюрера намекнуть их общему другу, что недолго ему быть «вечным студентом» и что хотелось бы вернуться в родные края, потому что не желает он больше оставаться в Падуе.

Немцев теперь во всем обвиняли: и в том, что разлагают они венецианские нравы, и в том, что вынюхивают слабые места Венецианской республики, и что на корню скупают все драгоценности, порождая тем самым дороговизну. Не раз Дюреру, выбиравшему камни для своего друга, приходилось сталкиваться и с откровенными угрозами, и с наглым надувательством. Но больше всего доставалось от местных живописцев, завидовавших известности «этого нищего из-за Альп». Те же, для кого он

не был конкурентом, относились к нему пока вполне хорошо. Писал Дюрер Пиркгеймеру: «Я хотел бы, чтобы Вы были здесь, в Венеции; среди итальянцев так много славных людей, которые чем дальше, тем больше со мною дружат, так что становится легко на сердце. Разумные и сведущие, хорошие лютнисты и флейтисты, понимающие в живописи, люди благородной души и истинной добродетели, они выказывают мне много уважения и дружбы. И напротив, есть здесь и бесчестнейшие, изолгавшиеся воры и негодяи; я не думал, что такие бывают на свете. Но если кто этого не знает, он может подумать, что это милейшие на свете люди. Я сам не могу удержаться от смеха, когда они со мной разговаривают. Они знают, что все их злодейства известны, но не обращают на это внимания. У меня много друзей среда итальянцев, которые предостерегают меня, чтобы я не ел и не пил с их живописцами. Многие из них мне враги; они копируют мои работы в церквах и везде, где только могут их найти, а потом ругают их и говорят, что они не в античном вкусе и поэтому плохи».

Дюреру неожиданно пришлось прервать работу над алтарем: его руки ни с того ни с сего вдруг покрылись язвами. Кунхофер, теперь подозревавший всех и вся в кознях, не исключал, что Альбрехту подмешали в краски какую-то дрянь. Что же, вполне возможно. Вскоре слег и сам Андрес. Он поспешил укрыться в тайном своем убежище, и Дюреру стоило немалого труда разыскать его там. Кунхофер твердо был уверен, что коварные венецианцы добрались и до него.

Изменился он до неузнаваемости. Глаза, втиснутые в слезящиеся опухшие веки, тусклы и безжизненны. Голос хрипл. Говорил Андрес с трудом, проглатывая слова, не заканчивая начатых фраз. То и дело его душил кашель. Какая уж тут беседа, когда Андрее не допускал ж сомнения, что отдает богу душу из-за этих проклятых венецианцев. Дюреру оп хочет посоветовать одно: пусть не лезет он в дела, которые его не касаются, и без того на него в Венеции смотрят косо. Немцам сейчас следует сидеть тихо. Венецианцы их и раньше не особенно жаловали, а теперь в каждом видят врага. Здесь много средств раз и навсегда положить конец любознательности чужеземцев. Вот, пожалуй, и все, что хотелось ему сказать. Теперь пора проститься, он, Кунхофер, желает Дюреру от всей души, искренне победы в состязании с венецианскими живописцами, но, победив, пусть тот немедленно покинет Венецию...

Думал Дюрер, что Кунхоферу действительно пришел конец, так и отписал Пиркгеймеру. Но нелегко было свалить такой дуб, каким был Андрес. Почти из могилы вылез. Занял у Альбрехта восемь дукатов и исчез. Через несколько лет дошли до Дюрера сведения, что стал он

секретарем папы римского. Встретиться же еще раз не довелось.

Кунхофер был хорошо знаком с венецианскими нравами. В этом Дюрер вскоре убедился. Его жалоба казначею-прокуратору прощена не была. Вдруг перестали покупать его гравюры. Посредники объясняли это тем, что они не удовлетворяют знатоков. Месяц тому назад удовлетворяли, а теперь нет? Оказалось, что не в том дело. Просто затеяли против него подлинную травлю. «Знатоки» появлялись в лавках и, собрав побольше народу, высмеивали бездарность варвара из-за Альп. Мол, не понимает он ничего в красоте — достаточно взглянуть на его Венер с отвисшим пузом. Разве это дамы божественного происхождения? Потом от слов перешли к делу. Выволакивали дюреровские гравюры на улицу, бросали их в грязь, топтали ногами. Некоторые торговцы испугались, отказались брать его работы. Другие же соглашались рискнуть, но стремились еще больше урезать его долю.

Ко всему прочему старшины Фондако, видя, что алтарь вперед не продвигается, решили уменьшить обговоренную ранее плату до восьмидесяти пяти дукатов. Объясняли они это тем, что-де оплачивают его стол и квартиру. Смолчал. В общем-то они правы. Им нужно видеть работу. То, что он над ней раздумывает, их не касается. Стало ясно, что не успеет с «Праздником» к пасхе. Дай бог закончить к троице.

Венецианские козни тем временем продолжались. В марте его пригласили в Синьорию к казначею-прокуратору. Прокуратор на сей раз не говорил елейным тоном. Сообщил, что получены сведения о немалых доходах мессера Альберт о в Венеции. Вероятно, следует напомнить, что принято в таких случаях вносить взнос в кассу корпорации живописцев. И здесь пришлось смолчать, хотя жалко было платить четыре дуката тем, кто топчет его гравюры. Ни слова не говоря, выложил деньги на стол.

Одно утешало: докучала мелкая сошка, те же венецианские художники, которые знали свою силу, относились к нему без предвзятости. Несколько раз посещал его Тициан. Несмотря на свое раздражение против венецианских злопыхателей, с его присутствием Дюрер смирился. Даже к советам стал прислушиваться. Показывал ему свои гравюры и рисунки, которые, впрочем, мало интересовали венецианца. Заниматься гравюрой, по его мнению, скучно, ибо нельзя в ней в полную силу использовать все преимущества живописи. Краски — вот что главное, правильным их размещением можно усилить впечатление от картины, придать ей жизненность. Дюрер возражал: может быть, и так, но ведь техника гравюры еще не разработана как следует.

Склонен был верить Дюрер, что Тициан не кривил душой, когда

восторгался эскизами к «Празднику». Но особенно хвалил молодой живописец его «Мадонну с Иисусом и Иоанном», начатую специально для того, чтобы проверить венецианские краски и размять руку перед большой работой. Фигура Иоанна-ребенка привела Тициана в восторг. Попросил разрешения скопировать ее, не скрывая, что намерен воспользоваться дюреровской находкой в своей картине.

В начале февраля забежал Тициан в мастерскую с просьбой не отлучаться в город, ибо скоро прибудет сюда высокий гость. Сообщил и исчез. Что за гость? Видимо, Джорджоне, лучший друг Тициана. Кому же еще быть? Только к чему такие церемонии? На всякий случай приказал слуге подать в комнату вина и сладостей. Джорджоне так Джорджоне. Окажет он ему должное уважение и почет, знаменитый художник того стоит.

Примерно через час слуги распахнули двери, и на пороге появился сам богоравный Джованни Беллини в сопровождении множества живописцев. Неслыханная честь, от которой чуть было не подкосились ноги у Дюрера! Вместо приветствий залепетал извинения: собирался-де неоднократно посетить мессера Джованни, но прослышал, что болен великий мастер, не дерзнул докучать ему своим присутствием.

Было известно Дюреру, что относится старый Джанбеллини к тем немногим, кто отдает должное его творчеству. Уж он-то конкуренции не боялся. Об этом визите не преминул Альбрехт сообщить Вилибальду: «Джанбеллини очень хвалил меня в присутствии многих господ. Ему хотелось иметь что-нибудь из моих работ, и он сам приходил ко мне и просил меня, чтобы я ему что-нибудь сделал, он же хорошо мне заплатит. Все говорят мне, какой это достойный человек, и я тоже к нему расположен. Он очень стар и все еще лучший в живописи».

Да, мессер Джованни заметно сдал. Подъем по лестнице утомил его. Когда заговорил, то несколько раз прерывался — переводил дыхание. Правду говорили: Джованни стар и болен. Но Джованни еще ничего, а вот его брат Джентиле совсем плох. Тем не менее продолжает работать. Трудится сейчас над росписью стен Скуола гранде ди Сан Марко. Джованни стремится как можно больше быть подле брата, постигать его манеру и замысел. Кто знает, когда призовет бог Джентиле к себе. И если это произойдет скоро, то брат завершит его дело. Говорил старый художник спокойно — все равно ведь неизбежное свершится.

Но, конечно, цель визита знаменитого маэстро — не жалобы на старость. Хочет он посмотреть картины, о которых столько разговоров в Венеции и которые молодой Тициан считает совершенством. Не насмешка

ли? Вроде непохоже. Отказать, разумеется, нельзя. Выдвинул на середину комнаты мольберт. Начал ставить на него один за другим эскизы к «Празднику четок». Потом показал «Мадонну» и оставшиеся нераспроданными картины, привезенные из Нюрнберга. На эскизы Джанбеллини взглянул бегло. «Мадонну» рассматривал более внимательно, даже с некоторым удивлением. Потом попросил Дюрера принести кисти, которыми была написана картина. Просьба несколько странная, но живописец поспешил ее выполнить. Неторопливо перебирал Беллини поданные ему кисти. Пристально вглядывался в «Мадонну». Наконец сказал: здесь не все, отсутствует та, которой написаны волосы. Напрасно клялся Дюрер, что пет у него никаких специальных кистей. Беллини недоверчиво качал головой. Ну, как еще доказывать? Тогда Альбрехт взял первую попавшуюся под руку, обмакнул в краску. На доске с начатым эскизом сделал неправильной формы мазок, начал его отделявать. Беллини смотрел не отрываясь: начинал понимать, в чем дело — просто держит немец кисть перпендикулярно к доске. Затихли собравшиеся. Постепенно превращался мазок на их глазах в локон.

Когда Дюрер кончил, выразил Беллини ему свою похвалу. Сказал, обращаясь к толпившимся художникам: вот оно, величие техники живописи и величие прилежания. За десять лет, прошедших с первой их встречи, добился мессер Альберто невероятно многого. У него бы поучиться терпению Джорджоне и Тициану. Огляделся вокруг, но ни того, ни другого не было в комнате. Джанбеллини вздохнул и оставил эту тему.

Неожиданный выпад мастера против двух живописцев, стремительно набравших силу, был понятен для всех присутствующих, в том числе и для Дюрера. Их нетерпение выразилось в том, что они покинули мастерскую Беллини и пошли своим путем, ломая прежние традиции. Так, как в свое время Альбрехт ушел от Вольгемута. Ходили также слухи, что Джорджоне и Тициан обижены на своего учителя, ибо из-за него они до сих пор не могли получить заказ Немецкого подворья. Как официальный живописец республики, имел Джованни преимущественное право на него. Пока не откажется, никто его не получит. А Беллини медлил.

К слову сказать, потом они его все-таки получили.

В конце визита поинтересовался Джанбеллини, доволен ли мессер Альберто своим пребыванием в Венеции. Ответил сначала Дюрер, что жаловаться ему нечего. Но потом не удержался, выложил все свои обиды: и как вызывали его к казначею-прокуратору, и как запугивают купцов, торгующих его гравюрами, и как бесчестят его имя. Скривился Беллини: да полно, разве только в одной Венеции существуют неблагодарность и

зависть? Неужели в немецких землях все обстоит иначе? Может быть, утешит художника хорошая венецианская поговорка: множество печалей дается лишь великому мастеру...

Похвала Беллини, произнесенная в присутствии многих, оказала воздействие. Изменилось отношение к Дюреру. По крайней мере, стали узнавать на улице, появились даже заказчики, да и гравюры поднялись в цене. Рассеялись мрачные тучи. Увидел Дюрер, что сияет над Венецией веселое весеннее солнце, а черный цвет гондол вроде бы и не портит вид ее каналов. Через неделю после визита мессера Джованни распрощался Дюрер с последними из привезенных картин — две продал за двадцать четыре дуката, а еще три обменял на кольцо для Вилибальда.

Если судить по последующим письмам к Пиркгеймеру, то настроение художника значительно улучшается. «Знайте также, что я милостью божьей живу хорошо и очень спешу с работой». В духе того времени наполняет он послания к другу скабрёзными шутками, потешается над любовными интригами Вилибальда и письмо сочиняет на немыслимой смеси немецкого и итальянского языков. Можно подумать, что в Венеции Дюрер только развлекается. «Также знайте, что решил я было научиться танцевать и был два раза в школе. Но после того как пришлось заплатить учителю дукат, никто не заставит меня снова туда пойти. Я истратил бы на ученье все, что я заработал, да еще в результате ничему бы не научился». Передает Альбрехт Пиркгеймеру приветы то от купленного им плаща, то от костюма. И вместе с тем жалуется, что деньги тают как дым и нужно срочно искать новые заказы.

В одном из писем неожиданно проскальзывает намек, что и он, Дюрер, не ведет в Венеции жизнь девственника. Уж не смутила ли его покой эта особа с роскошными рыжими волосами, которую он столь любовно изобразил на портрете, считающемся шедевром немецкой живописи и, по мнению знатоков, поразившем венецианцев? Не ради ли нее он берет уроки этикета и танцев?

Но жизнь художника все же, видимо, была несладкой и после заступничества Беллини. Нападки со стороны венецианских живописцев не прекращаются. Об этом он тоже пишет Вилибальду. Зная, что Пиркгеймер ждёт более серьезных сведений, чем сообщения о наличии в Венеции драгоценных камней и лебединых перьев для письма, Дюрер вопреки предостережению Кунхофера собирает и их. «О, если бы Вы были здесь, каких бы Вы увидели красивых итальянских ландскнехтов! Как часто я Вас вспоминаю! У них большие рунки^[1] с двумястами семьюдесятью восьмью

лезвиями; тот, кого они ими заденут, умрет, ибо все они отравлены... Венецианцы собирают большое войско, также папа и французский король. Что из этого получится, я не знаю, ибо над нашим королем здесь сильно насмеваются».

Нет, все-таки во многом показной была веселость Дюрера в письмах к «высокоученому, истинно мудрому знатоку многих языков, сразу раскрывающему всякую ложь и быстро отличающему истинную правду, достопочтенному, высокочтимому господину Вилибальду Пиркгеймеру». Особенно много забот начали доставлять письма из дома, которые стали приходить чаще, как только альпийские перевалы очистились от снега. До Нюрнберга дошли слухи, что Дюрер транжирит деньги на женщин и развлечения, что он не торопится покидать Венецию и поэтому тянет с выполнением заказа, что — о, великий боже! — он носит белые перчатки. Это было правдой: руки продолжали болеть.

Агнес не скрывала, что все эти сведения почерпнуты ею из Альбрехтовых писем Пиркгеймеру, который не считает нужным хранить их в тайне, и что «развратное поведение» ее супруга стало достоянием языков нюрнбергских кумушек. Но хуже этого были постоянные нападки Агнес на мать и брата Ганса. Оставленные им перед отъездом деньги, которых, как ему казалось, должно было хватить надолго, были израсходованы, и супруга изливала гнев не только на него, но и на посаженных им на ее шею «дармоедов». Не было иного выхода, как снова обратиться к Пиркгеймеру.

«Скажите моей матери, — писал он, — чтобы она поговорила с Вольгемутом о моем брате, не может ли он дать ему работу, пока я не вернусь, или устроить его к кому-нибудь другому, чтобы он мог себя содержать. Я охотно взял бы его с собой в Венецию, это было бы полезно и мне, и ему также для изучения языка. Но она боится, что на него упадет небо. Я прошу Вас, присмотрите сами за ним, на женщин надежда плоха. Поговорите с мальчиком, как Вы это умеете, чтобы он учился и хорошо себя вел, пока я не вернусь, и не был бы в тягость матери. Хотя я и не все могу сделать, все же я стараюсь сделать то, что в моих силах. Один я бы не пропал, но содержать многих мне слишком трудно».

Все поручения Вилибальд выполнил честно. Отношения же с Агнес испортил окончательно. В очередном письме супруга ругала Пиркгеймера на чем свет стоит за непочтение к патрицианской дочери, то есть к ней. Она ведь не какая-нибудь стерва с Пегница. А Вилибальдовы деньги ей не нужны. Она и сама их добудет: в ближайшее время отправляется на ярмарку во Франкфурте и забирает с собою Барбару — нечего той даром хлеб есть.

Из письма Вилибальда Альбрехт уразумел, что, собственно, произошло. Пиркгеймер опять напомнил ему о невыплаченном долге и в связи с этим зубоскалил: если друг его не вернет, то в соответствии с обычаями города возьмет он Агнес в наложницы. Был действительно в Нюрнберге закон, гласивший, что в случае неуплаты долга заимодавец может отобрать у должника жену или же разметать печь в его доме. Видимо, сказал нечто подобное Агнес, отсюда и вся буря.

К троице «Праздник четок», несмотря на все старания Дюрера, не был закончен, но не потому, что мастер развлекался, как считали в Нюрнберге. Несколько раз переделывал эскиз, чтобы окончательно изгнать из него все мрачное, сумрачное — то, что, помимо его воли, проникало туда. Праздник все-таки должен быть праздником — больше света, больше ярких красок! Идея Джорджоне, что цвет тоже является необходимым элементом композиции, увлекла Дюрера. Наконец-то он ясно представлял всю картину.

...На фоне альпийского ландшафта, залитого ослепительным солнцем, возвышается на троне Мадонна с младенцем на руках. В ярких праздничных одеяниях склонились перед нею представители всех сословий — рыцари, купцы, ремесленники, среди них и сам живописец, и Конрад Пойттигер, и каменных дел мастер Иероним, полузабытый творец Немецкого подворья. Здесь же и старшины Фондако. Весь мир славил Мадонну, заступницу человечества, и богородица благословляла всех живущих и созидających во имя прославления христианства. Младенец Христос возлагал венок из роз на голову папы, Мадонна — на голову императора Максимилиана. Это был новый Дюрер, совсем другой, чем автор «Апокалипсиса».

Идея единения и мира, лежавшая в основе композиции — выполняя божественное предначертание, папа сплачивает всех силой религии, а император силой власти и просвещения — до зрителей, однако, не доходила. Были известны планы Максимилиана, направленные отнюдь не на спасение мира. Старшины Фондако первыми обратили на это внимание. Их мнение разделял и нюрнбергский посланник Бернارد Хиршфогель. Он во избежание неприятностей советовал вообще убрать фигуру императора. Но было поздно что-либо переделывать.

Откровенно говоря, Дюрер не верил предположениям посланника.

Будь что будет. А потом, может быть, посланник несколько преувеличивает. Известно, что, потеряв недавно сына, Хиршфогель вообразил, подобно Кунхоферу, что за всеми пакостями, обрушившимися

на немецкую колонию, несомненно, кроется рука Совета десяти. Он осторожничал сверх меры.

Тем не менее Хиршфогель оказался прав. Когда в августе Дюрер завершил работу над «Праздником», первые же его критики сразу обратили внимание на фигуру Максимилиана на переднем плане. И то, что венки возлагались одновременно на папу и императора, тоже не ускользнуло от их внимания. Не намек ли здесь на союз Максимилиана с Римом против Венеции: Дюрер пытался уйти от этих вопросов, перевести разговор на чисто живописные достоинства и недостатки алтаря, но попытки были тщетными. Планы императора занимали город лагун значительно больше, чем все алтари, вместе взятые.

Показывал Дюрер свой «Праздник» и Джованни Беллини. На фигуру императора мастер, казалось, не обратил внимания — во всяком случае, не задержал на ней взгляда. Мадонна значительно больше заинтересовала его. Относительно ее Джанбеллини высказал единственное замечание: овальная форма, которую придал его немецкий коллега лицу Мадонны, вряд ли в Венеции сыщёт поклонников. Это — флорентийская манера, в Венеции ее отвергают. Между прочим, продолжал Беллини, ввел ее Леонардо, но это не причина, чтобы считать ее высшим достижением живописи. Уходя, еще раз посмотрел мастер на «Праздник четок» и сказал: такую картину было бы не совестно показать самому Андреа Мантенье. Звучало это как высокая похвала. Вот только теперь остановился его взгляд на Максимилиане, и вроде бы без всякой связи посоветовал Джованни Дюреру уехать из Венеции, посмотреть Италию и повидать мастера Андреа. Правда, в последнее время очень редко принимает Мантенья посетителей, немощен стал, но для мессера Альберто наверняка сделает исключение. Этот совет поставил живописца в тупик. Уж не ожидает ли и Джанбеллини неприятностей из-за императора? Ведь венецианцы никогда не говорят прямо, сплошные намеки и недомолвки. Понимай как хочешь!

Теперь оставалось сдать работу заказчику, а здесь решающее слово принадлежало патрону церкви святого Варфоломея Антонио Суриану. Он-то будет смотреть на алтарь не с точки зрения его живописных достоинств. Назначен был день. Засуетились старшины Фондако. И вдруг словно громом ударила новость: вместе с настоятелем прибудет и сам дож Леонардо Лоредан. Неслыханная честь для Немецкого подворья! Вместе с тем решение дожа внушало опасение — не кроется ли за ним тайного смысла: слишком мал повод для такого визита.

Успокаивал себя Дюрер: нет здесь ничего необыкновенного, просто Джанбеллини рассказал о его мастерстве, и дож, считавшийся знатоком

живописи, решил самолично убедиться в этом. И все-таки грызло сомнение — не фигура ли императора все же тому причина? И тогда из-за пустяка погибнет вся работа. А если ее отвергнут, может он поставить точку на своем состязании с венецианцами. Кому страшен освистанный живописец?

Тревожно-торжественный день настал. Ну и толпа! Прокураторы, служители Синьории, священники, стражи... Из живописцев лишь Джанбеллини оказался в первом ряду, всех остальных оттеснили. Дюрер давал пояснения к картине, останавливаясь в основном на деталях второстепенных и тем самым отвлекая внимание от фигуры императора. Все обошлось благополучно: высокие гости промолчали, те, которые пониже, не решились рта раскрыть. Дождь сказал несколько любезных фраз относительно большого мастерства мессера Альберто. Суриан, похвалив колорит картины, подчеркнул особо — с точки зрения канонов религии не видит он никаких отклонений. И старшины облегченно вздохнули. Джанбеллини добавил к этому, что, на его взгляд, Дюрер успешно решил задачу сопряжения северной и южной ветви живописи, что до него пытался сделать Антонелло да Мессина.

На этом самое страшное закончилось. Началась часть неофициальная — старшины пригласили именитых гостей в соседнюю комнату. Как-то так само собой случилось — хотя в Венеции всякие случайности исключены, — что оказался Дюрер в одной группе с дожем, Сурианом, Беллини, прокуратором-казначеем и старшинами Фондако. Обратившись к казначею, сказал Лоредан: созерцая совершенное творение мессера Альберто, подумал он о том, что кисть его могла бы немало способствовать украшению Венеции. Хотел бы он поэтому спросить достопочтенного прокуратора и главу корпорации живописцев: может ли республика оплачивать труд мессера Альберто достойно его таланту и не примут ли венецианские живописцы его в свою среду? Прокуратор сразу же ответил, что со стороны корпорации он не ожидает возражений, а что касается оплаты услуг мессера Альберто, казна готова выплачивать ему двести дукатов ежегодно. Уверенный тон прокуратора никого не удивил — ведь ясно: все заранее обговорено в Синьории. Поставило их в тупик то, что Дюрер, не задумываясь, ответил отказом. Благодарит он высокую Синьорию за оказанную честь. Просит, однако, извинить: не собирается он покидать Нюрнберг — город, где родился и вырос и где могила его отца. Надеется, что его поймут и не осудят. Конечно, никто его не осуждает. Более того, завидуют они Нюрнбергу, способному вызывать столь великую любовь к себе своих сограждан. Дождь почти дружески кивнул головой на прощание, падре Антонио милостиво благословил и протянул руку для

лобызания.

Прощаясь, прокуратор сообщил Дюреру, что просьба его — запретить Марку Антонио Раймонди подделывать его гравюры — удовлетворена. Печатать гравюры Раймонди может, но ставить на них монограмму Дюрера ему запрещено.

Хорошо закончился этот день, но Хиршфогель мрачно заметил: не простят Дюреру отказ принять предложение республики.

В письме к Вилибальду, отправленном через несколько дней, Дюрер писал, что вскоре покинет Венецию, С удовлетворением победителя сообщал другу о той высокой оценке, которую дали его «Празднику» Лоредан и Суриан. Подводил итоги: за год он утвердил себя в Италии не только как график, но и как живописец. Если раньше говорили, что он беспомощен в обращении с красками, то теперь высказывают прямо противоположное мнение: лучших красок, чем у него, трудно сыскать. В Венеции, где свет и цвет играют в живописи роль первостепенную, высшей похвалы трудно добиться.

Между тем мелкие неприятности уже начались. В них Хиршфогель, стань они ему известны, усмотрел бы, вне всякого сомнения, первые признаки надвигающейся угрозы таинственного венецианского могущества. Дюрера вдруг стали избегать друзья, исчез вроде бы казавшийся преданным всей душой слуга, прихватив к тому же восемь дукатов.

Но что значили эти мелочи по сравнению с чувством победы, которое охватило его, когда он увидел толпу, собравшуюся у его алтаря в церкви святого Варфоломея? А здесь новая радость: прибежал в гостиницу ученик Беллини и сообщил, что прибыл из Мантуи гонец от Андреа Мантеньи. Не соизволит ли мастер принять его? Конечно же, и незамедлительно! Две новости привез посланец прославленного живописца. Одну печальную — тяжело болен Мантенья, лежит не вставая в постели. Возраст берет свое: все-таки семьдесят пять лет. Вторую радостную: желает мастер Андреа немедленно видеть мастера Альберто, просит поспешить. Видел он работы Дюрера, высоко оценивает его гений и намерен подкрепить его дарование и навык силой знания и наук. Очень жаль, сказал Мантенья, отправляя гонца в путь, что он, Андреа, не обладает даром мастера Альберто, а мастер Альберто — его ученостью.

Не мог Дюрер тотчас же выехать в Мантую — нужно было закончить дела в Венеции, подготовиться к отъезду на родину. Пиркгеймеру писал: «Также по Вашей просьбе довожу до Вашего сведения о том, когда я собираюсь возвратиться, чтобы мои господа знали, как им поступать. Я

закончу здесь все через десять дней. Затем я поеду в Болонью ради секретов искусства перспективы, которым хочет научить меня один человек. Там я пробуду около восьми или десяти дней, а затем снова приеду в Венецию. После этого я выеду с первым же посыльным. О, как мне будет холодно без солнца; здесь я господин, дома — дармояд».

Сборы в обратный путь лишили Альбрехта возможности встретиться с прославленным мастером: 13 сентября 1506 года, вскоре после отправки гонца в Венецию, Андреа Мантенья скончался. Дом Джанбеллини погрузился в глубокий траур. Дюрер не находил себе места. Не успел! Так ждать этой встречи и упустить ее навсегда из-за каких-то пустяков.

К тому же пожар, вспыхнувший в доме Петера Пендера и уничтоживший сукно, купленное Дюрером за целых восемь дукатов, его плащ и еще кое-что из вещей, показал, насколько непрочны все эти осязаемые блага. Был ли пожар случайностью? Вряд ли, ибо у Пендера загорелись разом все дома, находившиеся в разных концах Венеции. Город получил точные сведения, что Максимилиан решил короноваться в Риме, ради этого обещал папе Юлию II помощь и намеревался пробиться к Вечному городу силой, если венецианцы вздумают остановить его. Немцы стали нежелательными гостями. Не стоило искушать судьбу, но от поездки в Болонью Дюрер все же не смог отказаться.

Слава быстронога. В этом Альбрехт убедился, прибыв в Болонью. Прием, оказанный ему здесь, превзошел все самые смелые ожидания. Его приняли с гостеприимством, равным которому могло быть только нюрнбергское. Старшина болонских живописцев Франческо Франта чествовал Дюрера будто воскресшего Апеллеса, и все наперебой уверяли, что его работы — это верх совершенства. Где и когда они успели познакомиться с ними, для художника осталось тайной. Радужие не в пример венецианскому было искренним, здесь подумали обо всем: где он будет жить, у кого питаться, что ему следует посмотреть. Узнав, что Дюрер не понимает болонского наречия, попросили нюрнбержца Кристофа Шейрля, изучавшего право в университете, сопровождать его.

Было Дюреру в Болонье весело и свободно. Каждый день — встречи с коллегами, разговоры о живописи. Спорили о перспективе и пропорциях, об измерениях и светотени. Много рисовал Дюрер с натуры и тут же рисунки раздаривал. Демонстрировал точность глазомера и твердость руки: без инструментов чертил окружности и многоугольники. А когда измеряли их потом линейкой и циркулем, то погрешностей, не находилось. Такая способность приводила всех в изумление и еще больше укрепляла его

славу.

Но не ради развлечений приехал Дюрер в Болонью. Исходил все церкви и многие дворцы, знакомясь с картинами болонцев. Добивался, чтобы его познакомили с Лукой Пачоли, учителем самого великого Леонардо и другом знаменитого Пьеро делла Франчески, автора многочисленных трудов по перспективе и измерениям. Добился. Встретился с Лукой. Услышал панегирик математике и желчную сатиру на живописцев, превозносящих сверх меры вдохновение. Мол, творит художник так же непринужденно, как поет птица, как цветет цветок! Пустобрехи! Да знают ли они, дубовые головы, что под самую теологию подводят сейчас математику? Да ведают ли они, ослиное племя, что нет в этом мире ничего величественнее и красивее числа, основы всего сущего? Вот Леонардо — тот понимал! Красота будет достигнута, когда все поймут это. Тогда, глядишь, помянут и его добрым словом, ибо это он, Лука Пачоли, написал трактат «Божественная перспектива», иллюминированный самим Леонардо. С благоговением рассматривал Дюрер рисунки Леонардо, листал бережно драгоценные страницы и... чувствовал то же самое, что и тогда, когда держал в руках рукопись Альберти. Увы! «Божественную перспективу» он не мог прочитать — еще года два побыть бы ему в латинской школе, из которой забрал его отец!

Не желая показаться неучем, хитрил Дюрер, делал вид, что во всем разбирается, донимал старого ученого вопросами о цифровых соотношениях, «золотом сечении» и способах построения правильных многоугольников. Формулы и колонки цифр, будто сами собою стекавшие с пера Пачоли, приводили Дюрера в отчаяние. Путался в переводе Шейрль. А Лука давно догадался, что не второй Леонардо сидит перед ним. Ворчал Пачоли: почему это живописцам недоступен ясный и точный язык формул, почему они все не такие, как Леонардо? В конце концов терпение болонца иссякло — сказал прямо: чтобы хоть на шаг продвинуться в понимании пропорций и перспективы, следует прежде всего познакомиться с Евклидовыми «Началами». Дом не начинают строить с крыши.

6 ноября 1506 года в Болонью въехал пана Юлий II, и жизнь города пошла другим руслом. Внимание живописцев переключилось на этого покровителя искусств, служившего с равным рвением и музам и Марсу. Его пребывание в городе могло круто изменить судьбу каждого из них. Уже поговаривали о том, что Юлий пригласил к себе в Рим Микеланджело. Вроде бы его эмиссары ведут переговоры и с Леонардо. Чем болонцы хуже других? Поэтому в эти дни живописцев можно было скорее сыскать у дворца, где остановился Юлий, чем у себя в мастерских.

Видимо, кто-то из живописцев сообщил Юлию, что находится в городе известный немецкий живописец. Папский посланец появился у Дюрера нежданно-негаданно. Сообщил час аудиенции.

Так они и встретились. Несло от Юлия конским потом. На ногах кавалерийские сапоги, грязные, давно не чищенные. Благословил — будто отмахнулся. Мало походил папа на святого, каким его представляли в Германии. И разговор повел не о спасении души и даже не о живописи, а о военных планах Максимилиана. Относительно их Дюрер не был осведомлен, в чем чистосердечно признался Юлию. Сразу же пропал у папы интерес к нему. Сказал только, что будет рад встретиться с мастером в Риме, который сейчас украшается благодаря его, папы, стараниям. На этом расстались.

Аудиенция у папы равносильна отпущению грехов, ради нее нюрнбергские пилигримы готовы жизнь отдать. Тем не менее ехать в Рим пет желания. Ведь первым вопросом, который зададут по возвращении домой, будет вопрос о посещении римских святынь, ибо светопреставления ждут по-прежнему. Болонские живописцы тоже советуют ехать в Вечный город. Любезность Юлия они сочли за формальное приглашение и немного ему завидуют. Но то, что для них вожделенная мечта, для Дюрера — ненужное бремя: Рим украшать он не собирается. Хватит — уже украсил Венецию! Однако, поскольку уж все равно Рима не минуешь, следовало поторопиться, чтобы успеть уехать до возвращения папы и тем самым избежать ненужных «милостей».

Ряд исследователей творчества Дюрера высказывают предположение, что до поездки в Рим художник посетил также Милан, где встретился с великим Леонардо да Винчи. В пользу этого приводятся совпадения в трудах Дюрера и Леонардо о живописи, заимствования в ряде последующих гравюр Дюрера образов великого итальянца, которые остались известны лишь в рисунках, а также в картине, известной под названием «Христос среди книжников», которую Дюрер создал в Риме. Картину на аналогичную тему собирался в это время писать и Леонардо.

Под впечатлением встреч в Болонье, утвердивших Альбрехта в мысли, что все художники, где бы они ни жили, делают одно великое дело и думают об одном и том же, спешил он на юг — в Рим. Над головой итальянское солнце, греющее не по-осеннему тепло. За плечами трепещет, будто крылья, венецианский плащ. Послушно ложится под копыта коня каменистая дорога. Здесь и любят и ненавидят по-настоящему. Здесь он свободный человек — Альбрехт Дюрер, мастер из Нюрнберга.

Вечный город пока еще не мог потягаться красотой с Венецией,

Флоренцией и Миланом. Но уже приказал папа Юлий II украсить священную столицу католицизма. Исчезали целые кварталы. Словно по волшебству, чуть ли не за ночь возносились величественные чертоги. Панские палаты ждали кисти Рафаэля и Микеланджело. У базилики святого Петра день и ночь трудились каменных дел мастера, возводя чудо-храм. А его главный архитектор Браманте, возвратившись со строительной площадки, развертывал перед Дюрером чертежи. Рассказывал о соборе так, будто тот уже существовал. Вел своего собеседника по площадям, которых еще не было, спускался к Тибру по ступеням набережной, которую предстояло построить. Браманте охотно говорил о Витрувии и других великих строителях прошлого. От него услышал Дюрер, что собирается папа украсить Рим древними статуями — много их сейчас находят: откапывают из-под земли, извлекают из тибрских вод. Впрочем, их Дюрер и сам видел. Очищенные от грязи, явившиеся на свет из мрака столетий, они терпеливо ждали того дня, когда вознесутся на пьедесталах на площадях города и в его дворцах.

Здесь, в Риме, состязались все художники. Соревновались с древними мастерами и друг с другом, стремились достигнуть еще невиданного в яркости красок и совершенстве форм. Видел Дюрер «Обручение Марии» Рафаэля, и жалкими показались ему собственные краски — даже в такой картине, как «Праздник четок». Вот здесь было действительно настоящее, живое небо, с его зыбким и таинственным светом. И тогда Альбрехтом тоже овладел дух состязания. Наскоро исполнив долг верующего и получив отпущение грехов, как уже совершенных, так и будущих, заперся в комнате на целых пять дней. Время прошло незаметно, но зато теперь он мог показать римским коллегам, на что способен «мессер Альберто». Картина — мы уже упоминали о ней — получила название «Христос среди книжников».

Дюрер был столь горд той скоростью, с которой создал картину, что сделал на ней соответствующую памятку. Но зрители восприняли ее как раскрашенный эскиз, а карикатурные образы начетчиков возбудили у них подозрения, что их немецкий коллега был знаком с набросками характерных типов Леонардо.

Это его не огорчило. Главное — никто над ним не смеялся, никто не называл варваром. А того, что он здесь увидел, было достаточно, чтобы понять — немного найдется здесь равных ему мастеров. Главное же — это чувство свободы, уважения к его труду. И сейчас он еще с большим основанием смог бы повторить мысль, сказанную в письме к Пиркгеймеру: как же будет не хватать на родине итальянского солнца, здесь он —

человек, а дома — дармоед...

Все на свете, однако, приходит к концу. Настало время прощания с Римом. Альбрехт вернулся в Венецию.

Он оставался здесь ровно столько, сколько потребовалось, чтобы упаковать вещи и отправить их первым же караваном, уходившим в Германию. Обошел в последний раз осточертевшие ювелирные лавки — надо же возвращать долг Пиркгеймеру. Приобрел для себя сочинения Евклида, хотя книга стоила немалых денег. Но это не расточительство. Пора браться за ум и начинать строительство своего здания. Евклид — первый камень в его основании.

В раннее февральское утро 1507 года, въехав на холм, с которого еще можно было видеть Венецию, остановил Дюрер коня и оглянулся. Город скрывался за выползавшим на берег туманом. Прощаясь с нюрнбергским мастером, Венеция не пожелала открыть своего лица. Вспомнились слова Андреаса: морская республика умеет хранить свои тайны.

Тяжело вздохнув, Дюрер поворотил коня в сторону гор...

Ровно через год, презрев все предостережения, в том числе и дюреровские, все сообщения, что Венеция готова к войне, а ее население, кроме ненависти, никаких иных чувств к германскому императору не питает, Максимилиан со своими ландскнехтами вторгся в Италию. Он шел на соединение с французским королем и папой Юлием II. Триумвират надеялся навсегда покончить с заносчивой владычицей морей, мешавшей им. Венеция встала как один человек на защиту своей свободы, В кровопролитных сражениях ее войска остановили императорскую армию и, не дав ей соединиться с союзниками, разгромили.

Дюрер, воочию видевший готовность древней республики к сражению, едва ли был удивлен известием о бесславном возвращении императора из-за Альп.

ГЛАВА VII,

в которой рассказывается о том, как Дюрер создавал алтари и гравюры и постигал Евклида, как был он беспричинно обижен императорским штатгальтером и вознагражден Нюрнбергом и как получил первый заказ Максимилиана I.

Подсчитав привезенные из Италии и полученные за проданные товары деньги, Дюрер с удивлением обнаружил, что стал состоятельным человеком. Конечно, не столь богатым, как Имхоф, Пиркгеймер, Паумгартнеры, но и не тем полубанкротом, которому лишь Вилибальд рискнул ссудить деньги на поездку в Венецию. Вернул Пиркгеймеру оставшийся долг и прямо от него отправился в ратушу, где заявил, что желает приобрести в собственность отцовский дом и выплатить сразу «вечные деньги» — проценты его бывшим владельцам. С помощью городских властей все уладилось. Переходил дом теперь полностью в руки наследников золотых дел мастера Альбрехта Дюрера. Этакая щедрость вызвала гнев Агнес: почему Эндрес и другие братья не внесли своей доли, разве им не дорога память отца? Впервые прикрикнул на супругу: сам знает, что делает. Где он, Эндрес? Все еще странствует. Какие у него деньги? Раздражают его плотно закрытые ставни мастерской, ожидающей Эндреса. Пылится без дела отцовский инструмент. Тряхнуть бы стариной! Но по законам города это не положено, и, кроме того, у него другие намерения — засесть за книгу о живописи. А что касается других братьев — Ганса-старшего и Ганса-младшего (был еще Ганс-средний, да умер), то первый сам нуждался: вернулся из странствия и не может открыть портняжную мастерскую, ибо надо платить взнос за звание мастера, а о заработках второго смешно и говорить. Вот приструнить его надо, так это точно, слухи о проделках братца дошли уже до ратуши. Чего доброго, вырастет второй Пляйденвурф на страх всему городу.

Первое время, занятый домашними делами, Дюрер ни над чем не работал. Книга о живописи оставалась лишь благим намерением.

К неудовольствию Агнес, стал часто бывать у Пиркгеймера. Делился своими итальянскими впечатлениями. Но в который уже раз изменил Вилибальд музам, отдавшись всецело политике. Поэтому рассказы Дюрера о встречах с живописцами слушал невнимательно. Стоило на минуту прерваться рассказу, как тотчас же влезал Вилибальд со своими вопросами. Как оценивает венецианский дож императорскую армию? Какие планы у

папы Юлия? Дюрер вспыхивал. Да что он — нюрнбергский посланник, что ли? Так и шли их беседы: каждый о своем.

И все-таки тот же Вилибальд снова вернул его к делу. Как-то после очередной размолвки стукнул кулаком по столу: хватит пустых разговоров! Друзья ждут от Альбрехта картин и гравюр, а не слов. Буквально на днях пришло письмо от каноника церкви святого Стефана в Бамберге Лоренца Бехайма с просьбой прислать хотя бы один рисунок Дюрера на античную тему. На большее, как пишет Лоренц, он и не рассчитывает, ибо дошли до Бамберга слухи, что занят сейчас Альбрехт своей бородой, а не живописью...

Что ж, Вилибальд прав: просьбу надо исполнить. Тем более что Лоренца Альбрехт искренне уважает: большого ума человек! Кто бы мог предполагать, что сын нюрнбергского пушкаря станет фортификатором папы Александра VI? После его смерти в 1503 году Бехайм вернулся на родину и тогда же познакомился с Дюрером. Был сведущ в науке измерений и немного разбирался в пропорциях. Покупая в Венеции Евклидовы «Начала», лелеял Дюрер мечту, что с его помощью осилит их. Но Лоренца в Нюрнберге уже не застал.

Рисунки Дюрер отправил. В ответ прислал Альбрехту Бехайм его гороскоп, так как, кроме алхимии, математики и врачевания, увлекался каноник еще и астрологией. Если отбросить разные там ссылки на расположения звезд и планет, то видно было, откуда почерпнул Лоренц сведения о Дюрере — из встреч с ним и из писем Пиркгеймера. Нужно ли было обращаться к светилам, чтобы узнать, что Дюрер худ, откровенен и честен. Любит оружие. В денежных делах предсказывал ему Бехайм удачу: вряд ли он разорится, скорее накопит несметные богатства. Наибольшие успехи звезды сулили ему в живописи и в любви. Но жена у него будет только одна. По этому поводу весьма сокрушался Вилибальд: обливается-де слезами, что другу до конца дней своих придется жить с этой фурией, медузой Горгоной, Сократовой Ксантиппой.

Вилибальд, пожалуй, был прав, когда упрекнул друга в безделье. Уходит напрасно время, недаром итальянцы говорят: до сорока лет может заниматься человек всем, чем угодно, но после должен посвятить себя одной цели. А цель уже определилась — создать своего рода энциклопедию для художников. Начал с того, на чем остановился перед поездкой в Венецию. Вернулся к конструированию идеальной человеческой фигуры из геометрических тел. Для нового опыта избрал тот же сюжет — Адама и Еву, но на этот раз решил изобразить их в красках и по отдельности, так как помнил трудности, с которыми столкнулся при создании той, давней

гравюры. Почему Адам и Ева? Можно назвать и иначе — для замысла это роли не играло. Но разрешали строгие нюрнбергские нравы рисовать обнаженными только эти два персонажа, ибо их нагота подтверждена самой Библией. Вот и назвал, чтобы не было лишних вопросов.

С трудом давалась сложная конструкция из кубов, пирамид и конусов, которую стал наносить на подготовленные доски с набросков, сделанных когда-то для гравюры. Чепуха какая-то получалась. Лишь столкнулся с новой проблемой: как увеличить размеры геометрических тел, не нарушая ранее найденных пропорций? Потом лишь узнал, что принципы этого увеличения пока еще неизвестны даже математикам. А ведь тогда впал в отчаяние. Кончилось тем, что плюнул он на все хитроумные каркасы — и прямо поверх их стал писать начисто, свободно, по-итальянски. Пошло дело на лад. Из черного фона с каждым днем все отчетливее выступают две обнаженные фигуры. Увидев «Еву», Пиркгеймер от удивления только присвистнул. Прямо на него грациозной походкой, кокетливо улыбаясь, шла прелестная итальянка. Сценка была в истинно Вилибальдовом стиле: понимает, мол, теперь, почему прародитель Адам променял рай на женщину.

Все восторгались этими картинами Альбрехта, а у него самого в ушах звучало ехидное замечание Пачоли: не начинают строить дом с крыши. Пора браться за Евклида и приступать к измерениям. Но прежде надо навестить библиотеку Региомонтана, ведь только там можно найти людей, сведущих в математике и способных помочь разобраться в Евклидовых «Началах». После этого настанет пора приступить к собственным измерениям. Ночью, во время бессонницы, обо всем поразмыслив, Дюрер твердо решил начать это дело немедленно. А наутро зашел к нему Штефан Паумгартнер. Конечно, не ради того, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Алтарь! Альбрехт о нем уже и думать забыл. Даже совестно перед Штефаном. Дал ему твердое обещание завершить алтарь через два месяца. Пообещал, а когда поставил на мольберт успевшие изрядно запылиться боковые створы триптиха с изображением братьев, опустили руки. Работы еще непочатый край. Разыскал наброски членов семейства Паумгартнеров. Позвал в мастерскую в качестве ученика Вольфа Траута, и взялись они писать в четыре руки.

Слава богу, закончили работу раньше положенного времени, и теперь как будто ничто не мешало заняться пропорциями. Начал он, однако, не с библиотеки, а с портняжной мастерской Ганса. Вместе подсчитывали, искали идеал. Но убедились лишь в том, что его нет. Единой меры не может быть, так как есть люди толстые и тонкие, великаны и карлики, руки у

одних длиннее, а у других короче, ноги тоже. У портных существует по крайней мере полдюжины шаблонов, на которые они ориентируются. Может, и в живописи тоже следует искать не один тип, а несколько?

Региомонтановой библиотекой владела теперь Христина Вальтер. Библиотека досталась ей в наследство от мужа, умершего три года назад. Альбрехту было позволено рыться в книгах сколько душе угодно. Как-никак не чужие: Вальтерша крестила шестнадцатого по счету отпрыска в семье золотых дел мастера Дюрера. Правда, крестник ее скончался в раннем детстве.

Муж завещал Христине: если уж придется продавать библиотеку, то пусть продает всю целиком. А такого богатого покупателя не находилось. Несколько раз она предлагала совету купить библиотеку для города с условием, чтобы была она открыта для каждого. Однако у отцов города не нашлось денег. И Пиркгеймеру библиотека оказалась не по карману. Вот и подумывает Вальтерша — не продать ли ей второй дом, что находится у городских ворот? Дюрер этим заинтересовался: если надумает продавать, пусть сообщит ему — оп купит.

Знатоки математики в библиотеке не появлялись. Дюрер терпеливо их поджидал, а тем временем с грехом пополам осиливал труд Леоне Баттисты Альберти о живописи. Насколько он мог понять со своим знанием латыни, в первой части рукописи объяснял Альберти, что такое линейная перспектива. Во второй говорил об элементах живописи, а в третьей трактовал ее задачи. В принципе все это было знакомо Дюреру — вот если бы был под рукою полный перевод, то, может быть, он и вычитал что-нибудь новое для себя.

Математики наконец объявились. Первым заглянул в библиотеку Иоганн Черте, ученик Лоренца Бехайма. Правда, его не очень волновали Евклидовы постулаты и теоремы, он всецело был занят фортификацией, о которой мог говорить часами. Мечтой Иоганна было разработать такую систему городских укреплений, которая могла бы противостоять огню самых мощных пушек. Конечно, тема была интересной, но Дюрера занимало другое. Черте пришел ему на помощь и в следующий раз привел с собою монаха-иоаннита. В потертой сутане, худющего, будто его не кормили три года. Брат Вернер в основном занимался теоретической математикой. Более того, он давно уже корпел над переводом Евклидовых «Начал» на немецкий язык.

Радость Дюрера, однако, оказалась преждевременной: Вернер забросил свой перевод, так как убедился, что в их языке нет эквивалента для геометрических понятий, а потом сейчас был занят другим — по

просьбе нюрнбергских оружейников трудился над расчетами, как увеличить дальность и мощность пушек. Тем не менее знакомство было полезным. Брат Вернер объяснил принципы построения конических тел и по мере сил растолковал законы сферической тригонометрии. Всех формул и вычислений Дюрер, конечно, не постиг, но это не помешало ему выполнить для Вернера несколько чертежей, чтобы иллюминировать его будущую книгу. Попробовал было Альбрехт заговорить о решении задачи удвоения, утроения и прочего увеличения объемов геометрических тел. И в ответ услышал, что это задача пока неразрешима.

Нет, никто ему не мог помочь разобраться в Евклиде. Разве что Пиркгеймер? Но тот сейчас занят подготовкой к рейхстагу, который на сей раз должен был состояться в Нюрнберге. Ожидали приезда императорского штатгальтера Фридриха Мудрого, так как Максимилиан, занятый итальянскими делами, сам его провести не мог. Рейхстаг же ему был нужен как никогда — требовалось изыскать деньги на пополнение и перевооружение войска.

Сообщение о приезде Фридриха в Нюрнберг повергло Дюрера в уныние. Дело в том, что по возвращении в родной город вызвали его в совет и передали от имени штатгальтера новый заказ для виттенбергской церкви. Да еще какой! «Мученичество десяти тысяч христиан». От такой просьбы приказа у живописца даже в глазах потемнело. Откуда только эта страсть к много-фигурным композициям появилась! Итальянцы от нее уже отказываются, у немцев же она, как кажется, в полную силу входит. Десять тысяч образов! Это же несколько лет работы. Ослушаться, однако, нельзя. К тому же искренне уважал Дюрер Фридриха за его человеческое отношение к художникам. А если без раздражения поразмыслить, то сюжет, откровенно говоря, привлекал: здесь можно изобразить обнаженную натуру, да еще во всевозможных ракурсах. Не ожидал Дюрер, что алтарь всецело захватит его. Десять тысяч фигур он, конечно, писать не собирался, это старые мастера гонялись за количеством, чем, как он слышал в Италии, навлекли на себя гнев Микеланджело: немцы, говаривал он, на своих картинах изображают дюжину людей там, где достаточно одного, чтобы заполнить пространство. После путешествия в Венецию и знакомства с последними работами Джованни Беллини Дюрер был склонен разделить такое мнение: его новые Адам и Ева были просто фигурами, помещенными на черном фоне, без обычных в таких случаях дьяволов-искусителей, зверья и прочего, что считалось обязательным в немецкой живописи. Да и братья Паумгартнеры были изображены на боковых створах алтаря просто, привычно, даже буднично. Однако понимал Дюрер, что нельзя курфюрсту,

ревнительно немецких традиций, вместо ожидаемых десяти тысяч всучить всего лишь дюжину. Композиция, которую разработал Дюрер, не отличалась особой сложностью. Он вспомнил, что рассказывали ему в Венеции о поэте Данте и его аде с девятью концентрическими кругами. Вот и на картине появилась такая же концентричность. Сцены казней разворачиваются на фоне пейзажа, который теперь существует у Дюрера не сам по себе, а является, неотъемлемой частью композиции. Мрачные скалы и пышная зелень еще больше подчеркивают ужас происходящего, ибо здесь рубят головы и убивают людей дубинами. Однако даже это можно было найти в картинах его предшественников. Не был бы Дюрер Дюрером, если бы не вводил новшеств. Впервые он применил метод постепенного уменьшения фигур от переднего к заднему плану. Обрела его картина благодаря этому перспективу.

Нечего и говорить: из-за необходимости спешного выполнения Фридрихова поручения — воля монарха закон, как ни крути! — пришлось отложить до лучших времен занятия Евклидовой геометрией и выполнение других заказов.

А один из них не терпел отлагательств. И возник неожиданно. После того как вернулся Альбрехт из Венеции, пришлось ему с Агнес, как и положено добропорядочным людям, обойти с визитами всех родственников. Надо же было такому случиться, что у тестя Фрея натолкнулись они на прибывшего из Франкфурта купца Якоба Геллера. Потом уже дошло до Дюрера, что встреча вовсе не была случайностью, так как семейство Фреев давно дружило с Геллерами. Кстати, Якоб-то и помог Агнес наладить во Франкфурте торговлю дюреровскими гравюрами. Теперь же задумали Фреи отблагодарить своего «благодетеля».

Расстарались на славу. Поданный обед немногим уступал патрицианским. Геллер был доволен и благодушен, Дюрер тоже расслабился. А зря — забыл, что в купеческих мягких лапках кроются железные когти. Превозносил Якоб Агнес за ее деловую хватку до небес, да и ее супругу немало похвал перепало за его мастерство. Чувствовал Дюрер: все эти восхваления неспроста. Но слаб человек — растаял. Вот тогда и подкатился купчина со своей просьбой: требовался ему алтарь, да такой, чтобы не стыдно было подарить его доминиканской церкви во Франкфурте. Ну а цена? Названную Геллером сумму художник сначала воспринял за шутку — только набитый дурак мог с ней согласиться: сто гульденов. Неужели ему не известно, что Вольгемут за подобную работу берет шестьсот? Как же, как же, купцам все ведомо. Но ведь он мастеру Михаэлю помощи в торговле его гравюрами не оказывает и не у него тот

останавливается, когда бывает во Франкфурте. Спорили долго, да разве купца переговоришь?

Когда прощались, Геллер еще раз напомнил: тема алтаря — вознесение и венчание Марии, а цена за все сто гульденов. Погрозил толстым пальцем: сумма огромная — ни пфеннига больше. К рождеству картина должна быть во Франкфурте — ни днем позже!

И пошла кутерьма. Что ни неделя, то сердитое письмо из Франкфурта: как продвигается работа, что-то уж он, Дюрер, слишком тянет.

А здесь ко всем заботам, ко всей спешке, которую требовал заказ курфюрста, прибавилась болезнь: свалила Дюрера лихорадка. Об этом писал он Геллеру. Но тот считал все доводы чепухой. Не успокаивало его и сообщение, что Дюрер уже подготовил доску для алтаря, что она уже загрунтована и позолочена. Живописец твердо обещал начать работу через несколько недель, как только закончит свое «Мученичество десяти тысяч». Намекал и на то, что не грех надбавить цену, потому что материалы подорожали. Но эти намеки словно ускользали от внимания Геллера.

Купец, однако, мог подождать. Куда больше огорчало Дюрера, что не поспевал он со своими мучениками к приезду Фридриха.

Опять нашествие на Нюрнберг со всех сторон Германии. Рейхстаг! Бург снова засветился огнями, а городской совет на всякий случай увеличил численность городской стражи, ибо каждый из правителей прибывал в сопровождении не только многочисленных советников, но и челяди, вспыльчивой и скорой на расправу.

Двери в дюреровском доме теперь почти не закрывались. Наведывались к нему прежде всего те, кто стремился услужить штатгальтеру без особых усилий для себя за счет других. Очень они сокрушались, что Фридрихов заказ оказался не выполнен, подгоняли и не скупились на советы. Выставить их за порог было нельзя: перед именем каждого стояла такая цепочка титулов, что в одну строку не уместилась.

Как и в предыдущий приезд, призвал курфюрст Дюрера к себе, поздравил его с достигнутыми успехами. Живописец решил воспользоваться предоставившейся возможностью и намекнул Фридриху на прошение, которое они отправляли ему вместе с Барбари. Но курфюрст его уже запомнил, а может быть, и вообще не читал, так что слова о возрастании роли живописи понял Фридрих как намек, чтобы обратить на него, Дюрера, особое внимание.

Что ж, за этим дело не стало. В качестве первой милости предложил живописцу принять в свою мастерскую еще одного ученика сверх

положенного числа, расходы же по его обучению будет нести он, курфюрст. Вторая милость заключалась в обещании новых заказов. Вот и все.

Такую честь, ворчал Дюрер, мог бы Фридрих оказать другому, например, Лукасу Кранаху, прибывшему с ним в Нюрнберг в составе свиты. Заходил Лукас в его мастерскую, восторгался «Адамом» и «Евой». А потом соизволил высказать замечание: мол, много здесь «итальянского фасона», который он и весь немецкий народ отвергает. Ясно, с чужого голоса пел Лукас, который Дюреру был хорошо знаком. Далее Кранах объявил: после рейхстага собирается в Нидерланды. Вот где, мол, должны учиться немцы! Дюрер промолчал...

В Нюрнберге слухи расходятся быстро. 6 января 1508 года подписал Фридрих III указ, которым даровал своему верному слуге и дорогому подданному Лукасу Кранаху рыцарское звание. В соответствии с этим получал Фридрихов живописец право на герб. Будто нарочно случилось это достославное событие в Нюрнберге, где жил художник покрупнее Кранаха и с детства своего мечтавший именно о такой почести. Не скрывал Дюрер обиды, и не успокоило его разъяснение, что возведен Кранах в рыцарское достоинство не за живопись, а по той причине, что отправлялся по поручению Фридриха в Нидерланды с дипломатической миссией.

Разъехался рейхстаг. Отбыл в Нидерланды новоиспеченный рыцарь Лукас фон Кранах. Вернулась нюрнбергская жизнь в привычное русло, утихли страсти. Не прошла лишь у художника обида на штатгальтера. Прервал он работу над алтарем и вернулся к своему Евклиду — благо Пиркгеймер освободился.

Сначала Вилибальд, как это с ним и раньше бывало, поизмывался досыта: наградил же господь друзьями, которые вовсю пользуются его добротой, а сами никакой услуги оказать не могут. Говорил и еще кое-что похлеще. Таков уж характер — не улавливал грани, где шутка переходит в издевательство, а может быть, просто брал реванш за те письма из Венеции, в которых Дюрер не раз иронизировал насчет его фанфаронства и стремления казаться красавцем.

Чувствовал, однако, Дюрер, что раззадорило Вилибальда вернеровское утверждение: мол, невозможен точный перевод Евклида, поскольку, дескать, у немцев адекватных понятий нет. Пиркгеймер, принимаясь наконец за работу, все подсмеивался над «ученой кочерыжкой в сутане». Разве нынешние немцы глупее древних греков? И на первых же Евклидовых определениях убедился, что Вернер был недалек от истины. Действительно, в немецком языке отсутствовали такие слова, которые бы полностью соответствовали понятиям Евклида. Вилибальд злился. Дюрер

просил разъяснить ему, о чем идет речь, и недостающие слова находил. Был Пиркгеймер, безусловно, учен, но если бы потолкался подобно ему среди архитекторов, каменных дел мастеров и портных, то не было бы у него этих трудностей — там эти понятия давно уже известны. Так добрались до шестнадцатой теоремы. Осмелился Дюрер критиковать Евклида: чересчур, мол, многословен. Вилибальд взвился. Пусть попробует изложить Евклидову мысль короче. Дюрер не заставил себя долго просить — всю теорему уместил в восьми словах. Человек непосвященный, конечно, на черта не понял бы в его переводе, для него же все было ясно, он ведь каждый день имел дело с этими линиями и. их пересечениями.

Вилибальд перо отобрал. Это ведь кощунство — так обращаться с классиками! Семнадцатую теорему вписал в дюреровские заметки собственноручно. С восемнадцатой возвратились к прежнему методу: Вилибальд диктовал, Альбрехт записывал. Дошли до сороковой теоремы. Здесь занятия пришлось прервать...

Дюрер решил завершить «Мученичество десяти тысяч христиан». Не пристало шутить с сильными мира сего. К тому же возвратилась из Франкфурта с ярмарки Агнес и привезла новый «воплъ души» Геллера. Требовал купец выполнения обещанного, а художник и мазка-то на доску не положил. Чтобы показать свое рвение, отправил Дюрер во Франкфурт размеры будущей картины и отписал «любезному господину Якобу», что закончит он работу для курфюрста Фридриха через четырнадцать дней. «Вслед за этим я начну исполнять Вашу работу и не буду писать никакой другой картины, пока она не будет готова, ибо таково мое обыкновение. И с особым старанием я напишу для Вас собственноручно среднюю часть».

Конечно же, для завершения Фридрихова алтаря требовалось меньше двух недель. Но тянул Дюрер время, ибо долго бился над композицией «Коронования Богоматери», обещанной Геллеру. «Мученичество» было закончено тем, что поместил художник в центре картины свое изображение, а рядом с ним Пиркгеймерово — будто Данте в сопровождении Вергилия. Подписался не как обычно монограммой, а полным именем — «Альбертус Дюрер, 1508 г.», подумал и добавил: «немец сотворил сие». Отправил в Саксонию и стал ждать обещанных 280 гульденов, а также оценки.

Оценка поступила в виде книжицы Кристофа Шейр-ля, его любезного гида по Болонье, отпечатанной в Лейпциге. Писал Шейрль: «Живущие в Венеции немцы рассказывают, что им (Дюрером. — С. З.) была создана совершеннейшая во всем городе картина, в которой он с таким сходством изобразил Цезаря, что, казалось, ем/у недостает только дыхания. Три его картины украшают также церковь всех святых в Виттенберге возле алтаря.

Этими тремя произведениями он мог бы соревноваться с Апеллесом».

А «второй Апеллес» размышлял тем временем, где бы взять денег на покупку нового дома. Вальтерша наконец решилась на продажу своего владения у Тиргэртнертор. Денег, полученных от Фридриха, явно не хватало, из Геллера удалось выжать еще тридцать гульденов. Но этого было мало, а влезать в долги, подобно отцу, не хотелось. Пришлось искать новые источники денег.

Если до сих пор Дюрер открещивался от заказов, то теперь стал хватать любой. Вспомнил о Маттиасе Ландауэре. Давно уж тот его обхаживал, Барбару склонил на свою сторону, взывал и к чувству сострадания: мол, не для себя старается, для сырых и обездоленных. Вообще-то с этим можно было согласиться. Шесть лет назад Ландауэр вместе с Эразмом Шильдкротом основал в Нюрнберге приют для престарелых одиноких сограждан — так называемый «Дом двенадцати братьев». Для его часовни просил он написать алтарь, прославляющий бога-отца; бога-сына и бога — святого духа. Требования, которые он ставил, не были обременительными: «Поклонение троице» должно быть как можно больших размеров, чтобы подчеркивалось тем самым его, Ландауэра, великая любовь к богу и чтобы его портрет был помещен среди избранных, удостоенных чести войти в «град божий».

Долго отказывал ему Дюрер, а теперь сам пришел и предложил свои услуги. Знал, что это повлияет на цену, и все-таки пришлось сделать такой шаг. Твердо решил он приобрести собственный дом, ибо возвратился Эндрес. Стали делить имущество. И, естественно, начались ссоры с Агнес. Никак она не могла понять, почему это они должны покинуть дом, а не Эндрес. Какое ей было дело до того, что здесь отцовская мастерская, завещанная продолжателю его дела. И наплевать, что нет у деверя денег, чтобы отвоевать себе место среди нюрнбергских ремесленников.

Сняты ставни с окон мастерской, распахнуты широко ее двери. Заказчиков, однако, нет. Никто в Нюрнберге не знает нового мастера, не желает рисковать. Идут к другим. Брату поразить бы нюрнбержцев чем-то новым, а он не может все отцепиться от старых традиций. Делал для него Альбрехт наброски кубков и прочих сосудов, на манер тех, что видел в Венеции. Но увы! — не хватает Эндресу способности воплотить все это в металле. Прав был отец — не родился его сын ювелиром. Если бы не строгие нюрнбергские обычаи, грозившие суровыми карами тем, кто, сменив свое ремесло на другое, продолжает заниматься прежним, давно бы стал Альбрехт к тигелю, взял бы отцовский молоточек, показал бы Эндресу, как надо работать. Приходится помощь оказывать тайком —

ночью, когда ученики и подмастерья заснут. Привычно заправлял Альбрехт волосы под широкую полотняную ленту, надевал прожженный отцовский фартук и начинал священнодействовать. Пел под молоточком веселый металл. Сидел рядом Эндрес — смотрел не отрывая глаз. Кажется, кое-что усваивал.

Альбрехт же все больше входил в азарт — теперь он искал способы, чтобы ускорить процесс нанесения узоров на металл. А где можно узнать об этом что-либо новое? Конечно, у оружейников. Так стал художник их частым гостем. Нюрнбергские мастера по пистолетам и аркебузам не видели в нем конкурента, поэтому под грохот тяжелых молотов охотно посвящали в секреты своего нелегкого ремесла. Дюрер в долгу не оставался, рассказывал и рисовал им то, что увидел в Венеции его зоркий глаз. Но многое для нюрнбержцев было не в новинку — собственным разумом подобрались к секретам итальянской манеры отделки оружия и создания безотказных запальных систем. Чаше всего бывал Дюрер в той части мастерских, где смешивался едкий запах кислот и сладкий аромат пчелиных сот. Здесь протравливали рисунки на металле. Вот это и занимало его. Может, пригоден этот способ и для гравюр?

Совсем было забыл о существовании и Геллера и Ландауэра. Но они о себе то и дело напоминали. А решение не приходило. Накопилась масса рисунков-эскизов. Столько вариантов было перебрано! Может быть, пошло бы дело быстрее, если бы светило над ним желанное итальянское солнце? Но шли затяжные нудные дожди. И приходили из Франкфурта еще более нудные письма от потерявшего всяческое терпение Якоба. Что ему там поиски каких-то композиций — ему готовая работа нужна. Ремесленник должен выполнять заказ в срок. А тут все сроки прошли. В августе, так и не приступив к работе, Дюрер отвечал Геллеру, что продолжает готовить доску для алтаря, что эта картина (еще не существующая) правится ему больше, чем какая-либо другая, написанная прежде. Он наконец принял решение создать композицию в духе картины Рафаэля, которую видел в Риме. Об этом он, естественно, Геллеру не сообщал, зато жаловался, что тот платит ему слишком мало, и сожалел, что дни становятся короче. Он просил помочь продать имеющуюся у него картину с изображением Марии. Может быть, Геллер ее купит?

Но Якоб не пожелал ни купить другой картины, ни надбавить цену. Он осыпал вместо этого Дюрера упреками, обвиняя его в черной неблагодарности. Что он — его писем, что ли, не читает? В них ведь все ясно сказано: и что ему надо, и чего он хочет от живописца. «Вы также снова указываете мне, что я обязался написать Вам картину с великим

старанием, на какое я только способен, — отбивал Дюрер следующий наскок Геллера. — Но этого я, разумеется, не делал, иначе я был бы безумцем, ибо тогда я едва ли осмелился бы закончить в течение всей моей жизни. Ибо с большим старанием я едва успеваю сделать за полгода одно лицо. В картине же почти сто лиц, не считая одежд, пейзажа и других имеющихся в ней вещей. К тому же неслыханно делать нечто подобное для алтаря. Кто все это увидит? Но я полагаю, что я написал Вам так: я выполню картину с большим или с особым старанием в зависимости от срока, который Вы мне дадите. И я считаю. Вас человеком, который, если бы даже и я дал подобное обещание, сам не стал бы настаивать на его исполнении, узнав, что это приносит мне убыток. Но поступайте, как Вам угодно, я же сдержу свое обещание. Ибо я желал бы быть безупречным по отношению к каждому, поскольку это в моих силах».

Тем временем продолжались поиски наилучшего решения композиции. Десятки подготовительных штудий — набросков, сделанных пером и кистью, — росли на рабочем столе Альбрехта. Он действительно не жалел для этой картины ни времени, ни сил. Зарисовки делал везде — в гостях, в трактире «Гюльден Хоры», куда теперь перебралось «изысканное» нюрнбергское общество, даже в церкви, чего до сих пор не решался делать. Ведь создал же он во время оно сатирический рисунок тех, кто на потеху дьяволу занимается в церкви во время богослужения мирскими делами.

Вплотную к работе над алтарем Дюрер приступил после рождества 1508 года, отрешившись от всего остального. Как и было обещано Геллеру, он писал собственноручно, брат Ганс помогал лишь по мелочи. Напрасно Маттиус Ландауэр напоминал о своем заказе, а Агнес ворчала, что ей не с чем будет ехать на весеннюю ярмарку во Франкфурте. Дюрер сердито отмахивался, шел в мастерскую, и окружающий мир переставал существовать для него...

Весной 1509 года Дюреру сообщили, что Совет сорока назначил его членом Большого совета. Высшую честь оказывал ему город — самую большую, которая только могла выпасть на долю ремесленника. Жаль, что отец не дожил до этих дней. Правда, назначение возлагало на Альбрехта дополнительные обязанности — он должен был теперь официально представлять город при заключении всякого рода сделок и участвовать в разбирательстве дел в городском суде.

В это же время состоялась его сделка с Христиной Вальтер относительно дома у Тиргэртнертор. Сбывалось еще одно желание мастера. Не раз до этого, прослушав мессу у святого Зебадьда, поднимался он по просторной удочке, ведущей к бургу, туда, где стоял его будущий дом. Да и

в нем побывал уже неоднократно, забирался даже на чердак, где когда-то хранились дрова, и потому до сих пор густо пахло дубом и смолой. Из чердачного окна открывался вид на бург, на красные кирпичные стены, охватившие кольцом город. От дома — всего десяток шагов массивные Тиргэртнертор, через эти городские ворота можно выйти на франкфуртскую дорогу. Сначала она приведет к кладбищу святого Иоганна, а затем потеряется в бесконечной дали, то взбегая на холмы, поросшие лесом, то спускаясь в долину Майна. Манит дорога!..

Сделка была оформлена в мае. Заплатил за дом мастер Альбрехт 275 гульденов и принял на себя обязательство погасить все долги, связанные с ним. Так что к концу года предстояло выложить еще 75 гульденов. Но какое это имело значение для столь известного художника!

Дом у Тиргэртнертор быстро пропитывался новыми запахами — красок, загрунтованных досок, влажной бумаги. Дюрер допечатывал гравюры для продажи, не бросая в то же время и работу над алтарем. Заказчик попался назойливее комара: когда же, мол, Дюрер выполнит обещанное? Нужно было обладать ангельским терпением, чтобы в каждом письме настойчиво повторять: в этом алтаре весь смысл его жизни, пишет его сам, не прибегая к помощи учеников, даже краски собственноручно растирает. Альбрехт не лгал — ни брата Ганса, ни своего постоянного помощника Кульмбаха он даже и близко не подпускал к центральной части триптиха.

Композиция была необычной для немецкой живописи, ибо центр картины был совершенно пуст. Внимание зрителя сразу же привлекали фигуры апостолов Петра и Павла, стоящих у открытой могилы. Потом уже, повинувшись направлению этих фигур, глаза скользили выше, к Мадонне. По правде говоря, Дюреру было жаль расставаться с этим алтарем, впитавшим в себя частицу его жизни. Но день разлуки настал — Геллер и так потерял всяческое терпение.

26 августа 1509 года тщательно упакованный алтарь был передан Гансу Имхофу, который по поручению Геллера оплатил работу и взял на себя труд переправить заказчику. В тот же день Дюрер написал «любезному господину Якобу», что с огромным сожалением расстается со своим творением, одно ему утешение, что эта картина будет во Франкфурте, то есть не так уж далеко от Нюрнберга. Он дал подробное указание, как повесить алтарь, и просил не покрывать его лаком до его приезда — это он сделает сам. О картине сообщал: «Когда она была уже готова, я еще дважды ее прописал, чтобы она сохранилась на долгие времена. Я знаю, что, если Вы будете содержать ее в чистоте, она останется чистой и свежей

пятьсот лет. Ибо она выполнена не так, как обычно делают. Поэтому велите содержать ее в чистоте, чтобы ее не трогали и не брызгали на нее святой водой. Я знаю, ее не будут порицать, разве что с целью досадить мне. И я убежден, она понравится Вам».

Дюрер просил Геллера лично присутствовать при распаковке алтаря, чтобы его не повредили: «Было бы жалко, если бы была испорчена вещь, над которой я работал более года». Художник надеялся, что эта картина проживет века (надежда не сбылась: спустя сто лет алтарь погиб во время пожара во дворце баварского курфюрста Максимилиана, купившего его у франкфуртских доминиканцев).

Закончив работу, стоившую ему столько нервов, Дюрер намеревался полностью переключиться на гравюры, о чем и сообщил Геллеру. С заказом Ландауэра он предполагал покончить в более короткий срок. Гравюры, как рассчитывал художник, принесут ему гораздо больше денег, чем трудоемкая работа над алтарями.

Картина для Геллера, несомненно, стоила гораздо больше, чем заплатил за нее купец, и, видимо, он понял это. С ближайшей okazji Геллер прислал дорогой подарок для Агнес и два гульдена для Ганса Дюрера.

Первый заработок побудил Ганса объявить брату о своем намерении в ближайшее время покинуть Нюрнберг: он не хочет-де быть никому в тягость. Альбрехт его понимал — брату стало невмоготу жить в его доме и выслушивать бесконечные упреки Агнес. Дюреровская семья, привыкшая вместе делить и радости и горе, распадалась. Отошел в сторонку Эндрес, а Ганс-старший давно уже перестал появляться у них в доме. Мать устранилась от всех дел и редко выходила из отведенной ей комнаты.

Весной 1510 года Ганс Дюрер отправился бродить по свету, искать свое счастье. Где он был, чем занимался, каких людей встречал на своем пути — об этом никто не знал в Нюрнберге, ибо письмами он семью не баловал. В 1529 году он стал придворным живописцем польского короля Сигизмунда I.

Город не особенно обременял члена Большого совета мастера Альбрехта Дюрера своим поручениями. Похоже было, что живописцы просто оказали честь, признав его заслуги. Какого-либо повышения его статуса не произошло. Тем не менее это назначение стало первой причиной отчуждения между ним и Вилибальдом. У Дюрера появились новые друзья, в их числе секретарь совета Лазарус Шпенглер. Кто мог предположить, что Пиркгеймер столь ревнив в дружбе и столь нетерпим к «выскачкам»,

каковым он считал Лазаруса, а теперь заодно и Альбрехта.

Не из легких был характер у Вилибальда. В написанной под старость автобиографии то и дело упоминаются стычки и распри с другими. Почему почти каждому приписывал он посягательство на свою особу — трудно сказать. Фактом остается то, что был он подозрителен до крайности. И тот, кто был не с ним, кто не разделял полностью его мнения, кто общался с его недругами, становился ему врагом.

Со Шпенглером у Пиркгеймера были особые счеты. Разногласия между ними возникли из-за того, что и тот и другой, понимая опасность крестьянских и городских волнений, каждый сообразно со своей социальной принадлежностью предлагал разные пути к их успокоению. Вилибальд готов был рубить сплеча — в первую очередь, естественно, чернь. Шпенглер считал иначе: нужна твердость, но не жестокость. Неужели, говаривал Лазарус в кругу, своих друзей, считает Пиркгеймер себя умнее других? Неужели думает, что и другие не понимают опасности? Совершенно ясно, что готовит союз «Башмака» новый заговор, он ведь те же доносы читает, что и Пиркгеймер, и, кстати, даже раньше его. Верхний Рейн и Шварцвальд того и гляди взбунтуются. Эмиссары «Башмака» под видом нищих пробираются в Нюрнберг. Меры принимаются. Стража у застав основательно проверяет каждого идущего в город. Вновь подтвержден закон о том, что для выпрашивания милостыни в Нюрнберге нужно получить патент в канцелярии совета. Нет, не согласен он, Шпенглер, с Пиркгеймером, что нужно за малейшую провинность рубить головы. На жестокость всегда отвечают жестокостью же. Так всегда было, и Вилибальд мог бы вычитать об этом у своих любимых классиков.

Все эти разговоры доходили до ушей Пиркгеймера и вызывали его озлобление. Видел он в слотах Шпенглера не только покушение на свой авторитет, но и поддержку своих противников в Совете сорока, с членами которого вновь испортил отношения, требуя навести наконец в ратуше порядок. В ответ коллеги обвиняли его в стремлении к тиранству. Полагали даже, что Вилибальд сеет между ними рознь с тайным умыслом: захватить власть и установить свою диктатуру. В Риме, например, и такое неоднократно бывало. Посыпались обвинения: своим беспутным поведением позорит Пиркгеймер звание патриция, переводами греческих классиков-язычников подрывает христианские основы, тратит из городской кассы деньги на свои личные нужды и тайком занимается юридической практикой. Одним словом, попал Вилибальд в положение, которое мало располагало к благодушию.

А тут еще Дюрер сдружился со Шпенглером. Ясно, конечно, плебея

тянет к плебею. Лазарус и не пытался скрывать, что вышел из низов и что по образованию не может тягаться с Пиркгеймером — всего-навсего два года учения в Лейпцигском университете, из которого к тому же пришлось уйти, так как после смерти отца на него легла забота о содержании семьи. Сначала Лазарус был подмастерьем писаря в городской канцелярии, потом писарем. Два года тому назад на удивление многим его вдруг назначили секретарем совета. На нескромные вопросы о причинах столь высокого взлета Шпенглер, морщась, изрекал: труд и усердие все превозмогут.

Еще до ссоры со Шпенглером Вилибальд не раз советовал Дюреру во имя их дружбы порвать с Лазарусом. Альбрехт этого не сделал. А назначение в Большой совет волей-неволей заставило его работать с Вилибальдовым недругом. Потом, работая со «штатгальтеровым гульденом», они еще больше сблизились. Это дело тянулось с добрый десяток лет. Саксонский курфюрст, став штатгальтером Нюрнберга, договорился с Антоном Тухером о чеканке в городе монеты со своим изображением. Когда Дюрер был в Венеции, доставили «главному литейщику» Нюрнберга Кругу модель, выполненную Лукасом Кранахом. Однако Круг работать по ней отказался — слишком, мол, высокий рельеф. Патриции попали в затруднительное положение: повеление Фридриха исполнять надо, а Круг непреклонен. В результате свалили все дело на Шпенглера. Лазарус начал с того, что заставил Круга уступить место «главного литейщика» Гансу Крафту. Тот согласился выполнить работу при условии, что найдут ему людей, способных задачу «высокого рельефа» решить. Не успел Дюрер и глазом моргнуть, как Лазарус поддел его на этот крючок. Сам не заметил, как дал согласие. Вот и пришлось вместе с Крафтом торчать то у плавильной печи, то у верстака. И с одной стороны и с другой подходили к Кранаховой модели. Отвергли не один вариант. В конце концов Дюрер задачу решил: предложил отливать монеты в форме, а потом чеканить отливки специально изготовленными железными штампами. Дело пошло на лад с первой же пробы. Шпенглер совету доложил, что повеление Фридриха исполнено.

Лазарус был благодарен художнику: как-никак спас он его от немилости. Ввел Шпенглер Дюрера в круг своих друзей. В трактире, где они собирались, о древних греках разговоров не было, беседовали о том, что простым смертным было ближе: о Священном писании, о поучениях отцов церкви. Ругали римскую курию, погрязшую в грехах и развратившую верующих. Не с того конца, мол, берется Пиркгеймер исправлять пошатнувшуюся мораль — с Рима, а не с Нюрнберга надо начинать.

Кроме того, Лазарус и его друзья писали стихи. В Нюрнберге это не в

диговинку: здесь каждый грамотный хотя бы раз да облакал в рифмы поразивший его рассказ или же шутку над товарищем. Те, кто в этом деле преуспел — они назывались «майстерзингеры»^[2], — состязались между собою в бурге, и на их соревнования нюрнбержцы валом валили.

Попробовал себя в стихах и Альбрехт. Неужели же он хуже других? Но пух и перья полетели от новоявленного стихотворца, стоило ему прочесть свои труды. Когда собрались в следующий раз, Шпенглер познакомил друзей со стихами, посвященными живописцу, завивающему волосы и лелеющему бороду. Ясно, о ком речь идет? Так вот этот художник, научившись с грехом пополам читать и писать, дерзнул сочинять вирши и терзать этим бредом слух друзей. Стоило бы ему не забывать старой притчи. Он ее напомним. Шел как-то сапожник по улице и увидел картину, выставленную живописцем для просушки. Заметил сапожник ошибку, допущенную мастером в изображении обуви, указал на нее. Живописец исправил. Но его критик уже вошел во вкус, стал выискивать другие ошибки. На что получил совет: тачай сапоги, но не суй носа в дела, в которых ничего не смыслишь.

Дюрер оружия не сложил: за совет спасибо, только дана человеку голова, чтобы думать не об одних сапогах. В противном случае может получиться так, как с одним нотариусом. Пришли к нему два клиента, попросили написать документ. Нотариус достал засаленную бумажку и переписал ее. Но в образце были указаны Фриц и Франц, а его клиентов звали Гетцем и Розенстаменом. И это затруднение нотариус преодолеть не смог. Так и ушли его посетители ни с чем. А ему осталось пережевывать набившие оскомину шуточки (это ответ Шпенглеру насчет бороды), ибо на выдумки новых у него ума не хватало.

Писал Дюрер стихи и просто так, для себя, не предназначенные для чужих глаз. В одну из ночей, когда сон не шел, а на душе было тяжело, родились строчки о друзьях истинных и мнимых, о себе и Вилибальде:

Тот, кто в беде бросает друга,
Когда тому живется туго,
Кто сердце не готов отдать
Тому, кто вынужден страдать,
Кто сам страдает безутешно,
Когда дела идут успешно
У друга первого его, —
Достоин только одного:
Неумолимого презренья!

Сторонник этой точки зренья,
Я не желаю предпочесть
Суровой искренности лесть.
Держаться надо бы подальше
От лицемерия и фальши,
Поскольку добрый друг не тот,
Кто перед нами спину гнет,
К уловкам прибегая лисьим!..
Но кто, в поступках независим.
Удачу иль беду твою
Воспримет так же, как свою,
Кто за тебя горою встанет,
Не подведет и не обманет,
За то не требуя наград, —
Тот верный друг тебе и брат.
И этой верности сердечной
Ты сам ответишь дружбой вечной.

В предпасхальные дни 1510 года, как и всегда, могло показаться, что превратился Нюрнберг в Иерусалим. На улице можно было встретить и легионеров Понтия Пилата, и фарисеев, и святых апостолов, и даже самого Иисуса Христа. В городе разыгрывались мистерии. Их традиционной темой были страсти Христовы, рассказанные соответственно Библии нюрнбергскими стихотворцами и представленные любителями-лицедеями. Словно серия гравюр, развертывалось зрелище перед глазами Дюрера, и совесть не давала покоя: сколько раз твердо обещал себе закончить повествование о жизни Христа и Марии, давным-давно начатое, но так и не удосужился. А ведь возвращался к замыслу не единожды. В прошлом году переделал одну гравюру, да на этом и кончил. Другие дела мешали: занимался математикой (вроде он без нее не проживет!), теперь в поэзию ударился (очень она ему нужна!).

Может быть, и сейчас бы не поторопился, по известие о смерти Джорджоне напомнило — не вечен человек! За успехами Джорджоне Дюрер следил ревниво. Знал по рассказам возвратившихся купцов, что тот вместе с Тицианом все-таки расписал Немецкое подворье: первый писал фрески на фасаде, выходящем на канал Гранде, второй украшал боковые стены. Был у них якобы уговор не смотреть на работу другого, пока та не будет закончена. Потом сравнили. Джорджоне скрепя сердце признал, что

фрески Тициана лучше его и... отказался дальше сотрудничать с ним. Вскоре после этого пришла в Венецию чума и унесла Джорджоне.

Помни о смерти, спешి завершить начатое! Пора, самая пора засесть за гравюры! Как ни ценил Альбрехт алтарь, написанный для Геллера, как ни продолжал любить «Праздник четок», но гравюры для него все-таки были основным, главным, они одни доставляли ему ни с чем не сравнимую радость.

На сей раз принял твердое, окончательное решение — ничего больше не начнет, пока не завершит задуманных серий и не издаст их отдельными альбомами, как «Апокалипсис»! Да и его тоже решил переиздать таким в точности, каким вышел он из-под штихеля двенадцать лет назад, ничего не добавляя и не убавляя. Но потом передумал и сделал новый титульный лист с изображением головы Христа в терновом венце. В основу положил тот рисунок, который сделал во время своей болезни, едва не унесшей его в могилу.

Когда «Апокалипсис» был подготовлен к печати, вернулся Дюрер к «Страстям Христовым» — большого формата гравюрам по дереву. Уже десять лет работал Альбрехт над ними. Разложив на столе готовые гравюры, чтобы выявить пробелы, оглядел их критическим оком и обнаружил: очень разнятся они по стилю. Да, далеко он продвинулся вперед в своем мастерстве. Вот самые первые. Кажутся они теперь просто беспомощными — любой ученик сможет их исполнить без особого труда. К чему здесь такое нагромождение линий, зачем там лишние пересечения? А ведь когда-то все они казались ему верхом совершенства.

Одновременно с большой завершалась и малая серия «Страстей Христовых» — житейский пересказ библейской истории от сотворения первых людей до искупления их грехопадения мученической смертью Христа. Работал Дюрер над этими гравюрами также несколько лет, и получились они проще и более едиными по стилю. Современники сразу обратили внимание на новую трактовку художником образа Христа. Не мученик он у Дюрера, а скорее борец, знающий уготованную ему судьбу и все-таки не сворачивающий с пути, на который встал. Волевое лицо, неиссякающий порыв...

Но и это еще не все: начата серия гравюр, но уже не по дереву, а по меди на ту же тему. Завершена и «Жизнь Марии». Альбрехт пополнил ее двумя композициями — смерть и вознесение богородицы. Гравюры все больше приближаются к отражению реальной жизни. Мария? Да полно, какая же это мадонна, это же живая современница. И все вместе — гимн подвигу женщины-матери, пожертвовавшей самым дорогим ради счастья

других.

Были у Пиркгеймера все основания ревновать друга к славе. Кому выпало на долю счастье читать его, Вилибальда, ученые трактаты и наслаждаться красотами его переводов? Не было таких, ибо он все еще не удосужился свои труды опубликовать. Дюрера же, этого недоучившегося ремесленника, знали во всех немецких землях. Знали и преклонялись перед ним. А художнику как будто все мало, и дела ему нет до того,

Кто сам страдает безутешно,
Когда дела идут успешно
У друга первого его...

Пошатывается от усталости печатный пресс в мастерской Дюрера, рвутся веревки, не выдерживающие тяжести развешанных для просушки мокрых гравюр. Ночами просиживает нюрнбергский поэт Бенедикт Хелидоний над стихотворными текстами, которые должны быть помещены на обороте листов, повествующих о жизни Марии. В печатне у Иеронима Хельцеля подмастерья валяются с ног, выполняя заказы Альбрехта Дюрера, художника из Нюрнберга. И не понимает состарившийся Антон Кобергер, почему крестник вот уже месяцы не появляется у него, хотя и надо-то всего-навсего улицу перейти. Но все простил, все понял Кобергер, когда принес ему Дюрер готовые работы — не похвалиться, а выслушать мнение мастера типографского дела. Забыл обиду старик: вот так же сутками и он не отходил от пресса, когда замысел всецело захватывал его. Ничего и никого ему тогда не нужно было. Мелькали в трудах дни, месяцы, годы — а теперь вот состарился: болезнь уже не дает в полную силу заниматься любимым делом, наследника же нет. Отдал бы типографию Дюреру, да на что она ему? Радостно смотреть на Альбрехта: мастер, не имеющий равных, и одновременно жаль — придет время, и он задумается над тем, кто же продолжит начатое им, и не найдет ответа. Идущий семимильными шагами, сам того не заметив, намного опередит спутников и в одиночестве шагнет за горизонт.

После завершения «Страстей Христовых» и «Жизни Марии» Альбрехт приступил наконец к выполнению заказа Ландауэра для «Дома двенадцати братьев». За это время у Маттиаса возникло новое желание, нужна ему была теперь не «Троица», а поклонение ей всех святых. Дюрер согласился: почему бы и нет? Предстояло ему, таким образом, создать картину, рассказывающую о прославлении божественной троицы праведниками из

«божьего града», который, как учила церковь, будет создан после Страшного суда. На сей раз художник следовал тому, что говорил святой Августин, утверждавший, что будет этот «град» приближен к святой троице, а следовательно, не может он находиться на грешной земле. Чтобы подчеркнуть эту мысль, приподнял Дюрер происходящее событие над нижним краем картины. Композицию же сделал подобную той, которую использовал для Геллерова алтаря.

Земля все-таки осталась — в виде узенькой полоски внизу картины, лишенной жизни и оставленной всеми. Так что взгляд зрителя на ней не задержится, будет прикован к удостоенным чести войти в «град божий». Вдоль правого и левого краев картины — две группы святых, одна во главе с богородицей, другая — с Иоанном Крестителем. В верхней части сомкнул их со святой троицей. В выборе образов также следовал учению Августина, утверждавшему, что к «божьему граду» будут сопричислены не только ангелы и христианские святые, но и те, кто «уверовал в Христа до его появления», и те, чьи грехи были искуплены его пролитой кровью. Так что к числу небожителей отнес он и Давида и Моисея. С праведниками было сложнее — Августин не определил того мерила, по которому будет осуществляться их отбор. Здесь руководствовался художник волей заказчика: оказались в «граде божьем» император и папа, а также все близкие и дальние родственники Маттиаса, вплоть до его зятя Галлера. Ввел в композицию Дюрер по собственному почину еще коленопреклоненного воина и крестьянина с цепом в руках. Но напрасно стали бы искать самого мастера среди избранных. Его унылая фигурка приютилась у правого нижнего края картины. Один — на обезлюдившей, пустынной земле.

Ландауэр, поместив алтарь в часовне «Дома двенадцати братьев», несколько месяцев ходил именинником и не скупился на похвалы. Знатоки стекались в богадельню, восхищались, ахали. Занял Дюрер теперь бесспорно первое место среди нюрнбергских художников. Закатилась звезда Вольгемута, хотя сторонники Михаэля не сдавались, придирались к отсутствию традиционных символов. По стопам своего друга Пиркгеймера идет, мол, Дюрер: и ему освященные временем каноны стали мешать, ведет он своей кистью подкоп под вековые устои. Где, например, на его картине церковь? Пригляделись: действительно, нет ее. На всех картинах, прославлявших святую троицу, была, а тут вдруг ее не стало. Раньше было просто и привычно: церковь на картине, прилепившаяся основанием к земле, воткнувшая колокольни в небо. Изображение храма ясно говорило верующим о единстве всего сущего с богом, Дюрер взял да и убрал его. Как

это понимать?

Но злопыхатели могли говорить что угодно. Известность Дюрера они были уже не в силах перечеркнуть. Вернулась из Франкфурта Агнес. Довольна — на этот раз торговля оказалась удачной. Брали альбомы с гравюрами, брали и отдельные листы. Большим спросом пользовалось «Вознесение Марии».

Гравюры!.. Неведомыми для него путями расходились они по Германии, проникали в другие страны, множили его славу. Живописцы писали по ним картины, скульпторы ваяли статуи Христа и святых. Даже нюрнбергский мастер Штосс, авторитетов не признававший, получив заказ города украсить изваяниями церковь святого Зебальда, использовал гравюры земляка как эскизы. Отбою, не было от заказчиков.

Вместе с тем увеличивалось число граверов без чести и совести, выдававших свои поделки за произведения Дюрера. Стали их фальшивки появляться и в самом Нюрнберге. 3 января 1512 года совет города принял решение, которым предписал считать таких молодчиков преступниками, подлежащими суровому наказанию, а их «творения» — безжалостному уничтожению.

Знаменитая нюрнбергская предрождественская ярмарка была испорчена сообщением об очередном рейхстаге, который в конце зимы Максимилиан проведет в городе, причем будет присутствовать на нем лично. Его свита уже прибывала. Тянулись от Пегница бочки с водой, ибо Большой колодец в бургe не мог напоить и обмыть такое множество гостей. Скрипели возы, нагруженные провиантом, дровами, домашней утварью и подношениями. Ликовали владельцы трактиров. Стонали хозяйки, предчувствуя, что нахлынувший с императором сброд, словно стая голодных псов, опустошит их кладовки.

В январе гостей стало еще больше. Они прочно осели в трактирах и в домах друзей. Чесали без усталости языки. Обсуждались проблемы большой политики и мелкие сплетни. В «Гюльден Хорне» обосновались члены совета и императорские советники, большие знатоки политических склок и одновременно служители муз. Пиркгеймер был, конечно, среди них. Поднимал здесь заздравные кубки прибывший Пойтингер, и искал интересных собеседников императорский историограф Иоганн Стабий. Дюрер забегал сюда, как только освобождался от работы по украшению города, втискивался в компанию, вольготно расположившуюся за огромным дубовым столом, прислушивался к разговорам. Изредка рисовал собравшихся.

Со Стабием Дюрер сошелся как-то легко и незаметно. Историограф

искал этого знакомства сам. Насчет нюрнбергского художника были у него свои планы — привлечь на службу императору, сделать его иллюминатором книг, прославляющих Максимилиана. Об одной из них он сейчас говорил не уставая: давно-де приступил он к созданию «Генеалогии», труда предположительно в, сто тридцать томов. Для написания книги по указанию. Максимилиана собирали по всем монастырским библиотекам старые рукописи. Стабий же вместе с Пойтингером, Шписгеймером и прочими излагал в стихах и в прозе историю Максимилианового рода. Прослеживалась она пока что до Гектора, героя Троянской войны. Но Стабий намеревался довести ее до легендарного Ноя.

Несмотря на то, что до сих пор не оправдал Максимилиан ни одной из возлагавшихся на него надежд, многие видели в нем благодетеля Германии. Ждали наступления нового золотого века, когда расцветут науки, искусства и ремесла, когда Германия станет подобной Риму времен Августа. Искренне верили этому, и оставался для них безалаберный Максимилиан идеалом. Как же иначе? Знает математику и историю, упражняется в живописи, музыке, поэзии и архитектуре. Говорит на блестящей латыни. Свободно изъясняется на немецком, французском, итальянском языках и даже на богемском наречии. К тому же и воин, каких поискать — «последний рыцарь».

Император въехал в Нюрнберг 4 февраля 1512 года. Маскарады, приемы, обеды и ужины следовали один за другим. Попутно решались и государственные дела. Нюрнберг стал на время столицей империи. Съехались сюда также иностранные послы и гости. И ночью и днем проносились мимо дома Дюрера курьеры.

Как лицо, известное в городе, к тому же друг имперского советника Пиркгеймера удостоился и Дюрер чести быть представленным императору. Стабий, присутствовавший на этой церемонии, восхвалял его как великого мастера. Император смотрел на Дюрера, а мысли его витали, по-видимому, где-то далеко. Понял ли он вообще то, что ему говорили? Пожалуй, понял, так как на следующий день притащил Дюреру Стабий изрядно потрепанную рукопись. По словам историографа, сей манускрипт император читал и перечитывал постоянно, никогда с ним не расставался. Теперь же намеревался его издать и посему поручал Дюреру иллюминирование будущей книги. Перед мастером лежал так называемый «Кодекс Валлерштейна» — руководство для рыцарей по рукопашному бою». С тоской смотрел Дюрер на «Описание боев, сделанное крещеным евреем по прозванию Отт для господ австрийских воинов». Не такого заказа ожидал он. Будь это хотя бы описание батальных сцен! А ему,

словно захудалому ученику, предлагали создать рисунки к наставлениям типа следующего: «Как только он сильно отклонит тебя назад, то упрись ему ногой в живот и, держа вместе свои колени, брось его через себя, не выпуская его рук, тогда он упадет на лицо». Для человека, драками не занимавшегося, сложно было представить, как все это выглядит на деле, а таких советов в рукописи было много — Дюрер насчитал их около ста двадцати для борющихся и около восьмидесяти для фехтующих пар. Не будешь, однако, отказывать императору! И теша себя мыслью, что нет худа без добра и эта работа поможет ему поупражняться в передаче движений, засел Дюрер за кодекс с намерением проиллюминировать его к отъезду императора, показать свое рвение.

Не успел. 21 апреля Максимилиан покинул Нюрнберг. К его отъезду Дюрер смог сделать лишь половину рисунков, на большее не хватило терпения. Только последний возок императорского обоза нырнул в городские ворота, переключая наставления крещеного еврея Отта на самый дальний угол дюреровского стола, а живописец ушел в мастерскую выполнять заказ совета Нюрнберга, данный ему год назад: город решил украсить «палату реликвий» и привлек к этому делу многих мастеров. Дюреру поручалось переписать для нее портреты Карла Великого и Сигизмунда. Издавна такого рода работа считалась в Нюрнберге почетной, приглашение участвовать в ней означало признание великого мастерства. Снова, как и много лет назад, провел его хранитель к бесценному ковчегу и, встав так, чтобы мастер не видел хитроумных запоров, открыл их, громыхая тяжелыми ключами. Вот они перед ним — орнат, корона, держава и меч Карла. Тишина властвует в соборе. Во второй раз в своей жизни рисует Дюрер символы императорской власти, стараясь не упустить ни единой детали. Но долгое время эти рисунки остаются единственными набросками к будущим картинам, так как Дюрер понимает, что в этой работе у него нет права на фантазию. Нужна максимальная точность, нужно изображение Карла, сделанное с натуры, хотя бы и такое неудачное, как портрет Сигизмунда, предоставленный в его распоряжение советом. Его вдохновению пока не то что опереться, мысли не от чего оттолкнуться. До встречи с императором Максимилианом он неоднократно рисовал его, пользуясь... монетой. А здесь ни монеты, ни даже миниатюры из какой-нибудь старинной рукописи. Совет города специально послал в Ахен, некогда бывший резиденцией Карла, курьера, но тот возвратился с пустыми руками. И как раз накануне рейхстага пришла к мастеру радостная весть: нашли! Перед Дюрером копия с очень древнего портрета. Художник разочарован: изображенный человек, по его твердому убеждению, не может

быть создателем империи, о восстановлении которой мечтают его друзья-гуманисты. Однако постойте, это лицо ему кого-то напоминает. Ну конечно же, Стабия! Только чуточку постарше и поплотнее в плечах. К счастью, он рисовал Стабия. Рисунок извлечен на свет божий. Дело пошло на лад.

С Сигизмундом таких сложностей не было. Но писал его Альбрехт без всякого вдохновения. И неудивительно: он сжился с образом Карла, с теми думами, которые приписывались создателю развалившейся империи ревнителями былого величия германцев. А Сигизмунд оставался совершенно чужд. Поэтому чем дальше продвигалась работа, тем яснее становилось, что образы двух властителей будут противостоять друг другу, как бы олицетворяя юность и дряхлость Священной Римской империи германской нации. Старчески расслабленный Сигизмунд выглядел совершенно беспомощным в соседстве с могучей фигурой Карла Великого. Угасший взгляд потомка — и устремленный в будущее орлиный взор предка. Бессилив Сигизмунда, судорожно вцепившегося в символы своей власти, — и непреклонная воля Карла, могучие руки которого вкогтились в державу и меч...

Когда портреты императоров покинули мастерскую, чтобы занять место в «камере святынь», Дюрер не отдыхал и дня, сразу же завершил несколько гравюр по меди из серии «Страстей Христовых» и, таким образом, закончил и ее. Огляделся в поисках других, не доведенных до конца работ. Их не было. Ах, да! Еще ждет своей очереди кодекс для господ австрийских рыцарей. Дюрер полистал рукопись и положил ее на прежнее место. Этой придется потерпеть! Вместо того достал свои заметки о живописи и погрузился в них.

В течение 1512 года и начала 1513 года Дюрер создал несколько вариантов задуманного трактата о пропорциях и руководства по живописи, названного им «пищей для учеников живописцев». Объединенные вместе, с прибавлением набросков к «Книге о живописи», которую он начал писать сразу же после возвращения из Италии, они дают представление о взглядах художника на роль живописи и ее значение. В переработанном виде они затем составили так называемый «Эстетический экскурс» в конце III книги трактата «Четыре книги о пропорциях».

Художник пытался дать ответ на вопрос, который занимал его с юности. Начал он свои записи с признания: «Как определить само понятие „красота“ — я не знаю. Но все же я хотел бы для себя заметить так: мы должны стремиться создать то, что на протяжении человеческой истории большинством считалось прекрасным. Также недостаток чего-либо в

каждой вещи есть порок. Как избыток, так и недостаток портит всякую вещь. Можно найти большую соразмерность в неодинаковых вещах. Но чтобы знали, что бесполезно — то бесполезна хромота и многое подобное. Поэтому хромота и ей подобное некрасивы».

«Полезное составляет большую часть прекрасного. Поэтому то, что в человеке бесполезно, то некрасиво, — писал Дюрер в 1512 году, перерабатывая созданные ранее заметки. — Остерегайся чрезмерного. Соразмерность одного по отношению к другому прекрасна».

Но это еще не исчерпывающее определение прекрасного. Беспокойным дух художника-исследователя заставлял Дюрера рассматривать эту проблему с различных точек зрения. Он никогда не говорит о том, что постиг до конца понятие прекрасного, учась у великих итальянских мастеров. Инстинктивно он чувствовал, что копирование их произведений не может быть принято его народом, у которого свои представления о красоте и свои идеалы. Ему он хотел служить и ради этого продолжал свой поиск, составлявший смысл его жизни.

Он исходил из следующего: тот, кто наследует, не намереваясь познать, распорядится полученным хуже, того, кто наследует, познавая. Первый поступает вопреки природе, ибо врожденная жажда знаний принуждает человека не оставлять поиска сущности всех вещей. Только несовершенство его натуры не позволяет человеку прийти к истине. Поэтому и он, мастер Дюрер, еще далек от нее.

Он уже сказал: ближе всего к истине суждение большинства. Поэтому, завершив картину, следует отдать ее на суд людской и внимательно выслушать его приговор. Это ничего, что среди судей будет мало искушенных в живописи. Не понимая замысла в целом, каждый способен дать совет, касающийся деталей. К советам нужно относиться бережно, ведь среди них могут быть и такие, которые приближают к познанию истины. Высокомерие должно быть чуждым художнику, ибо в противном случае он не сможет учиться у других. Ему всегда следует помнить то, что совершенное произведение мог бы создать лишь бог, человеку же это не дано. Собственное мнение о совершенстве своего творения может быть ложно. Так каждой матери мил ее ребенок, но из этого еще не следует, что все вокруг находят его прекрасным. Художник, подчиняясь своему вкусу и руководствуясь чувствами, изображает лишь то, что нравится ему. Поэтому он вносит в произведение много случайного. Следует, однако, помнить: чем меньше случайного в картине, тем больше в ней красоты. Вредно в суждениях полагаться лишь на самого себя — люди в своей совокупности всегда знают больше одного человека, и крайне редки случаи, когда один

может затмить своим разумом тысячу.

Нужно научиться видеть в окружающем мире прекрасное. Воспитать в себе это качество — наипервейшая задача художника.

«Благороднейшее из чувств человека — зрение. Ибо каждая увиденная вещь для нас достовернее и убедительнее услышанной. Если же мы и слышим, и видим, то мы тем лучше это усваиваем... Наше зрение подобно зеркалу, ибо оно воспринимает все фигуры, которые появляются перед нами. Так, через глаза проникает в нашу душу всякая фигура, которую мы видим. По природе нам гораздо приятнее видеть одну фигуру или изображение, чем другую, причем это не всегда означает, что одна из них лучше или хуже другой. Мы охотно смотрим на красивые вещи, ибо это доставляет нам радость. Более достоверно, чем кто-либо другой, может судить о прекрасном искусный живописец», — писал Дюрер в своем трактате.

Учиться следует также, и читая то, что написано коллегами по ремеслу. Однако, к сожалению, те, кто сведущ в искусстве, о нем не пишут. Сочиняют книги по искусству люди, не могущие сказать о нем ничего, кроме красивых, но пустых слов. Труды их ничтожны, и он, Дюрер, не нашел в них ничего полезного для себя. Говорят, много столетий тому назад такие ваятели и живописцы, как Фидий, Пракситель, Апеллес, Поликлет и многие другие, описали принципы своего ремесла. Но книги их до сих пор не найдены. Кто знает, может быть, они вообще погибли из-за войн, изменения законов и верований, истребления целых народов. Каждый мыслящий человек может лишь сожалеть об их утрате. Но не только это было причиной утери бесценных трудов. Довольно часто неотесанные гонители искусства стирали имена гениев. Они присваивали себе право решать, какие произведения угодны богу, а какие нет. Его сердце обливается кровью, когда он думает о том, насколько беднее стал мир в результате того, что его ограбили, лишили творений гениев прошлого.

Кто же они — эти самозванные судьи? — спрашивает Дюрер. И отвечает так: «Некоторые грубые люди, ненавидящие науки, осмеливаются говорить, что последние порождают высокомерие. Этого не может быть. Ибо знания порождают смиренное добродушие. Обычно невежественные люди, не желающие ничему учиться, презирают науки и говорят, что от них исходит много дурного, а некоторые совсем полны зла. Но этого не может быть, ибо бог создал все науки, поэтому они должны быть исполнены милосердия, добродетели и добра. Поэтому я считаю хорошими все науки. Разве хороший и острый меч не может быть использован и для правосудия и для убийства? Станет ли меч от этого лучше или хуже? Так же и с

науками. Благочестивый и хороший по натуре человек станет благодаря им еще лучше, ибо они учат отличать добро от зла».

Творения искусства, читаем мы далее, не должны уничтожаться лишь потому, что они созданы мастерами, не исповедовавшими христианства. Насколько известно, Плиний писал, что древние живописцы и ваятели нашли законы изображения идеально сложенного человека. Искусство далеко бы продвинулось вперед, если бы эти законы были известны, однако книги этих мастеров сначала были скрыты церковью, а затем уничтожены ею из-за ненависти к идолопоклонству. В этих же книгах было сказано, что Юпитер должен иметь такие-то пропорции, Аполлон несколько иные, свои пропорции у Венеры, свои, особенные, — у Геркулеса.

Дальше запись, в которую Дюрер включил намек на то, что у него нет возможности заявить во всеуслышание: «Высокочитимые святые отцы, во имя борьбы со злом не следует жестоко преследовать искусство древних, созданное великими трудами и в великих муках. Не следует, ибо в основе его лежит добро. Новые живописцы хотели бы обратить это искусство на прославление христианского бога. Если древние приписывали идеальную фигуру своему идолу Аполлону, то почему нельзя было бы применить их знания для изображения Христа? Они изображали Венеру как самую красивую женщину — новые живописцы могли бы использовать их правила для передачи нежного облика пречистой девы Марии, богоматери. Пропорции Геркулеса подошли бы Самсону. Так бы поступили художники-христиане, но теперь это невозможно, ибо найденные секреты погибли безвозвратно и их уже нельзя восстановить».

Оказалось, не так просто изложить на бумаге неоднократно продуманное. Альбрехт привык держать в руках кисть, карандаш, штихель, а не перо. Рукопись продвигалась медленно. Написав раздел, он спустя некоторое время начинал его править, вносил уточнения. Потом все зачеркивалось. Не то, совсем не то! Основное остается за пределами рукописи. Пока все это лишь общие рассуждения о четырех типах человеческой фигуры да пересказ учения Витрувия о пропорциях человеческого тела. Нужно искать дальше.

Дюрер делает пометку, что собирается произвести собственные измерения, после чего расскажет о пропорциях мужчины, женщины, ребенка и лошади. Для понимания прекрасного этого ничтожно мало — он отдает себе в этом отчет. Но пока перед ним скромная цель: не поучать, а учиться. Может быть, его книга побудит других живописцев рассказать о своем опыте.

«Ибо все теперь скрывают свое искусство. Некоторые же пишут о

вещах, которых они не знают, но это только пустой шум, ибо они могут лишь говорить красивые слова. Всякий умеющий что-либо тотчас же это заметит. Поэтому я намереваюсь с божьей помощью изложить то немного, что я изучил, хотя многие и отнесутся к этому с презрением. Но меня это не тревожит. Ибо я хорошо знаю, что легче разругать любую вещь, нежели сделать лучшую. Я же хочу изложить это все без утайки, наипонятнейшим образом, насколько это в моих силах. И если бы это было возможно, я охотно объяснил бы и изложил для всеобщего сведения все, что я знаю, чтобы быть полезным способным юношам, любящим искусство более серебра и золота. И я призываю всех, кто что-либо знает, описать это. Сделайте это правдиво и ясно, не усложняя и не водя долго вокруг да около тех, кто ищет и жаждет знаний, дабы умножилась слава божья и хвала вам.

И если я зажгу нечто и все вы будете вносить искусные улучшения, со временем может быть раздуто пламя, которое будет светить на весь мир».

На этой фразе рукопись оборвалась.

Вопреки своим планам Дюрер смог вернуться к рукописи лишь через несколько лет.

ГЛАВА VII,

в которой рассказывается о том, как мастер Дюрер служил императору Максимилиану, как снова сблизился с Пиркгеймером, как создал три гравюры, прославившие его мастерство, и выполнял дипломатические поручения Нюрнберга.

В 1512 году теолог Иоганн Кохлойс, руководивший школой поэтики при церкви святого Лоренца в Нюрнберге, издал «Космографию», в которой выразил возмущение тем, что его сограждане продолжают искать гениев живописцев где угодно — в Италии, Франции, даже Испании, — но только не в Нюрнберге. Гений живет рядом, утверждал Кохлойс, и он создал столь совершенные гравюры, рассказывающие о страстях Христовых, что купцы со всех концов Европы скупают эти гравюры, чтоб художники их стран имели пример для подражания. Это было правдой. Благосостояние Дюрера росло. Вместе с ним увеличивались претензии Агнес: ей теперь потребовался загородный дом — ведь такие дома есть у патрициев. Неугасающее стремление супруги уравниаться со знатью вело к экономии на всем нужном для работы Дюрера. Владение в конце концов было приобретено — вблизи от городских ворот, у «Семи крестов». Место мрачное. Сюда власти Нюрнберга направляли преступников для покаяния. В обиход входило сооружение крестов. За последнее время их число значительно увеличилось.

Гульденны обладали удивительным свойством: чем больше их становилось, тем меньше оставалось у художника времени для себя. Он стал спешить, на раздумья не хватало времени. Вместо того чтобы совершенствоваться в живописи, его ученики и подмастерья стояли у печатного пресса. Сам мастер бросал все и крутил винт, когда приближалась ярмарка и нужно было готовить товар. Спрос, как говаривал Кобергер, будто облачко: не успеешь оглянуться, как его уж нет, растаяло.

Известность мешала — к Альбрехту теперь обращались люди, которым он не мог отказать при веем своем желании. Стабий напоминал: когда же будут готовы рисунки к кодексу? А он даже через силу не мог заставить себя возобновить эту работу. Пришлось засадить за нее Вольфа Траута, пришедшего к нему учиться: только у него хватит терпения довести ее до конца. Вольф безропотно подчинился. Эта безответность норой угнетала Дюрера. Походило на то, что и младший Траут смирился с мыслью о близкой смерти, перестал стремиться вперед. У него часто

болела грудь, и кашель неотступно преследовал его. Таинственный недуг добивал Вольфа медленно, как и его отца. Новый подмастерье Шпрингинклей был другого склада. Пытался даже поучать мастера, мол, должен он уделять подмастерьям больше внимания, к нему приходят ведь не для того, чтобы у пресса стоять.

Ко всему прочему много времени отнимали теперь диспуты в кругу друзей. На удивление всем, он не распался, а значительно укрепился. После того как Шпенглер в 1512 году стал членом Большого совета, пришли к ним и патриции — Антон, Андреас и Мартин Тухеры, Иероним Хольцшуэр, Кристоф Шейрль. Сочинительству шванков теперь настал конец. Беседовали больше о политике и об обновлении веры. В том же году посетил Нюрнберг генеральный викарий августинского ордена Штаунитц, прочитал несколько проповедей. Началось в городе великое брожение умов. Лазарусу удалось завлечь викария к ним. В беседе Штаунитц развивал идею о необходимости церковной реформы. После они только об этом и говорили на своих собраниях. Страсти накалились, когда присоединился к ним Пиркгеймер. Как всегда, не мог Вилибальд спокойно дискутировать, переходил на личности: мол, Шпенглеру наплевать на дела церковников, ему важно себя показать. Лазарус в ответ обвинял Пиркгеймера в защите развратного Рима, в боязни за своих сестер-монахинь. Побежала трещина не только между ними, а по всему Нюрнбергу, становясь с каждым днем шире.

В город все чаще стали наведываться императорские советники, разнюхивали настроение, прощупывали помыслы видных горожан, задумчиво хмурили лоб и уезжали. Стабию Пиркгеймер, как и многим другим, доказывал: нужно изменить управление Нюрнбергом, иначе этот Шпенглер и иже с ним таких дел понаделают, что всей Германии будет тошно. Быть беде, большой смуте и великой крови. Стабию, все свои помыслы направившему; на составление «Генеалогии», недосуг было влезать в городские дела. Полагал, что Вилибальд преувеличивает. Церковь незыблема. Конечно, кое-кого и она боится — того же Эразма, к примеру. Но тут какой-то Лазарус Шпенглер! Да кто его знает?

Стабий просил Пиркгеймера избавить его от всех этих дрызг. В Нюрнберг, дескать, оы наведывается вовсе не для того, чтобы наводить здесь порядок. Он должен привлечь нюрнбергских литераторов и живописцев к выполнению планов Максимилиана. А планы были немалые — здесь копировали для императора картины и гравюры, перепечатывали старые книги, сочиняли новые. Вилибальд по собственному почину взялся за перевод сочинений некоего Гора Аполлона об иероглифах. Гор пытался

разъяснить смысл древних египетских писмен, но своей символикой еще больше все запутывал. Попросил Пиркгеймер Дюрера по старой дружбе нарисовать к творениям Гора иллюстрации. Отчаявшись добраться до сути толкований, изобразил Дюрер козу, лягушку, собаку и льва. Когда принес рисунки Вилибальду, застал в доме на Главном рынке великий переполох.

Кто бы несколько месяцев назад мог подумать, что этот богатырь с железным здоровьем превратится в неподвижное бревно? В ночь на 1 декабря 1512 года у Вилибальда разболелась правая нога, да так, что он не находил себе места. Думал — ушиб, растер — не помогло. Пришлось вызвать Ульсена. Лекарь его осмотрел, но ничего определенного не мог сказать. Через три дня у Вилибальда распухла и левая нога. Тогда Ульсен вместо диагноза продекламировал Лукиановы строки:

Из смертных кто на свете не знаком со мной,
Подагрой? Все страданья здесь подвластны мне.
Мне воскурят ладан — не смиряюсь я;
Ни крови жертв горячей не смягчить меня,
Ни посвященьям разным, что висят всегда
В святилищах. Бессильны и лекарства все.
Пеана — он же лечит в небесах богов...

Два месяца Пиркгеймер не мог выходить из дому, так что у него было достаточно времени, чтобы заняться той наукой, которая, как он признавался друзьям, привлекала его еще в университете, — медициной. Страсть к врачеванию, видимо, передавалась в пиркгеймеровском раду по наследству. В библиотеке Вилибальда было великое множество различных лечебников. Оставив в покое египетские иероглифы, он теперь дискутировал с Ульсеном о составе каких-то снадобий, микстур и мазей, спорил о переводе на немецкий язык латинских терминов. Под конец Пиркгеймер обвинил врача в невежестве и стал изобретать новые лекарства. Проверял их действие на себе, записывал результаты.

Но тяжелее всего для Пиркгеймера была не болезнь, а невнимание со стороны коллег в совете, не посещавших его. Накопившаяся злоба искала выхода, и Вилибальд обрушивал ее на домашних. Он разругался с сестрами, которые осмелились заикнуться, что подагра послана ему богом в наказание за распутную жизнь. Сестер, кроме Хариты — ее он уважал безмерно, — Пиркгеймер приказал не пускать и на порог дома, а членов совета решил заклеить на веки вечные. Единственно с этой целью

принялся за перевод трактата Плутарха «О мести богов». В посвящении сестре Харите написал, что зло не может избежать наказания и содеявших его настигнет кара, если не в этой жизни, то после смерти. Не напрасно говорят поэты: Юпитер долго спит, но рано или поздно проснется. Предатели и лжецы могут одерживать верх лишь на время. И те, кем управляет не дух, а плоть, уже отмечены печатью божьего суда. Повторил, одним словом, Вилибальд свои выпады в адрес членов совета в письменном виде. Намеки были разгаданы, и ему предложили явиться в совет и дать объяснения. Смачно выругавшись, Пиркгеймер приглашение игнорировал.

Друг был в беде. Поэтому простил ему Дюрер прежние обиды. Опять зачастил в его дом. Дружба восстанавливалась с трудом. Но Пиркгеймеру был нужен человек, которому можно было бы изливать свою душу, излагать свои планы мести врагам, предателям и корыстолюбцам. Надежды на исправление нравов он уже не видел. Разве только Максимилиан железной рукой наведет порядок. В этой борьбе Вилибальд будет союзником монарху. Правда, сначала нужно было приблизиться к императору, войти в круг его приближенных. Поэтому-то Вилибальд обхаживал всех посланцев Максимилиана, наезжавших в Нюрнберг.

Может быть, и миновал бы Дюрера императорский заказ, отнявший у него массу сил и времени, если бы Вилибальд, движимый идеей угодить верховному главе империи, не доказал Стабию, что заказ этот нужно поручить Дюреру и больше никому.

Приехав в очередной раз в Нюрнберг, Стабий сообщил о намерении Максимилиана соорудить себе вечный памятник, прославляющий мудрость его правления и величие подвигов. Речь шла о триумфальной арке, но не из камня, как это делали римляне, а из материала более прочного — на бумаге. Максимилиан первым понял: войны рушат монументы, но они бессильны уничтожить печатную книгу.

Императорский замысел, в осуществлении которого Дюрер должен был принять непосредственное участие, служил все той же цели — прославлению деяний Максимилиана и сохранению памяти в последующих поколениях. Над этим работали ученые и поэты из окружения императора. Его будущую гробницу в Инсбруке создавали Байт Штосс, Ганс Лейнбергер и Петер Фишер, скульпторы из Нюрнберга. Несколько эскизов для монументов гробницы уже были переданы им Альбрехтом Дюрером. Максимилиан, подобно многим итальянским кондотьерам, следовал принципу: «Когда человек умирает, то от него не остается ничего, кроме его дел. Если он не постарается оставить память о

себе еще при жизни, то после смерти никто не вспомнит о нем, и человек обычно бывает забыт с последним ударом колокола». А Максимилиан не хотел, чтобы о нем забывали. Не желал — вопреки требованиям церкви о смирении и скромности.

«Триумфальная арка», таким образом, должна была стать одним из памятников императору, сооруженным им самим — «пирамидой», «монстром», как ее стали называть впоследствии. Но, приступая к ней, никто из ее создателей и представить не мог, какой труд тем самым взваливает на себя. Стабий привез с собою в качестве образца рисунок триумфальной арки, которая была сооружена в Милане в 1493 году по случаю бракосочетания Максимилиана с Бьянкой Сфорца. Первоначально предполагалось просто заменить помещенные на миланской арке изображения, повествующие о знаменательных событиях в жизни отца Бьянки Франческо Сфорца, изображениями сцен из жизни повелителя Священной Римской империи. Часть этих сцен уже была определена Максимилианом и продиктована им лично секретарю. Однако ученым мужам из окружения Максимилиана этого показалось мало. Им нужна была идея, изложенная аллегорически, но тем не менее доходчиво для людей, не сведущих в науках и истории. По их мнению, с такой задачей мог справиться один лишь Пиркгеймер, и Стабий привез ему поручение императора разработать общую концепцию арки. Вилибальд согласился с радостью — и не только потому, что это приближало его к намеченной цели, но и потому еще, что проект давал ему возможность изложить свои взгляды на историю вообще и на роль императора, которого он по-прежнему рассматривал как деятеля, способного объединить Германию и возвысить ее. Многого хотел Максимилиан. Следовало рассказать в этой гравюре о его предках и родственниках, о его походах и мудром правлении, изобразить все его гербы и гербы подвластных ему стран. Чтобы сделать эту летопись доступной каждому, надлежало создать знаки-символы, расшифровывающие изображенное.

Приступая к работе, Пиркгеймер опирался на свои превосходные знания символики древних литераторов и христианской церкви. По его замыслу, триумфальная арка распадалась на трое врат: левые символизировали похвалу деяниям Максимилиана, правые — его благородство, центральные — честь и силу. Полный перечень сцен, которые следовало поместить на арке, Стабий обещал прислать позже, после того как будет он одобрен Максимилианом. От Вилибальда же требовалось составить список аллегорических, фигур и дать к ним пояснения, а кроме того, сочинить «мистерию египетских букв» — своего

рода ребус, который будет написан на верхней части центральных врат. Аллегорические фигуры Пиркгеймер заимствовал у древних греков. Среди них были сирены, олицетворявшие по его прихоти несчастья мира, гарпии, символизировавшие жадность, грифы, державшие атрибуты императорской власти и призванные выражать нечто, объяснение чему затруднялся дать сам автор.

В какой мере Дюрер участвовал в выработке общей концепции триумфальной арки? Этот вопрос до сих пор остается спорным. Его предшествовавшие работы говорят о том, что и он был силен в символике и аллегориях, особенно имеющих отношение к христианской религии. Но дело в том, что именно в это время происходит его отход от усложнения композиций, его поворот к принципу, который формулировался так: простота и ясность — высший закон искусства. Можно представить, что Дюрер с большой долей скептицизма относился к попыткам Максимилиановых советников создать новое направление в искусстве (примерно сто лет спустя оно одержало верх и сделалось господствующим) и был доволен, что дискуссии вокруг различных аллегорий растянулись на годы. Заказ, который ему предстояло выполнить, меньше всего отвечал его уже сложившимся взглядам на искусство. Все это походило на то, как если бы человеку, привыкшему к неторопливым беседам в кругу близких, вдруг навязали держать ученую речь перед собранием патрициев.

Как художник, Дюрер прекрасно понимал: проект, над которым бьются светлейшие умы, чудовищен со всех точек зрения. Гравюра шириной в три с половиной метра, вырезанная на 192 блоках из дерева, могла поразить зрителя лишь своими размерами. Единства впечатления тут невозможно было достигнуть. Зритель или не удовлетворится беглым взглядом на грандиозное сооружение, или же, отчаявшись постигнуть смысл всех этих аллегорий, станет рассматривать сцены из жизни Максимилиана. Что касается символов, над которыми бьется Пиркгеймер, то что они могут рассказать неискушенному зрителю?

Тем временем продолжалась работа над новыми гравюрами. Альбрехт с большим удовольствием приступил к выполнению личной просьбы Стабия. Узнав, что совсем недавно художник создал гравюры звездных карт для нового перевода трудов Птолемея, Стабий в очередной свой приезд в Нюрнберг уговорил его изготовить такую же карту и для него, включив туда, однако, новые открытия, сделанные нюрнбергскими астрономами. Пока Пиркгеймер разрабатывал план триумфальной арки, приступил Дюрер к карте. Снова рылся в библиотеке Вальтерши. По ночам лазил на крышу собственного дома, где еще сохранялась в неприкосновенности

площадка-обсерватория. Встречал тихие майские рассветы на берегу Пегница, так как ему казалось, что звезды отсюда видны более отчетливо. У Хайнфогеля — нюрнбергского звездочета и астролога — познакомился с зарисовками созвездий, которые сияют над другой половиной «бегаймовского яблока» — почти никем не описанные, сплошь безымянные. Увидеть бы их собственными глазами! Трудно рисовать по рассказам других.

Пиркгеймер на время отвлекся от своих распрей с коллегами по совету, с головой уйдя в разработку проекта триумфальной арки, которая, как казалось, стала альфой и омегой всей его жизни. Канцелярия императора подстегивала его. Наконец описание арки было отправлено на рассмотрение Максимилиана. Император одобрил его. Одновременно с извещением об этом радостном событии в Нюрнберг был прислан эскиз арки, изготовленный придворным художником. Таким образом, Дюрер окончательно лишился возможности проявить какую-либо самостоятельность в осуществлении проекта и теперь еще больше охладел к нему. От него, правда, потребовали сделать свои замечания. Он внес в чертеж лишь незначительное исправление, сместил сирен ближе к средним вратам. Стабий, однако, требовал большего участия. Поэтому Дюрер переписал список аллегорических фигур, сделал какие-то только ему понятные пометки и через несколько дней принес историографу свой эскиз триумфальной арки. При внимательном рассмотрении обнаружилось, что он все оставил, как оно и было в проекте придворного художника, лишь вытянул в высоту центральные врата, придав им сходство с вратами нюрнбергской церкви святой Девы.

Видимо, этим и ограничилось его участие в разработке проекта, отнявшего у него впоследствии столько бесценного времени. Вилибальд порицал Альбрехта за безразличие к своему любимому детищу. Но что мог сделать Дюрер: когда работа не в радость, то и просьба друга в тягость. Его утешало лишь одно: к триумфальной арке следовало приступить несколько позже, так как Стабий не смог добиться от Максимилиана полного перечня событий из жизни императора, которые следовало запечатлеть на память и в назидание потомкам.

Из более поздних рукописей Дюрера следует, что именно в этот период жизни им начали овладевать «страхи». Он не раскрыл значения этого слова, но, судя по всему, его тревожила неустойчивость положения, невозможность найти ясный и точный ответ на вопрос: что же будет дальше? Христианские истины, которые составляли основу жизни предыдущего поколения, рушились. Если его мать Барбара еще свято

верила в них, то Альбрехт начал уже подвергать их сомнению. Удобна лишь слепая вера, но сын нового времени, Дюрер видел многое, не укладывавшееся в рамки привычного. Откуда ему было знать, что настало время, когда человек смог выработать новые взгляды и на самого себя, и на свое назначение в жизни.

Сообщение о новой попытке союза «Башмака» поднять восстание и захватить Фрейбург его как состоятельного и благонамеренного горожанина пугали. Чего хотят эти крестьяне? На юге Германии зрели большие события. В городе менее состоятельные ремесленники начали открыто выражать свое недовольство. Нервничал и Пиркгеймер. «Поборник справедливости» приветствовал казнь участников фрейбургского мятежа. Но ведь основные руководители «Башмака» опять скрылись, и от них можно было ждать организации нового похода на власть имущих.

«Страхи» усиливались, ибо не было ответов. И их, как представлялось, неоткуда было ждать.

А тут еще несчастья стали обрушиваться на семью Дюрера и его близких.

Умер крестный. Смерть его не была неожиданной: он долго и тяжело болел. Чувствуя приближение последнего часа и не видя вокруг себя людей, могущих стать его преемниками, Кобергер почти забросил свою типографию. Она увядала. Кончина Антона породила чувство тревожного ожидания: если приходит смерть, она поселяется надолго. Чья теперь очередь? С тревогой смотрел Альбрехт на мать. Барбара Дюрер внешне изменилась мало. Но она все больше утрачивала интерес к жизни, безразличие ко всему овладевало ею: к попрекам Агнес, даже к судьбе сыновей. Мать была единственным действительно близким ему человеком. Хотя она не всегда понимала заботы сына, ему становилось легче после разговоров с нею. Дюрер боялся того времени, когда он не услышит обычного ее утешающего благословения: бог не выдаст, не даст погибнуть, выведет на правильный путь.

Смерть Антона Кобергера надломила Барбару. Она все чаще стала говорить о собственной смерти. Это вселяло тревогу. Поэтому так всполошился Альбрехт, когда она однажды не вышла к ужину. Комната ее была заперта — это обычно означало, что она не хочет, чтобы ее беспокоили. Однако на этот раз сын, чувствуя беду, приказал взломать дверь. Барбара Дюрер лежала навзничь. Седые спутанные волосы почти закрыли ее лицо. Из-под них вперились в него обезумевшие глаза. Никогда еще в жизни не видел он такого застывшего ужаса. Барбара никого не

узнавала. Послали за Ульсеном и за святыми дарами в церковь святого Зебальда. Священник пришел чуть позже и бросил недовольный взгляд на Ульсена, раскладывавшего инструменты для кровопускания. Первым прошел к постели больной. Лишь после него врач смог осмотреть больную и без околичностей посоветовал Дюреру уповать на чудо.

Что самое удивительное — чудо свершилось! Барбара осталась жить, окончательно надломленная, отошедшая от всех земных дел.

Что такое жизнь? Она и неустанное деяние, она и безучастное ожидание смерти, на которое теперь была обречена его мать. В чем же смысл краткого пребывания человека на земле перед тем, как он удостоится вечной жизни? Что заставляет его, знающего о неминуемом, искать, бороться, терпеть поражения и побеждать? Кобергер вложил все силы в типографию, отец стремился вырваться за рамки своего сословия, Агнес упрямо копит деньги, хотя у нее нет детей, которым она сможет их передать. Сам же он уже второй десяток лет ищет разгадку прекрасного, как будто это принесет ему бессмертие. Ищет, забывая о том, что мир вот-вот погибнет и найденное им никому не будет нужно.

Работая над рукописью, Альбрехт много думал об этом. Создавая человека, размышлял Дюрер, бог наделил его неугасающим стремлением к познанию, жаждой достижения цели порой даже ценой собственной жизни. Божественный замысел непостижим для слабого человеческого ума. И все-таки человек бьется над его разгадкой. И прав, несомненно, прав знаменитый Эразм из Роттердама — недавно Вилибальд прочитал другу несколько страниц из его книги «Руководство христианского воина», подлинного гимна во славу тех, кто жертвовал собою во имя веры и ее торжества, тех, кто, ничего не страшась, неустанно прокладывал путь к цели. Эразм назвал их рыцарями, указавшими другим путь через мрачный лес жизни с ее сомнениями к сверкающим вершинам познания.

...На хорошо отбеленной доске вырисовываются контуры конного воина. Новая гравюра все больше овладевает мыслями Альбрехта. Ее сюжет навеян «Христианским рыцарем». Глубоко задумавшись, едет воин навстречу неизвестности. Видит ли он те опасности, которые подстерегают его? Догадывается ли, что следом тащится дьявол в намерении сбить его с пути? Ведает ли о смерти, отмеряющей дни его жизни песочными часами? Если рыцарь очнется от дум, то увидит, как струится песок, напоминая о быстротечности жизни. Знает ли он, что все его мужество, вся его воля и вся его решимость бессильны остановить время? Наверное, знает. Тем не менее тверда поступь коня, несущего его к цели, находящейся за краем гравюры. Может быть, там дорога сделает поворот и приведет к замку,

стоящему на вершине скалы, а может, увлечет в пропасть. Кто знает? Главное в том, что смерть и дьявол бессильны перед стремлением рыцаря к цели. В движении к ней — залог его бессмертия.

После завершения «Рыцаря» Дюрер вернулся было к своим записям о живописи. Снова думал о предназначении художника. А исподволь зрел уже новый замысел и постепенно захватывал его. Намеревался он изобразить человека в меланхолии. Пиркгеймер, который в угоду другу медленно, оберегая свой престиж, отступал от прежних взглядов, прикрываясь ссылками на Платона и Аристотеля, теперь готов был признать, что меланхолия — это качество людей одаренных, может быть, и живописцев. Кто их знает? Так что выбор Дюрера, пожалуй, и не случаен. Но задачу себе поставил он не из легких. Разработка сюжета давалась с огромным трудом, и вскоре стало ясно, что без символов здесь не обойтись. Только какие выбрать?

А тут, как назло, снова прибыл Стабий и выразил неудовольствие, что работа над «Триумфальной аркой» продвигается крайне медленно. Дюрер видел это и сам: ведь уже наступил 1514 год, а гравюра почти не сдвинулась с места. Хорошо, он поторопится. Но оказалось, что арку следует отложить. Стабий привез новый, еще более срочный заказ Максимилиана.

Перед Дюрером лежали двадцать семь двойных листов с уже отпечатанным текстом. Речь шла об иллюминировании молитвенника братства, или ордена святого Георга, учрежденного императором Фридрихом III с целью сплочения христианского воинства для войны с «погаными» турками. Максимилиан намеревался пробудить орден от спячки, влить в него новые силы. Для этого приказал составить молитвенник для будущих крестоносцев, а несколько молитв написал сам. Теперь лучшим художникам Германии — Дюреру, Кранаху, Бальдунгу, Бургмайру, Брею и Кельдереру — предстояло украсить ноля текстов орнаментом. Молитвы они могли выбрать по собственному усмотрению. Печатники уже постарались, показали, на что они способны, — придали молитвеннику вид древнего манускрипта, даже шрифт изобрели похожий на рукописный. Теперь настала очередь художников. Стабий все время подчеркивал, что заказ срочный и следует немедленно приступить к его исполнению.

Всякое навязанное поручение вызывало у Дюрера лишь неприязнь. А здесь увлекся. Искусно сплетались в орнаментах люди, животные, растения. За этим занятием и застал его однажды Пиркгеймер. Долго смотрел, как священнодействует друг. Понаблюдав, сказал: не наделил бог

Дюрера хитростью. Может, и произведет его рукоделие впечатление на Максимилиана, но большее удовольствие доставило бы ему его собственное изображение. Нарисовал бы он какого-нибудь рыцаря. Сказал бы потом Стабию, что это — император, а тот уж сумел бы доложить, как надо, Максимилиану. Льстивое слово ничего не стоит, но тот, к кому оно обращено, долго его помнит. Так появился на полях молитвенника Максимилиан в образе святого Георга. Святой держал в деснице белое знамя, а у ног его в предсмертных судорогах корчилося чудовище. Белое знамя символизировало чистоту и веру, поверженный дракон — не только турков-язычников, но и зло вообще. А что касается меча, то не было понятно на рисунке: меч это или крест? При желании можно было расшифровать его как иллюстрацию к словам Священного писания: наденьте божьи доспехи и возьмите меч духа, каковым является божье слово.

Набирающее силу мартовское солнце усердно сгоняло последний снег. Барбара Дюрер вроде бы окрепла. Работая в мастерской, Альбрехт часто слышал, как старушка осторожно спускается по лестнице. С приходом весны она стала выходить из дому, сидела на скамейке, греясь на солнце. Неподвижная, закутанная в теплую шубу. Сколько раз проходила она мимо его дверей! Сколько раз он надеялся, что мать зайдет к нему, поинтересуется его работой. Пусть просто посидит молча! Нет, не заходила. Будто и он сам, и его труд перестали существовать для нее.

Поэтому немало удивился, когда однажды увидел ее перед собою. Накануне рассказывал ей, что иллюстрирует новый молитвенник. Это, кажется, заинтересовало ее. Торопливо разложил перед матерью готовые листы, но она даже не взглянула на них. Видимо, из ее нетвердой уже памяти стерся вчерашний рассказ. Осторожно усевшись на край скамьи и отодвинув подальше кисточки и карандаши, разложенные на столе, чтобы не смахнуть ненароком, Барбара попросила нарисовать ее портрет. Сколько он ее помнил, она никогда не высказывала такого желания. Отец — другое дело, его пришлось рисовать много раз. Словно понимая необычность своей просьбы, мать объяснила причину: скоро она навсегда покинет его. Там, перед престолом всевышнего, она будет молить о счастье и благополучии сына, здесь же, на земле, пусть останется на память ее изображение.

Художник молча взял уголь и, изредка вглядываясь в лицо сидевшей перед ним старой, испившей до дна свою чашу земных мучений женщины, начал работать. Зная, что ей трудно сидеть, спешил как только мог. Через

полчаса рисунок — портрет матери — был готов. Еще ни в одной из своих работ он не достигал такой реальности, ни одна из них так точно не передавала ужаса перед неизбежным и одновременно боли за дорогого человека, нежной любви к нему.

Впрочем, возможно, все происходило вовсе не так: некоторые авторы доказывают, что портрет был написан уже после смерти Барбары. Одно ясно: Дюрер уловил и отразил в нем печать близкой кончины матери.

...Мать не стала смотреть на его работу. Медленно встала и вышла. Затихли ее усталые шаркающие шаги. Альбрехт сидел, охватив голову руками, вперив взор в лежащий перед ним лист бумаги. Потом оделся, вышел за городские ворота и долго шел по вязкой франкфуртской дороге, стараясь ни о чем не думать. Однако мысли упорно лезли в голову. Разные мысли — о приближающемся одиночестве и старости, о молитвеннике братства святого Георга, о «Триумфальной арке» Максимилиана. И вдруг оттеснила их всех на задний план мысль о незавершенной «Меланхолии». Она по-прежнему никак не давалась. И это бессилие воплотить свой же собственный замысел выводило из себя. Найти композицию стало теперь главной его целью, но дни текли, а «Меланхолия» не двигалась с места. Может, оттого, что сейчас он не был в состоянии думать о чем-либо сложном: мать по-прежнему хворала и вся его жизнь была наполнена тоскливым ожиданием неотвратимого.

15 мая 1514 года прибежала испуганная до смерти служанка и закричала, что госпоже стало очень и очень плохо и что она требует к себе сыновей. Они собрались у ложа матери — Ганс, Альбрехт, Эндрес. Барбара благословила их и наказала жить дружно, во всем помогая друг другу. Потом попросила послать за священником. После причастия сознание покинуло ее. Лишь к концу следующего дня она на мгновение открыла глаза и губы ее зашевелились. Опять на ее лице появилось то же выражение ужаса, как и тогда — в тот день. Сыновья опустили на колени...

Позже Дюрер занес в свою «Памятную книжку» запись — рассказ о матери и ее смерти. Время не смягчило его скорби, это чувствуется по той взволнованности, которая не свойственна для стиля художника: «И перед кончиной она благословила меня и повелела жить в мире, сопроводив это многими прекрасными поучениями, чтобы я остерегался грехов. Она попросила также питье святого Иоанна и выпила его. И она сильно боялась смерти, но говорила, что не боится предстать перед богом. Она тяжело умерла, и я заметил, что она видела что-то страшное. Ибо она потребовала святой воды, хотя до того долго не могла говорить. Тотчас же после этого глаза ее закрылись. Я видел также, как смерть нанесла ей два сильных

удара в сердце и как она закрыла рот и глаза и отошла в мучениях. Я молился за нее. Я испытывал тогда такую боль, что не могу этого высказать. Боже, будь милостив к ней. Ибо самой большой ее радостью было всегда говорить о боге, и она была рада, когда его славили».

А дом уже набивался старухами и монахинями, неизвестно откуда прослышавшими о смерти старой Дюрерши. Все они чего-то требовали, давали какие-то советы, но Альбрехт никого не слушал и никого не видел. Он бросился прочь из дома. Спустился вниз — к кладбищу при церкви святого Зебальда, где теперь подле отца будет покоем и его мать. Постоял в нерешительности у дверей собора, но потом зашагал дальше — к Пегницу. Тяжелые сумерки наваливались на город.

Сумерки — час меланхолии, безволия и тоски. От Пегница медленно поднимался туман. Захлопали в воздухе чьи-то крылья. Птица или летучая мышь? Ему почему-то представилась крылатая женщина, да так ясно, что он оглянулся, надеясь увидеть ее. Никого, образ померк. У дороги лежала огромная каменная глыба, вросшая в землю. Бездомный пес с втянутым животом и выпирающими ребрами вперился в него голодно-ожидющим взглядом...

В ту страшную ночь детали не дававшейся ему гравюры вдруг сами собой сложились в единое целое. Он создал ее — свою «Меланхолию». В ней увиденная реальность обрела характер символов — и летучая мышь, прошелестевшая тогда над головой, и бездомная собака, и инструменты каменщиков, и разбросанные там и тут глыбы, которые он разместил вокруг фигуры крылатой женщины. Символы повествовали о влиянии добрых и злых сил на судьбу человека. Реальность причудливо зашифрована в них. Сам мастер считал нужным объяснить лишь значение кошелька и ключа, висевших на поясе Меланхолии. Они, по его замыслу, означали богатство и власть.

Современникам гравюра довольно ясным языком повествовала о судьбе, трагедии и думах художника. Однако только им. Уже для последующего поколения всевластное время сомкнуло над нею непроницаемую завесу тайны. Столь сложных гравюр Дюрер больше не создавал. С самого начала она была обречена на то, чтобы стоять особняком в его творчестве, причисленная к «мастерским гравюрам».

Вилибальд понимал всю тяжесть обрушившейся на друга потери, разделял его горе. Но осторожно настаивал стряхнуть с себя меланхолию и срочно закончить императорский заказ. Расположение Максимилиана сейчас ему нужно больше, чем когда-либо. Дело в том, что помощник

Пиркгеймера на ряде переговоров, которые вел Вилибальд по поручению совета, Антон Тетцель, был обвинен в предательстве. Состоялся суд, и Тетцеля приговорили к смерти. Казнь, однако, заменили заключением в «дырах», где Антон вскоре и отдал богу душу. Была допущена непоправимая несправедливость. Уж Пиркгеймер-то, располагавший собственными осведомителями, точно знал: нет вины на Антоне. Предлагал совету свое поручительство, но это было расценено как попытка прикрыть и свои грязные дела. И вновь посыпались на него обвинения. Сначала Вилибальд огрызнулся. А потом на него напал страх: ведь если сейчас вытолкнут его из совета, то уж потом постараются добить до конца. Защиты можно искать только у императора. Надо срочно ехать в Линц, но туда не приедешь с пустыми руками. «Иероглифика» Гора Аполлона, конечно, не в счет, ею монарха не удивишь. Вот если бы он предстал перед Максимилианом с «Триумфальной аркой», другой бы разговор пошел. Только где она? Дюрер еще и половины не сделал. Ему, видите ли, слишком тоскливо разбираться в символах и аллегориях. Одним словом, с помощью своих подмастерьев он смог за это время создать лишь правую часть арки. Хотели ему помочь: из императорской мастерской Йорга Кельдерера прислали эскизы. Мастер их отверг: если ему будут нужны помощники, он их сам найдет! И обратился к Альтдорферу, которому и отослал часть своих набросков. Появилась надежда к Новому году справиться с заказом.

Но и после этого Дюрер не ускорил темпов. Занялся, с точки зрения Вилибальда, бесполезным делом — гравюрой, с изображением святого Иеронима. Говорил другу: за нею он отдыхает. Нет в гравюре и намек на страсти, раздирающие Нюрнберг. Одиночество и покой. Келья залита солнечным светом, пропитана им. Тень от оконного переплета, упавшая на выступ оконной ниши, еще больше усиливает впечатление жаркого летнего дня. Стоит такая тишина, что слышно, как прокладывает свои ходы-узоры в сухом дереве жук-точильщик. Шуршит песок в часах, напоминая о времени и вечности за пером бытия, скрипит перо святого Иеронима, склонившего к пюпитру лысую голову. На переднем плане полуденный сон сморил льва и собаку. Ничто не мешает писать Иерониму, и в труде своем далек он от мирской суеты. В отличие от «Меланхолии» не было в новой дюреровской гравюре почти никаких символов. Разве что самая малость наиболее привычных, потерявших уже иносказательный смысл.

В ноябре доставили доски от Альтдорфера. К этому времени и Дюрер справился со своими. На полу в мастерской вместе с Траутом и Шпрингинклеем сложили гравюру, подправили кое-что на стыках и, посмотрев друг на друга, облегченно вздохнули. Теперь оставалось

договориться с мастером-резчиком Андреэ. Почесав затылок, резчик сказал: если подарит ему господь здоровье, то года через два он заказ исполнит. Цена обычная — за каждую доску. Теперь нужно выколачивать из Максимилиана деньги — не платить же из своего кармана. Но, как говаривал Пиркгеймер, найти бы императору такого алхимика, который бы чеканил гульденy из его добрых слов и пожеланий!

Все-таки надеясь на оплату сделанной работы, Дюрер уехал вместе с Пиркгеймером в Линц.

Приближенные главы империи встретили их равнодушно. Лишь Стабий был доволен: приезд Вилибальда с Альбрехтом избавил его от новой поездки в Нюрнберг. Обещал в ближайшее время организовать встречу с Максимилианом, хотя у императора всяческих дел сверх головы. Надо ждать. Сколько же? Да как бог даст. Нетерпеливый Пиркгеймер стал искать другого способа попасть на аудиенцию. Нашел и протиснулся к Максимилиану между королями, кардиналами и прочими его вассалами. «Иероглифику» Максимилиан благосклонно принял. Внимательно выслушал и рассказ Вилибальда о нюрнбергских склоках. Но сразу же дал понять, что тамошние дела для него слишком незначительны и решать их должен его штатгальтер, на то и посажен. Через день удостоился и Дюрер чести быть принятым императором. Выслушав отчет о работе над «Триумфальной аркой» и приняв готовые листы молитвенника, Максимилиан похвалил усердие мастера и пожелал новых успехов. О деньгах, естественно, не заикнулся. Прощаясь, сказал: Стабий сообщит ему о новом заказе. У Дюрера сердце оборвалось. Не дай бог еще одна арка!

Так и есть! Стабий порылся в своих записях. Еще 26 января 1513 года император говорил, что было бы неплохо поручить Дюреру изготовить гравюру, изображающую триумфальное шествие, которое дополнило бы «Триумфальную арку». Потом они этот замысел еще несколько раз обсуждали. Итак, к делу — новая гравюра должна изображать шествие, в котором участвуют представители императорского дома, как ныне здравствующие, так и усопшие. Открывает его на богато украшенной колеснице сам Максимилиан со своей первой супругой Марией Бургундской. Рядом — сын Филипп, прозванный в народе Красивым, и его жена Хуана, получившая прозвище Безумной. Здесь же и дочь Максимилиана Маргарита. Сюжет, естественно, аллегорический. На гравюре следует поместить фигуры Справедливости, Благодетели, Мудрости, словом, все, чем, по мнению императора, ознаменовалось его правление. Надписей делать не следует — Максимилиан выразил желание сам сочинить их.

Судя по всему, и тут потребуется более сотни досок. Ничего себе «Бургундская свадьба», как назвал ее Стабий!

Резиденцию главы империи Дюрер покинул с новым заказом, но без денег. Пиркгеймер тоже был обижен на Максимилиана. Поэтому, вероятно, дал Дюреру совет не спешить с императорским заказом. А еще лучше — исполнить гравюру лишь с императорской колесницей. На худой конец, ее можно подарить Максимилиану. Если и после этого тот не вознаградит художника, то, видимо, мир окончательно встал вверх дном.

Однако на императора грешили зря. Стабий надоумил его направить нюрнбергскому совету «мандат» — предписание выплачивать из Максимилиановой доли налогов, собираемых в городе, ежегодно сто гульденов Дюреру. Правда, мастер этого документа так и не увидел и ни одного пфеннига по нему не получил. Шпенглер ему по секрету сказал: побоялся совет, что Максимилиан, несмотря на свой мандат, выгребет налоги полностью, и тогда придется эти сто гульденов платить из городских средств. Так что Дюреру лучше всего добиваться от императора подтверждения данного им мандата.

Летом 1515 года вновь потерпел Максимилиан поражение в Италии. Поскольку не слышно было разговоров о новых походах, а следовательно, и о новых поборах, счел Дюрер, что настало время вновь обратиться к нему с просьбой. Через нюрнбергского патриция Кресса, отправлявшегося к императору в Вену с дипломатическим поручением, напоминал он Стабию о том обещании, а патриция просил: если не предпринял историограф соответствующих шагов «указать его императорскому величеству, что служил я его императорскому величеству в течение трех лет, расходуя свои средства, и если бы я не приложил всего своего усердия, прекрасное произведение не было бы завершено. Поэтому я прошу его императорское величество вознаградить меня за это 100 гульденами»...

6 сентября 1515 года хлопоты увенчались успехом: дал Максимилиан вновь указание совету Нюрнберга выплачивать художнику пожизненную пенсию в размере ста гульденов.

Да, был раньше порядок. А теперь полетело все к черту — и законы, и обычаи. Когда ждешь конца света со дня на день — какие уж там строгости? Грешить стало легко. Несколько гульденов за индульгенцию — и можешь делать что хочешь. За все заплачено — все искуплено. За эти годы на развилке дорог у «Семи крестов» ни одного креста не прибавилось — некому стало каяться, хотя повсюду разврат, мерзость, пьянство и драки. Городскую казну разокрали, городские дела запущены. В кабаках пьют так,

будто завтра пиво исчезнет. Мирно побеседовать негде. Того и гляди, нарвешься на драку, поставят синяк под глазом.

Хуже всех были те, кто приходил в Нюрнберг «повеселиться» из мелких окрестных городков, а может быть, и просто с большой дороги после удачного грабежа. Уж те себя не ограничивали. Каждый более или менее прилично одетый горожанин был для них врагом. Однажды и Дюрер из-за такого «искателя правды» попал в неприятное положение. На третий день после того, как установили «майское дерево» у дома первой нюрнбергской красавицы, как полагалось по обычаю, сидел он с друзьями тихо-мирно в «Гюльден Херне». Беседовали о дальних странах, о черных людях и прочих диковинах. Не понравился их разговор некоему Йоргу Фирлингу, как потом выяснилось, прибывшему из Клейнройта. Заелись, мол, о язычниках судачат. Полез в драку. На свою беду задел Дюрера. Поднял руку на члена Большого совета, на гордость Нюрнберга! Появившаяся городская стража мигом его скрутила и препроводила в тюрьму.

5 мая 1515 года пригласили Дюрера и Йорга Фирлинга в совет на допрос. В действиях и выкриках клейнройтца усмотрели не только попытку оскорбить гражданина Нюрнберга, но и разжечь смуту. Ответчик ничего припомнить не мог из своих крамольных речей. Художник счел нужным о них промолчать: что с пьяного взять? Власти, однако, этим не удовлетворились. 9 мая порешили они: если Фирлинг не скажет правды, то «нужно сделать ему больно», то есть применить пытку. От этих слов у Дюрера мурашки по спине побежали. Бывал он в пыточной камере, когда работал над гравюрами о мученичествах святых.

После бессонной ночи обратился с просьбой Дюрер к членам совета отказаться от решения. Разве не завещал Христос прощать врагам? Заседали они на этот раз очень долго, мнения разделились, но в конце концов постановили: для науки продержат Фирлинга в «дырах» четыре недели. Сократить этот срок, если родственники виновного поручатся за него. 1 июня после очередного обращения Дюрера совет повелел Фирлингу покинуть немедленно Нюрнберг и больше никогда там не показываться.

Дюрер в этом злосчастном событии готов был винить самого себя. У отца таких случаев не было. А все потому, что занимался мастер делом, по кабакам не таскался. Правда, где еще новости можно услышать? Эх, Альбрехт, не обманывай сам себя: много есть таких мест, где узнаешь все новинки. Например, в мастерских оружейников, в мастерских коллег художников... Оружейные мастерские припомнились кстати. Дело в том, что снова занялся Дюрер опытами травления гравюр. Но особенных

успехов не добился. Может быть, непригоден для этих целей воск? Уж очень непрочен. Оружейники давно уже применяют специальные лаки, которые не стираются и не плавятся. Стал к ним наведываться почаще.

Неожиданно Дюрер получил пакет из Рима — от самого Рафаэля. В нем рисунки обнаженной натуры, а в прилагаемом письме просил итальянец немецкого собрата по искусству высказать о них свое суждение. Рисунки были отменно хороши, хотя Рафаэль и сообщал скромно, что они не из лучших, а посылает он их Дюреру, чтобы «показать свою руку».

В ответ отправил ему Дюрер несколько эскизов и автопортрет. Если бы занимался Рафаэль гравюрой, сообщил бы об открытой им новой технике травления пластин. Здесь он действительно добился многого. Все жалел, что не додумался до этого раньше. Вспоминал, как торопились они с Кобергером выпустить в свет гравюру с изображением свиньи-урода. Вот бы им тогда этот метод — не пришлось бы Альбрехту сидеть не разгибая спины день и всю ночь напролет. Оставалось только проверить свое открытие на практике. А тут и случай вдруг представился.

Как-то в июньский день — вопреки данному самому себе обещанию — завернул Дюрер в «Гюльден Хори» и застал там купца по прозвищу Португалец, который по своему обыкновению молот какую-то чепуху, а посетители кабака, как обычно, слушали его раскрыв рты. В такой зной только этим и можно заниматься! Тем более что Португалец врал складно. Обычно ни одного своего рассказа не начинал он без ругани: нечего, дескать, Нюрнбергу на Венецию смотреть, а следует обратить взор к Лиссабону — Венеция, мол, галера, плавающая по луже, а Португалия — каравелла, несущаяся на всех парусах по морям-океанам. Вот за это самое и получил купец прозвище Португальца. Так оно к нему пристало, что и настоящее имя все давно позабыли.

Нес он и на сей раз какую-то околесицу о письме, якобы полученном им из Лиссабона от знакомого крещеного мавра по имени Валентин Фердинанд. Мавр сообщал, что в минувшем мае доставили португальскому королю Эммануэлу от владыки Камбоджи Музафара в подарок единорога, по-ученому, стало быть, риноцеруса. Тут, конечно, все разом загалдели. Чушь это, не мог язычник Музафар поймать единорога, все знают — такое под силу лишь христианке-девственнице. И потом — что это за страна Камбоджа? Кто о ней слышал или читал? Оказалось, что никто.

Дюрер уже на улице сказал Португальцу, что он верит ему. В благодарность показал тот письмо, в котором даже рисунок единорога был исполнен довольно сносно. Выпросил Альбрехт это письмо. Предложил деньги, но Португалец от них отказался: пусть только Дюрер сделает

гравюру риноцеруса для посрамления всех неверующих. Гравюру свою Дюрер исполнил способом офорта. Пластинка вышла на диво удачно, и оттиски получились четкими. Подарил Португальцу три штуки, несколько отдал знакомым в «Гюльден Хорне», а остальные Агнес — продать на Главном рынке. Вот вам и лгун-португалец! Разошлись гравюры сразу же. Скупали их охотно заезжие купцы. Другие мастера пронюхали, что дело прибыльно. Спустя месяц завезли в Нюрнберг гравюру Бургкмайра — тоже риноцерус, подозрительно похожий на дюреровского. Власти листы у купца отобрали, и палач предал их огню.

Свое решение, запрещающее подделывать дюреровские гравюры, совет выполнял строго. Но вот решение императора о выплате пожизненной пенсия осуществлять не торопился. Лично же от Максимилиана художник ничего не получил — ни за «Триумфальную арку», ни за Кодекс, ни за молитвенник. Молитвенник вообще прекратили печатать. Стабий затеял спор с неким Меннелем относительно календаря, то есть расписания молитв по дням. Диспут, в ходе которого противники изъяснили друг друга цитатами, закончился тем, что в ноябре 1515 года Дюрер получил сообщение: молитвенник печатать не будут и Максимилиан этим обстоятельством весьма опечален. Последнее, видимо, было истиной, ибо в великой своей печали император забыл оплатить труд мастеров.

Так и получается: почестей много, работы тоже, а денег — увы! «Риноцерус», однако, подсказал выход. Стал Дюрер больше прислушиваться, что говорят в городе, чем интересуются. Правда, особенно интересных новостей не было.

Лишь суеверные старухи рассказывали свои вечные сказки о ведьмах, оборотнях и, конечно же, о «Диком охотнике». Посланец ада будто бы вновь объявился. По глухим лесным тропам подкрадывался он к нюрнбергским стенам. Гасил свечи, поставленные верующими в память усопших у изваяний мадонн и распятий на перекрестках. Миновал кладбище святого Иоганна, вместе с ночными бурями врывался в город и, не обращая внимания на стражу, буйствовал на площадях и улицах, стучал в окна, ломился непрошеным гостем в двери. Выл противно и нагло в печных трубах. Передавали, что в лунные безветренные ночи видели не раз, как подлетал он на своем черном коне к хороводам, которые ведьмы водили у городских виселиц, хватал одну из них и уносился прочь. Вот за таким-то занятием Дюрер его и изобразил. И эту гравюру выполнил постепенно входившим в практику методом офорта. Другим замыслом руководствовался мастер — усложнил рисунок, не делал никаких скидок на то, что далек его новый метод от совершенства. Был готов к тому, что

придется выбросить эту пластинку. На удивление вышла великолепно. Своего он добился!

1516 год начал Дюрер с портрета Михаэля Вольгемута. Никто ему этого портрета не заказывал. Писал своего учителя себе самому на память. Вольгемут согласился позировать. Пережил мастер Михаэль многих своих учеников и увидел, как гибнут окончательно каноны живописи, защите которых он отдал жизнь. Было символично то, что писал его мастер нового времени и по своим новым канонам. А неистовый Михаэль Вольгемут, защитник чистоты немецкого искусства, молчал, не протестовал. Уронив на колени иссохшие руки, смотрел в окно на стену дома напротив. И часами молчал. Все пошло прахом. Совсем недавно услышал, что начинают отходить от прежних канонов и нидерландские мастера, которых ценил он сверх всякой меры за их постоянство. Тяжело на сердце. Не он оказался прав — другие. Опоздал умереть. Сама собою гасла беседа с бывшим учеником. О чем говорить? Пытался рассказать Дюрер мастеру Михаэлю об открытом им способе изготовления гравюр, показывал готовые листы. Вольгемут скользил по ним равнодушными глазами: разве прежний способ стал нехорош? И свой портрет отказался судить. Какой он теперь судья?..

Отщелкивало время дни, словно костяшки на купеческих счетах. Дюрера снова охватило чувство неудовлетворенности, хотя не сидел он сложа руки. Копились рисунки и наброски, даже рукопись пополнилась несколькими новыми листами. Но все-таки не было среди всего этого ничего, о чем бы он мог сказать: вот это останется на века. Трудно убедить себя, что понравится потомкам и «Триумфальная арка» Максимилиана, и иллюстрации к сочинению императора «Фрейдаль», написанному в манере рыцарских романов.

Сюжет книги был прост: отважный воин по имени Фрейдаль разъезжает по княжеским и королевским дворам, демонстрируя на турнирах свое непревзойденное мастерство владеть оружием в пешем и конном бою. Под Фрейдалем подразумевался, конечно, сам император, а под поединками — Максимилиановы битвы. Словом, опять сплошная аллегория на аллегии. В них Дюрер углубляться не стал. Сражались на его гравюрах не сказочные, а вполне реальные рыцари. Лишь одна гравюра выпадала из общего ряда — «Танец с факелами в Аугсбурге».

По памяти восстановил Дюрер красочное зрелище, которое довелось увидеть во время второй поездки в Италию. Иллюстрировать «Фрейдаля» начал рывком — и па» дорвался. Отложил на время работу. А потом и совсем прекратил ее. Правду говорят, что семь мудрецов, друг перед другом

умом кичась, любое дело утопят. Так и здесь. Аугсбургские типографы приступили к печатанию рукописи, но императорские советники стали вносить уточнения. Что ни день — то новые указания: то материал иначе расположить, то формат изменить. Сновали посланцы между Линцем и Аугсбургом, между Аугсбургом и Нюрнбергом. Изменить размеры гравюр! Переделать! Плюнул мастер и больше к «Фрейдалю» не возвращался: пусть сначала договорятся между собою.

В этой никчемной суматохе добрая половина 1517 года ушла. Ничто так много времени не отнимает, как пустяки. И ничто так тоски не наводит. Работать бы да работать: в доме спокойно, даже Агнес угомонилась, став полноправной хозяйкой. Нет, тянет куда-нибудь уехать, от всего освободиться и все забыть. Видно, в крови у нюрнбержцев охота к странствованиям. Только куда податься? В Италии бушует война. Может, в Нидерланды? Испанию? Доходят вести — переживает там расцвет живопись. Или же во Францию? Встретиться с Леонардо... Интересно, удалось ли ему построить летательную машину? Велик и диковинен мир... Почти каждый день покидают Нюрнберг купеческие караваны. Идут они не только на юг, в Венецию, но и на Восток — в польские земли и даже дальше — к москвитам. А из Португалия плывут корабли в восточную Индию. На тех кораблях добираются до страны чудес самые предприимчивые из нюрнбержцев.

Надо же так случиться, покуда предавался Альбрехт грустным думам, пришло письмо от Лоренца Бехайма. Тот будто угадал его мысли. Приглашал в Бамберг писать портрет епископа Георга III. Собрался сразу же, долго не размышляя. Звал с собою Пиркгеймера, но Вилибальд отказался: боялся покидать Нюрнберг, бдительно следил за интригами своих противников. В конце сентября, захватив в нескольких тюках принадлежности для рисования и гравюры для подношений и продажи, отправился мастер Альбрехт к Бехайму.

Ученого каноника застал Дюрер в плачевном состоянии. Мучила его болезнь, вывезенная некогда из папского дворца. Ее не могли одолеть ни лекарства, ни покаяния. Поэтому общаться пришлось больше с другом Лоренца астрономом Иоганном Шёнером. Новый знакомый, когда услышал, что мастер бьется над пропорциями человеческого тела, но далеко не продвинулся, ибо слаб в математике, предложил ему свои услуги. Знай об этом Дюрер — привез бы свои рукописи. А без них много не сделаешь. Поговорили — на том все и кончилось.

Хотя Георг III принял Дюрера на следующий же день после его приезда, времени уделил ему мало. К тому же предупредил: позировать

сможет всего раз или два, не больше: занят чрезвычайно. Дела важные, церковные — поднимает голову ересь, того и гляди, расползется по всей Германии, погубит ее. Близка жатва. Вот неизвестно только, что предстоит собрать — ядовитые плевелы или тучные зерна? За два десятилетия всякий умеющий читать и писать сеял, не задумываясь, все, что подвертывалось под руку. И потому засорена нива веры сомнениями и вопросами, кирпич за кирпичом растаскивается основание церкви. Пусть есть доля правды в том, что в Риме не все обстоит благополучно. Но вера здесь при чем? На том и расстались. Лоренц сетовал на то же самое. Хотел узнать, каково у них там, в славном городе Нюрнберге. Есть, мол, такая пословица: все немецкие города слепы, лишь Нюрнберг видит, хотя и одним глазом. А вот видят ли нюрнбержцы, что вновь зашевелились крестьяне? Немые вдруг обрели язык и стали требовать: долой Священную Римскую империю и ее законы о налогах! Назад к старым обычаям!

Однако гром грянул не оттуда, откуда его ожидали в Бамберге. Перед самым отъездом Дюрера проводали горожане о полученной в епископском дворце удивительной новости: 31 октября 1517 года некий монах-августинец Лютер прибил к дверям церкви в Виттенберге какие-то 95 тезисов. Сначала особого значения этому сообщению не придавали. Прибил так прибил — сейчас каждый кому не лень лепит свою писанину на всеобщее обозрение. Никому и в голову не пришло, что именно с этой даты начнется в Германии отсчет нового времени.

Будто половодье смело разом все плотины и запреты. Заговорила Германия во весь голос. Оказалось, тезисы Лютера затронули каждого. И Дюрера тоже. Ехал он домой и размышлял над ними. Дан был ответ на все вопросы. Для Лютера не было сомнения в том, что, разрешив продажу индульгенций, римская церковь произвела на свет чудовищную ложь и принудила верующих не любить, а бояться бога. По ее нынешнему учению, не тот, кто верует, предстанет перед богом очищенным от всех грехов, а тот, у кого есть деньги. Если же отпущение грехов можно купить, то кто же станет искренне раскаиваться? Нет, заявлял Лютер, все это искажение Христова учения. Одно лишь раскаяние, идущее от самой души верующего, одна лишь его глубокая вера открывает врата в царство божье. Обратившись к Евангелию, он, Мартин Лютер, открыл в нем истину, которую утаил Рим: веруя, человек не должен бояться гнева господа, он смело может предстать пред его очи, ибо никаких адских мук ему не суждено.

Конечно, Дюреру именно это бросилось в глаза в учении реформатора. С позиций современника он не мог оценить политического значения

вызова, брошенного Лютером всей католической религиозной концепции. Была поколеблена система прежних догм, и подорваны претензии духовенства на господствующее положение в обществе, оно лишалось права карать или миловать, выступать от имени какой-то высшей силы.

Приехав в Нюрнберг, застал Дюрер дискуссию о тезисах Лютера в самом разгаре. Доктор Мартин прислал их викарию нюрнбергских августинцев Венцелию Линку — для размышления и нелицеприятной критики. Линк поспешил с ними к Шпенглеру, тот — к Кристофу Шейрлю. И вот уже весь город только о них и говорит.

Встретившись со своими друзьями, припомнил Дюрер о том, от кого впервые узнал о Лютере. От Штаупитца, конечно! Вспомнил, как хвалил Штаунитц своего ученика. Уже тогда он превзошел в Германии всех в знании Священного писания и трудов отцов церкви. Лютер спрашивал самого себя: что же есть истина? И не мог ответить. Многие из прочитанного было спорно, а другое нуждалось в подтверждении. Встал перед ним вопрос: верить ли всему, хотя это и абсурдно, или же искать истину? Поиски предполагали критику. Критика же была запрещена. Что же делать? — спросил Мартин Штаупитца. Учитель ответил: если Христос искал истину, значит, стремление к ней следует отнести к догматам веры, значит, в нем нет ничего предосудительного. Знал бы Штаунитц, к чему приведет его ответ...

Сначала только смелость, а потом и само учение Лютера приковало к нему многие сердца. Пришел Нюрнберг в движение. Отрядили Кристофа Шейрля в Виттенберг — к Лютеру. Но об этом знали лишь близкие друзья, для всех остальных ехал Шейрль к курфюрсту Фридриху якобы по делам города. Должен был нюрнбергский посланец заверить доктора Мартина, что есть у него друзья в Нюрнберге, которые желают ему победы и на которых он может опереться. Дюрер вручил Шейрлю пакет со своими гравюрами — подарок Лютеру. Просил на словах поблагодарить его за то, что освободил душу мастера от многих страхов и тем немало облегчил жизнь.

Возвратился Шейрль с ворохом писем. Для Дюрера, однако, не было ничего. Это мастера обидело. Но, словно спохватившись, в письме от 5 марта 1518 года Кристофу Шейрлю посвятил Лютер Дюреру несколько строк: выражал признательность за подарок.

Не ради красного словца передавал Дюрер Лютеру, что своим выступлением тот будто камень с души снял. Откуда только силы взялись и энергия? Художник буквально воспарил, словно его дух расковали.

Близилась к своему завершению работа над «Бургундской свадьбой», или «Триумфальным шествием». Хотя на сей раз Вилибальд почти и не оказывал помощи в сочинении аллегорий, и без него справился. Слава богу, сколько всяческих аллегорий за последнее время написал! А еще создал картину, на которой обнаженная Лукреция, обесчещенная Тарквинием, пронзает свою грудь кинжалом. Картина вышла так себе. Писал ее больше из озорства. Ведь до Лютерова выступления боязнь Страшного суда заставляла отказываться от изображения греховной плоти. Разве что иногда ведьм помещал на своих гравюрах, но это грехом не считалось.

Наиболее осторожные нюрнбержцы тем временем уже заказывали мастерам хитроумные запоры для окон и дверей: ждали, что вот-вот хлынут плебеи на улицы — восстанавливать истинную веру. И так уже многие диспуты о том, прав или не прав доктор Мартин, заканчивались кровопусканием и членовредительством. Не бывало еще такого в городе. Стража едва успевала наводить порядок. Если бы только простой люд так бунтовая, а то и патриции чуть в драку не лезут. Эразм Роттердамский в переписке с Пиркгеймером призывал приложить старания, чтобы вопросы веры решались без пристрастия и прежде всего без буйства. Он-де уже опубликовал точный текст Библии на греческом языке, и теперь каждый может увидеть, какие ошибки содержатся в латинском переводе, и сделать выводы. Право же, не стоит из-за каких-то погрешностей кровавить носы и проламывать головы! Но всем уже было ясно, что речь шла не просто об «ошибках».

Конечно, Дюрера, как и весь город, политика захлестнула, и он принимал участие в диспутах. Как же иначе — ведь и он гражданин Нюрнберга? Но одновременно — споры спорами, дело делом — заказал у лучших мастеров куклу в человеческий рост, всю на шарнирах — для изучения человеческой фигуры в движении. Пожимали друзья плечами: нашел время для опытов. А в доме у Тиргэртнертор — переполох. Нужно было видеть глаза четырнадцатилетнего Бартеля Бегама, его ученика, когда в мастерскую доставили это чучело! Подмастерья перемигивались: дошел, мол, до точки со своими исследованиями. Лишь Зебальд Бегам проявил деловой интерес. Ему и объяснил Дюрер, что нужно ему это чучело не для того, чтобы пугать домочадцев, а чтобы научиться изображать движущегося человека.

С Зебальдом Дюреру повезло — нашел наконец ученика-помощника. Появился Бегам у него в мастерской вместе со своим братом как раз через несколько дней после ухода Вольфа Траута, которого сманил Шпрингинклей, открывший собственное дело. Шестнадцатилетний

Зебальд при первом разговоре держался вежливо, но напористо — будет учиться у Дюрера, и все тут. Понравился он мастеру, сразу же взял его к себе. Оказалось, однако, что просил Зебальд не только за себя, а и за брата. Мол, Бартель рисует даже лучше его. Улыбнулся Дюрер, махнул рукой: если это так, пусть остается.

О Бартеле пока еще рано было говорить, а у Зебальда действительно была искра божья — все схватывал на лету.

Через неделю уже знал, что пишет Дюрер наставление для живописцев. Расспрашивал о пропорциях. А теперь они вместе гнули куклу, придавали ей различные положения, измеряли, записывали, рисовали. Манекен навел Зебальда на мысль, что, может быть, стоило бы подумать и над другими приборами. Пришлось объяснить юноше, что сейчас пока ставит перед собою мастер задачу передачи движения, приборы они потом будут изобретать.

Пристрастить Зебальда к аллегориям Дюрер так и не смог, но увлек его рисованием с натуры. Так увлек, что сам иногда рад не был. Частенько забирал Зебальд бумагу и карандаши, шел на рынок, рисовал крестьян, ремесленников. Видимо, они ему за это платили, ибо Зебальд вечно притаскивал с рынка всяческую всячину. Сначала Дюрер смотрел на его хождения сквозь пальцы, но потом стал догадываться, что не только ради денег ходит его ученик на рынок. В беседах с мастером стал задавать старший Бегам слишком много неудобных вопросов. Чему учит Лютер? Почему ополчаются патриции против крестьянского требования вернуться к «божьему праву», что же здесь плохого? Считал Дюрер, что Зебальду в его возрасте нечего лезть в дело, где голову могут оторвать. Поэтому заставил его неотлучно находиться подле себя, помогать делать расчеты для учения о пропорциях. А в конце весны 1518 года Дюрер сам был вынужден оставить свои занятия. Другие дела появились.

Собрался по повелению Максимилиана в Аугсбурге очередной рейхстаг, чтобы на случай его смерти избрать ему преемника. Намеревался император добиться на этом собрании согласия на передачу престола своему внуку Карлу Испанскому. В рейхстаге предстояло участвовать и нюрнбергской делегации. Совет патрициев долго судил да рядил — кого включить в ее состав. После долгих споров Каспару Нютцелю было поручено возглавить делегацию из трех человек. Кроме него самого, туда включили Лазаруса Шпенглера и Дюрера. Пиркгеймер, дипломат известный, в нее не вошел. И понятно почему: с Нютцелем ему не по пути. Но вот почему обошли других патрициев — осталось для горожан тайною.

Дюрер и Шпенглер в дипломатии люди неискушенные. Поэтому

Пиркгеймер взял на себя труд подготовить их к поездке. Видимо, не по приказу совета, а по собственной воле. Посвящал их в тайны ведения переговоров. Оказалось, что это целая наука: не всегда надо говорить, что думаешь, иной раз лучше простачком прикинуться. В других случаях стоит сделать вид, что знаешь на самом деле больше, чем говоришь. Не следует безусловно верить своему собеседнику. Блюсти престиж Нюрнберга надо превыше всего — не всякому уступать дорогу и занимать место, достойное славы и влияния города. Пусть и Альбрехт, и Лазарус — люди незнатные, рыцарством не удостоены, но они олицетворяют имперский город, хранящий святыне реликвии и императорские регалии. Пуще всего не нужно брать на себя поспешно обязательств, высказывать раньше других свое мнение. Необходимо больше смотреть и слушать, определять мнение большинства и к нему присоединяться, тогда никто в обиде на Нюрнберг не будет.

Вооруженные всеми этими наставлениями, нюрнбергские посланцы прибыли в начале июня в Аугсбург. Поселились у Пойтингера. Думал Дюрер, что сразу же окунутся они в дела рейхстага, но Нюнцель и Шпенглер вроде бы не торопились. Присматривались, прислушивались. Дом Пойтингера всегда был полон гостей, большинство из них приходили потолковать с Дюрером, спросить — не возьмется ли он сделать их портреты. Шпенглер советовал — никому сразу не отказывать, по крайней мере обещать. Каспар и Лазарус крутились тут же, выискивали нужных людей, вступали с ними в беседу — не о живописи, конечно, а о предстоящем рейхстаге, о Лютере и прочих делах, интересующих нюрнбержцев. Появлялся ненадолго Стабий, усталый и мрачный. По его сведениям, все вроде идет к тому, что выскажется рейхстаг против Карла.

Эта новость не особенно опечалила Дюрера. А вот другим сообщением поверг его Стабий в уныние. Видимо, «Триумфальную арку» печатать не будут — нет в императорской казне денег, о «Триумфальном шествии» также говорить пока не приходится. Там, в Нюрнберге, все они, постоянно слыша о баснословных суммах, которые тратит Максимилиан на турниры и праздники, на войны и состязания поэтов, наивно полагают, что император гребет деньги лопатой. А здесь даже не надо быть чересчур наблюдательным, чтобы понять: казна Максимилиана пуста и всецело зависит глава империи от аугсбургских торговцев перцем, ростовщиков и милости таких богатых городов, как Нюрнберг.

С Максимилианом не очень-то считались. Предложи Карла кто-нибудь другой — согласились бы. А тут сплошные раздоры. Толком и не определишь, куда склоняется большинство. 18 июня вызвали Дюрера

прямо с заседания рейхстага к императору.

В гостинице «К трем маврам» художника провели куда-то вверх по винтовой лестнице. Очутился он в небольшой комнатушке, до отказа забитой императорскими советниками. Сидел Максимилиан у стола, заваленного бумагами, а кардинал Маттиас Ланг, его личный секретарь, что-то с жаром ему доказывал. Увидев Дюрера, придворные поспешно откланялись. Остались в комнате вдвоем — Максимилиан, Ланг и Дюрер.

Сказал кардинал, что желает его императорское величество, чтобы Дюрер изготавил его портрет. Но сам Максимилиан не проронил ни слова.

Летняя душная тишина заполняла комнату, и только поцарапывание угля по бумаге нарушало безмолвие. Этот звук, видимо, мешал Максимилиану думать, гримаса раздражения не сходила с его лица. Старик, которого писал Дюрер, и отдаленного сходства не имел с тем человеком, чей образ сложился у мастера при чтении «Фрейдаля». Стоя Максимилиан еще сохранял величественную осанку благодаря хорошо отрепетированным жестам и позе, сидя же терял всякое величие. Трудно было представить, что этот человек на турнирах первым же ударом вышибал своих противников из седла. Выражение озабоченности намертво въелось в лицо монарха. Глубокие складки залегли у губ, резко отделяя некрасивый, выдающийся вперед подбородок. Изогнутый нос будто сплюснен сильным ударом. Тяжелые веки упрятали выцветшие глаза.

Рисунок был почти готов. Дюрер все ждал, не заговорит ли Максимилиан. Однако император молчал, а придворный этикет не разрешал художнику первым начинать беседу. Сквозь открытые окна с улицы, где заседал рейхстаг, вдруг донесся шум, и император резко поднялся из-за стола. Лицо его исказилось от боли, Ланг бросился ему помогать. Максимилиан жестом отстранил его и вышел из комнаты. Его грузные шаги медленно угасли. Дюрер все еще держал лист бумаги с портретом, не зная, что с ним делать. Ланг взял его, свернул в трубочку и снова вручил Дюреру: император желает, чтобы мастер сделал его портрет красками.

Из комнаты выходили вместе, Дюрер воспользовался возможностью и пожаловался на совет, который так и не выплатил положенного ему жалованья. В ответ Ланг начал жаловаться, что мало кто слушается сейчас в Германии Максимилиана. А тут еще этот Лютер! Его собираются вызвать на рейхстаг. Но Лангу не дали закончить беседу — отозвали в сторону, а Дюрер вдруг оказался лицом к лицу со скромно одетым человечком, который бесцеремонно рассматривал его, будто собирался нанять на работу. Впрочем, это впечатление было недалеко от истины. Встретился Дюрер с

банкиром папского, императорского и многих королевских дворов Якобом Фуггером, по прозвищу Богатый, который желал, чтобы прославленный мастер написал портрет. Тонем мягким, но не допускающим возражений, приказал Фуггер прийти к нему завтра сразу же после мессы с принадлежностями для рисования.

Много слышал Дюрер о Фуггере и хорошего и плохого. Перед банкиром заискивали и приказы его выполняли беспрекословно люди саном куда повыше его. Вот почему на утро следующего дня Альбрехт был уже у Фуггера. Расположился с хозяином у открытого окна, из которого виден был как на ладони весь рейхстаг, заседавший у гостиницы «К трем маврам». «Богатый Якоб» времени зря не терял. Пусть художник занимается своим делом, а он своим. Жадно ловил каждое слово, доносившееся с площади. Банкир тянул шею, приставлял ладонь к уху, выражение его лица поминутно менялось. Но не решался Дюрер попросить его сидеть спокойно: бывший подмастерье ткача, обладавший сейчас баснословным состоянием, работал. В этой голове, набитой цифрами и сокровенными тайнами всех дворов, велись сложные расчеты, создавались дерзкие комбинации. Никто еще не проникал в думы, теснившиеся за этим высоким лбом, никто еще ничего не прочел по его бесстрастным глазам, редко кому удавалось разомкнуть эти бесцветные узкие губы. Не думая о том, понравится или нет заказчику его работа, Дюрер писал банкира таким, каким видел перед собою.

Однако болтовня у «Трех мавров» Фуггеру быстро надоела. И он обратился к Дюреру. Сначала о Нюрнберге расспрашивал, потом перешел к темам, которые интересовали его больше, — финансам и вере. В финансах мастер ничего не смыслил, поэтому предпочел отмолчаться. А относительно веры едва не повздорили, когда Дюрер похвалил Лютера, Фуггер другой точки зрения придерживался: нужно его образумить, пока тот не зарвался. Значит, все-таки Лютер приедет в Аугсбург. Кому-кому, а Фуггеру верить можно! Вот когда можно будет написать портрет Лютера!

Но пока пришлось Дюреру рисовать противников доктора Мартина. Кардинал Ланг, конечно, не в счет. Здесь были свои соображения — через него добиться от Нюрнберга выплаты императорского жалованья. От заказа же другого кардинала — Альбрехта Бранденбургского — Дюрер с удовольствием бы уклонился. Но ведь не откажешь человеку, за именем которого тянется целая цепочка различных должностей и титулов: курфюрст, архиепископ Майнцский и Магдебургский, императорский канцлер и прочая, и прочая. Одно лишь льстило — и этот могущественный владыка не удержался от соблазна быть нарисованным Дюрером. Кардинал,

как и Фуггер, заплатил наличными. Более того, сделал заказ на гравюру со своим изображением.

Слухи о приезде Лютера в Аугсбург теперь подтверждались. И это приводило нюрнбергскую делегацию во все большее беспокойство. У нее не было мандата для обсуждения вопросов веры, для одобрения или порицания от имени города Лютерова учения. Нютцель приказал ехать домой. Не состоялась встреча Дюрера с Лютером. Еще одна возможность такой встречи представилась месяца два спустя, когда реформатор, направляясь на допрос, который собирался учинить ему папский легат Каэтан, останавливался у викария Линка. Была возможность, да Дюрер не смог ею воспользоваться.

Ланг сдержал свое обещание: 8 сентября прислал Максимилиан Нюрнбергу новый мандат, в котором предписывал совету выплатить Дюреру долг за два года и впредь регулярно платить ему положенное жалованье. Казначей совета, однако, опять нашел отговорки, и даже Шпенглер с ним ничего не мог поделать.

Поездка в Аугсбург утомила Дюрера чрезвычайно. Усталость стала частой гостьей. Назойливо лезла в голову мысль о приближающейся старости. Каждое недомогание он теперь расценивал как предвестник тяжелого недуга, способного разом лишить его способности творить, возможности зарабатывать на жизнь. Любая неурядица воспринималась как трагедия. Не заплатил совет жалованья — а его уже гложет страх, что на старости лет пойдет он с протянутой рукой по миру, хотя и привез из Аугсбурга денег, которых с лихвой хватит на несколько лет.

Хуже всего, что теперь от этих мыслей и работа не спасала. Закончил тем временем «Бургундскую свадьбу», отправил императору доски к «Триумфальной арке». Встреча с Максимилианом в дни рейхстага, когда предстал тот не как повелитель, а как старый больной человек, побудила сделать это, не дожидаясь вознаграждения. Бывает ведь и так, что ремесленник становится богаче императора. Принялся за портрет Максимилиана.

Вилибальд первым заметил, что работает Дюрер через силу. Внушал ему: надо на время уехать из Нюрнберга, развеяться. Готов был даже вместе ехать, но только не сейчас, зимой, а подождать лета. Писал в эти дни Пиркгеймер Лоренцу Бехайму: Дюреру всего-навсего сорок семь лет, а выглядит он на все шестьдесят. Высох и пожелтел, словно сноп соломы. Очень плох. Тем не менее рвется странствовать. В ответ умолял Лоренц Вилибальда не отпускать Дюрера из Нюрнберга, ибо, судя по всему, не

выдержит он дальней дороги. Легко сказать — не отпускать, когда Альбрехт теперь только и мечтает о путешествии. Плюнул бы на все, поехал вместе с ним, но все чаще валит с ног проклятая подагра — до ратуши не может дотащиться! И кто выдумал этот дурацкий обычай ходить на заседания совета обязательно пешком? Дескать, пеший увидит больше непорядков, чем конный, а едущему в повозке не всегда можно прошение вручить или же просто поговорить о своем деле. Для членов совета существует неписаный закон: не можешь ходить — сиди дома, ожидай выздоровления.

Удалось Пиркгеймеру уговорить Дюрера подождать лета. Не торопясь работал Альбрехт над императорским портретом и рассказывал всем с охотой о новом замысле: написать алтарь во славу святой Анны и святой Марии. Сделал рисунок с Агнес для матери богородицы. Рисуя, обмолвился: вот Анна родила Марию уже в преклонном возрасте. А однажды, сидя за столом и поучая братьев Бегамов, сказал с сожалением: постигнут они живопись и уйдут от него, как ушли Бальдунг и Траут, а вот сын не ушел бы, остался. Знала Агнес, что никто не заказывал ее супругу этот алтарь, что собирается он пожертвовать его церкви, и догадывалась для чего. Все чаще стал вспоминать Альбрехт брата Ганса. Готов был звать его назад — только где сыскать? Ушел — будто в воду канул.

Не ведал мастер, что пока он размышлял да прохлаждался, произошло в Германии событие, близко коснувшееся и его. Дошла до Нюрнберга весть, что 12 января 1519 года скончался Максимилиан. Завесил Дюрер начатый портрет императора, надел шубу и отправился в ратушу — требовать долг. Но вернулся ни с чем. Опять в совете отказали. Новый предлог изобрели: пусть преемник Максимилиана подтвердит прежний «мандат». Только когда он еще избран будет? И нужны ли ему «Триумфальная арка» и «Бургундская свадьба»? Где найти защиту? Может быть, у дочери Максимилиана, правительницы Нидерландов Маргариты?

27 апреля 1519 года напоминал Дюрер в письме бургомистру Нюрнберга то, что должно ему быть хорошо известно: «На последнем рейхстаге, созванном его императорским римским величеством, я не без большого труда и хлопот добился, чтобы его императорское величество всемилостивейше повелел выплатить мне за мои усердные труды и работу, которую я уже в течение долгого времени исполнял для его величества, 200 рейнских гульденов из общей суммы ежегодных городских налогов Нюрнберга. И об этом было послано распоряжение...» Просил художник не милостыню, а законно полагающееся ему. На тот же случай, если преемник Максимилиана не захочет выплачивать причитающееся, был

готов Дюрер пойти навстречу бургомистру и городу и предлагал «в качестве залога и обеспечения мой дом, расположенный в углу под крепостью, принадлежавший моему покойному отцу,, дабы Ваша честь не могли потерпеть никакого ущерба или убытка».

Но совет остался непреклонен. И потому не было иного выхода, кроме поездки в Нидерланды.

Вилибальд, однако, советовал не торопиться. Не возлагал он особых надежд на Маргариту. Что она может решить? Лучше подождать, когда будет избран новый император. Подождали некоторое время. Нет, не торопятся владыки немецких земель. А тут город решил возложить на Пиркгеймера новое дипломатическое поручение — ехать с особой миссией в Швейцарию. Вилибальд настоял, чтобы вместе с ним поехал и Альбрехт. Мол, в дипломатических делах он уже не новичок. Его известность для переговоров — лучшее подспорье. Совет на сей раз с ним согласился. Дюрер тоже был не прочь предпринять эту поездку. Совсем недавно он получил письмо от бывшего своего ученика Ганса Лея-младшего, в котором тот приглашал учителя в Базель. Обещал познакомить с тамошними граверами — все они будут рады оказать гостеприимство мастеру, заложившему, как они считают, основы базельской школы графики. Прислал ему также поклон Амербах.

Вот так и вышло, что вместо Нидерландов отправился Дюрер в Швейцарию, как бы на встречу с ушедшей юностью. Видимо, последнее дипломатическое поручение выполнял Вилибальд. И вряд ли он согласился бы его принять, если бы не желание помочь другу. Тащился состарившийся патриций в Швейцарию, чтобы добиться союза с кантонами против ансбахского маркграфа Казимира, того самого, что некогда разбил Пиркгеймера в нюрнбергском лесу. Прошел слух, что Казимир решил поставить Нюрнберг на колени и с этой целью просил у швейцарцев наемников. В городском совете решили его опередить. Мало верил многоопытный дипломат в возможность единства со швейцарскими кантонами, но поручение принял. В помощники себе взял Мартина Тухера и Альбрехта Дюрера. Незадолго до поездки, воспользовавшись пребыванием в городе швейцарских купцов, распустил Пиркгеймер через доверенных лиц слух о том, что союз с кантонами — дело решенное и что у поездки в Цюрих лишь одна цель — поставить подпись под договором. Благодаря его «болтливости» даже нюрнбергские воробьи чирикали об этой новости с каждой крыши.

Бывало раньше — неся Пиркгеймер сломя голову верхом так, что только пыль вилась, а теперь еле тащился в возке и кривился от боли на

каждом ухабе. Откуда свалились на него все эти напасти? Невесело и Дюреру — В пути догнала их весть о кончине во Франции великого Леонардо. И Михаэля Вольгемута похоронили. Правда, пожил художник дай бог каждому — восемьдесят два года.

В Цюрихе Пиркгеймер и Тухер начали переговоры со швейцарцами. Сначала выясняли обстановку и настроение, потом расписывали любовь нюрнбержцев к кантонам. Одним словом, ходили вокруг да около, но главного не касались. Каждый день одно и то же. Дюрер на этих беседах изнывал: это же все равно что дюжину раз скопировать один и тот же рисунок. Пиркгеймер такую деятельность развил, что, кажется, забыл о всех своих болезнях. Через неделю, видя, что игра в дипломатические жмурки Дюреру никакого удовольствия не доставляет, освободил его от обременительной обязанности изображать за столом переговоров государственного мужа и отпустил на все четыре стороны. Смог художник теперь посещать мастерские коллег, наведываться в типографии. Работали швейцарцы по-прежнему отлично.

К концу второй недели прибыл гонец из Нюрнберга. Он долго наедине шушукался с Пиркгеймером, а наутро покинул Цюрих. После его отъезда Вилибальд занемог, да так, что было похоже — до прибытия очередного посланца не сможет продолжить переговоры. Старый хитрец!

Дюрер решил воспользоваться перерывом в переговорах, чтобы съездить в Базель. Ганс Лей встретил его с распростертыми объятиями. Какая честь! Слух о прибытии великого мастера мигом разнесся по городу. Но время для визитов оказалось неудачным. Дюрер это сразу же заметил по поведению Лея. Все вроде впопыхах. Посещение хормейстера Большого собора Феликса Фрея вышло скомканным — несколько слов о нюрнбергских родственниках, немного побольше о Лютере, и Лей потянул к Амербаху. И там тоже не дал подольше задержаться: потом поговорят поподробнее, а сейчас нужно спешить в университет. Пронеслись бегом, ни с кем толком не поговорили. Насколько припоминал Дюрер прежние времена — никогда швейцарцы не отличались такой прытью. Темперамент изменился, что ли? Потом уже выяснилось — должен Лей отправиться в поход если не сегодня, так завтра. Швейцария на стороне Швабского союза воевала против герцога Ульриха Вюртембергского. Лей, как верный сын кантонов, намерен был постоять за отечество. Стоял уже, видимо, не единожды — все лицо в шрамах.

Но это еще что! Нагрянул к Лею Урс Граф, рука на перевязи, ногу волочит. Прямо после боя. Собирается отлежаться в Базеле и снова встать под знамена. Под чьи? А все равно! Воевал он уже в Северной Италии,

сражался в Бургундии, был в войсках папы римского, императора германского, короля французского. Ландскнехт чистейшей пробы. Но как рисует, дьявол! Его работы поразили Дюрера: сколько таланта, какая точность линий, какое удивительное знание жизни! Правда, изображал Урс в основном солдат, сражения, поединки. Но кто может предписывать художнику, к чему должно лежать его сердце? За исключением воинственности, было у Графа с Дюрером много общего. И он тоже родился в семье золотых дел мастера из Золотурна, так же, как Дюрер, учил его отец твердости руки и точности глаза и так же, как его, не хотел отпускать из ювелирного дела. Но об этом Дюрер узнал потом, когда, перестав видеть в Графе лишь ландскнехта, поговорил с ним по душам.

Дни, отпущенные Дюреру Пиркгеймером, истекли. Хотя и не хотелось возвращаться за стол переговоров, но интересы города для каждого нюрнбержца всегда стояли на первом месте. В Цюрихе же переговоры не сдвинулись с места. Правда, Пиркгеймер «выздоровел» и вновь разводил канитель. Появились в Цюрихе Казимировы соглядатаи. Нюрнбержцы будто их не заметили. Как и раньше, словно на мессу, ходили в ратушу и, отбыв там положенное время для дискуссии на тему, кто что получит, если швейцарцы вступят в союз, отправлялись к своим знакомым обсуждать дела более интересные. С Ульрихом Цвингли встречались почти каждый день. Почитатель Лютера знал назубок не только то, что доктор Мартин написал, но и то, что он говорил в своих частных беседах за эти полтора года. Жаль, что Шпенглера с ними не было.

А вскоре примчался из Нюрнберга спешный курьер: можно свертывать переговоры с кантонами — маркграф Казимир предложил мир, и совет уже ответил согласием...

В Нюрнберге ждал Дюрера с превеликим нетерпением медальер Ганс Шварц, с которым познакомился он в Аугсбурге на рейхстаге. Был у них тогда разговор о том, что изготовит Шварц медаль с портретом Дюрера. О той беседе художник и думать забыл. Теперь же Шварц требовал от него автопортрет, чтобы приступить к работе. Слава, конечно, хорошая вещь, но если бы знал Шварц, как не лежало сердце Дюрера изображать себя в преклонном возрасте, да еще в профиль, со своим горбатым носом! И все же рисунок мастер сделал быстро — прямо на бруске дерева. Оставалось Шварцу лишь вырезать форму и отлить медаль. Долгое его ожидание вознаграждал Дюрер тем, что брал на себя расходы по изготовлению этой медали — два гульдена. Так что покинул Шварц Нюрнберг весьма довольным.

Этот наспех сделанный автопортрет был, пожалуй, единственной работой Дюрера в течение нескольких месяцев после возвращения из Швейцарии. И дело не в том, что не было желания писать или ощущался недостаток в заказах, а в том, что понимал он: писать нужно по-новому, делом своим способствовать распространению учения, к которому прикипел сердцем. Только вот как?

Стал мастер Альбрехт теперь усердно посещать заседания Большого совета, который, к беспокойству патрициев, вдруг занялся вопросами веры. Возросла там и роль Шпенглера, принимавшего от имени совета Лютеровых посланников и сторонников. А вскоре обрушил Лазарус на сограждан трактат, которым доказывал правильность учения Лютера, в подкрепление чего приводил следующие доводы: Лютер прав потому, что в силу своего сана обязан говорить правду, что действует по велению сердца, а не из корысти и что опирается он только на Священное писание, а не на труды отцов церкви, его искаживших. Ниркгеймер трактат читал. Читая, то смеялся, то чертыхался. Что это за объяснение? Чушь какая-то! Прав потому, что обязан говорить правду! Недоучившийся студент! Но как ни иронизировал Вилибальд, для ремесленников доводы Лазаруса были лучшим доказательством.

Немалая велась в Нюрнберге работа в поддержку Лютера. Обретал он здесь все больше сторонников. Когда в город приехал проповедник Карлштадт, чтобы распространять учение доктора Мартина, то почва была уже хорошо подготовлена. Карлштадт Дюреру понравился: говорил разумно и дельно, не уклонялся от трудных вопросов и на каждый находил вразумительный ответ. Встречались они неоднократно и беседовали отнюдь не на темы живописи. Расстались почти друзьями. Втягивался Дюрер, сам того не замечая, в круговорот городской жизни. Пылились в мастерской начатый алтарь и портрет Максимилиана. Странно, что не разбегались от него ученики, ибо, по сути дела, изучали они сейчас в мастерской не живопись, а труды Лютера. Теперь мастер этому не препятствовал.

Да что там зеленые юнцы! Их, конечно, скорее поднявшийся шум привлекал и желание принять участие в свалке. К движению стали примыкать умудренные опытом люди. Пиркгеймер вдруг изменил свое отношение к Шпенглеру, стал искать его компании, чем привел членов совета в большое недоумение: что-то здесь не так. Что еще задумал этот «нюрнбергский Никколо Макиавелли»? Лазарус тоже был настороже. Лишь Дюрер искренне радовался, что его ученый друг встал с ними рядом.

Теперь всецело находился Дюрер под влиянием Лютера. И своих симпатий к доктору Мартину не скрывал. Накануне рождества получил

мастер неожиданно от курфюрста Фридриха Мудрого пакет. В нем — новая книга Лютера. Простудировав ее, Дюрер написал Спалатину — чиновнику курфюрстовой канцелярии — благодарственное письмо:

«Я прошу Вашу честь выразить его милости курфюрсту мою глубочайшую и низжайшую благодарность и низжайше просить, чтобы он взял под свое покровительство достопочтенного доктора Мартина Лютера во имя христианской истины, которая нам дороже, чем все богатство и власть этого мира. Ибо все проходит со временем, одна лишь истина остается вечно. И если бог поможет мне встретиться с доктором Мартином Лютером, тогда я с усердием сделаю его портрет и выграввирую на меди, чтобы надолго сохранить память о христианине, спасшем меня от великого страха». (Это намерение Дюреру не удалось осуществить.)

Лютер, Лютер — только о нем и говорили в Нюрнберге, словно позабыв, что есть, кроме того, на свете и папа, и император, правда, еще не коронованный — Карл Испанский, уже косо поглядывавший на разгул лютеранства в «своем» городе. Давал через доверенных лиц понять: если так будет продолжаться, если еретическим учениям не будут поставлены препоны, то не быть традиционному рейхстагу в Нюрнберге. Такая угроза — не пустяк, поневоле вспомнишь о благоразумии. А когда прибыли императорские гонцы с приказом готовить коронационные регалии для отправки в Ахен, городские власти спохватились. Вызвали Альбрехта Дюрера и Ганса Крафта в ратушу, объявили им решение совета: отчеканить в количестве ста штук памятную медаль по случаю первого рейхстага, проведенного Карлом V в Нюрнберге.

Так торопились умиловить Карла, что даже не удосужились узнать, есть ли в городе его изображение, пригодное для такой медали. Благо вспомнил Дюрер, что рассказывал ему Шварц о своем намерении отчеканить медаль в честь Карла. Видимо, был у него соответствующий рисунок. И понесся сломя голову специальный курьер в Аугсбург. Что посулил посланец города медальеру, сколько гульденов отвалил ему за весьма посредственный эскиз, осталось для всех тайною. Цель, однако, была достигнута. Теперь Дюреру с Крафтом не составило большого труда изготовить чекан лицевой стороны. С оборотной вышла заминка: повелел совет поместить на ней императорский герб и гербы подвластных Карлу земель, а здесь не дай бог ошибиться. Пиркгеймер от сверки гербов обеими руками отмахнулся: только конфликта с императором ему не хватало! Взялся за дело Стабий, который после смерти Максимилиана оказался не у дел и вот уже больше месяца околачивался в Нюрнберге. Он со всей геральдической премудростью справился отменно, а главное — быстро.

Стали чеканить медаль. Но сделали всего несколько штук — разлетелся на куски штамп с императорским гербом. Второпях его просто перекалили, но у горожан на этот счет собственное мнение: не бывать рейхстагу в Нюрнберге.

За изготовлением нового штампа и застал Дюрера юный живописец Ян ван Скорель, прибывший из Нидерландов, чтобы поступить к нему в учение. Порадовало мастера появление Яна в его мастерской: вот как повернулось дело — раньше немецкие художники учились в Нидерландах, а теперь оттуда едут в Германию. Но неудачное время выбрал Скорель. Не мог оставить его у себя Дюрер, так как окончательно и бесповоротно решил отправиться в Нидерланды на поклон к Маргарите. Рассудил здраво: мало ли что может произойти на рейхстаге в Нюрнберге. Ведь может император и разгневаться на город, тогда уж не видеть художнику жалованья. Лучше упредить события. Маргарита должна знать об услугах, оказанных им ее покойному отцу, она заступится за него перед Карлом. Вот почему не услышал молодой нидерландец ни слова о живописи и не увидел ни одной картины. Вместо этого пришлось ему отвечать на вопросы: не опасен ли путь в Нидерланды, каковы там цены на дюреровские гравюры, дорога ли в Антверпене жизнь? Ушел ван Скорель раздосадованный: ожидал встречи с богом, а предстал перед ним заурядный бюргер. Откуда ему было знать, какие мысли терзали в то время мастера?

После этой встречи еще больше укрепился Дюрер в мысли о необходимости поездки. Скорель сказал: большое влияние имеет Маргарита на племянника. Впрочем, об этом Дюрер слышал и раньше. Только вот беда — ныне, не получив подарка, даже королевские особы никаких дел не решают. А что может подарить Маргарите он, художник-ремесленник? Только один подарок был у него — портрет Максимилиана. Все-таки память об отце должна быть дорога Маргарите. Взялся теперь Дюрер спешно заканчивать императорский портрет. Весь ушел в работу. Благо о сборах не нужно было думать, ибо Агнес неожиданно заявила, что едет вместе с ним, и начала деятельно готовиться к путешествию. Прежде всего купила толстую тетрадь, в какую купцы обычно записывают свои доходы-расходы. Когда супруга этот фолиант вручала, поинтересовался Дюрер: на какой предмет такой подарок? Услышал, что здесь нужно будет записывать каждый полученный и истраченный пфенниг. Разбушевался. Но Агнес невозможно было переубедить, пришлось смириться. Согласился он и с тем, что поедет с ними и служанка Сусанна: не может же Агнес оставить ее одну с этими шалопаями, то есть Зебальдом и Багтелем!

Отъезд пришлось ускорить — в окрестностях Нюрнберга вновь

объявилась черная смерть — чума. Со дня на день могла войти и в сам город. Получил совет Нюрнберга сообщение от Карла V, что-де в связи с чумой решил он проводить первый рейхстаг не в Нюрнберге, а в Вормсе...

ГЛАВА IX,

в которой рассказывается о том, как Дюрер прожил в Нидерландах, добиваясь решения своего дела, как восторженно был принят нидерландскими живописцами и встретил прохладный прием у коронованных особ.

Ехать в Нидерланды Дюрер решил твердо и бесповоротно. Прежде всего из принципа, так как отказ совета города выплачивать ему пожизненную пенсию задел его за живое. Была, однако, и другая причина — страх остаться без средств к существованию к старости, хотя уж это, судя по всему, ему не грозило. Архиепископ Майнцский Альбрехт Бранденбургский заказал ему на рейхстаге в Аугсбурге гравюру со своим портретом. Художник выполнил заказ — создал гравюру на меди, вошедшую в летопись его творчества под названием «Малый кардинал». Когда он отправил оттиски и пластину архиепископу, то получил за них двести гульденов золотом и двадцать локтей Дамаска на кафтан. И ведь не один Альбрехт прибегал к его услугам! Но все-таки в письме к Спалатину художник жаловался: «Теперь мои господа не хотят платить мне сто гульденов, которые я должен был получать каждый год в течение всей моей жизни из городских налогов и которые ежегодно выплачивались мне при жизни его императорского величества. Так что под старость я должен терпеть недостаток, и большое время, и труд, затраченные для его императорского величества, пропали даром. И если зрение и верность руки изменят мне, дела мои будут плохи».

Судя по всему, Дюрер чувствовал себя не особенно хорошо. Еще до этого он жаловался на различные болезни, в частности, сохранился рисунок, видимо предназначенный для врача — автопортрет, на котором художник показывает на селезенку, с надписью: «Здесь болит».

Итак, поездка в Нидерланды теперь была делом решенным.

Рано утром 12 июля 1520 года супруги Дюрер покинули Нюрнберг в сопровождении нескольких фур, на которые были нагружены тюки с картинами, гравюрами и прочими товарами для продажи. Так уж повелось у нюрнбержцев, что никогда они не пускались в путь ради собственного удовольствия. Обоз, который приходилось тащить с собою, раздражал мастера. Он предчувствовал конфликты с таможенниками, которым резонно было предположить, что владелец столь большого каравана должен обладать и туго набитым кошельком. Платить придется полной мерой —

пошлину за проезд по мосту, пошлину за въезд и выезд из городских ворот, пошлину за проезд по дороге. И так далее и тому подобное.

Так оно и вышло. Когда прибыли в Бамберг, кошелек был облегчен наполовину. От огорчения Альбрехт ни о чем другом не мог говорить с Лоренцем Бехаймом. Тот в конце концов придумал, как помочь делу, и, захватив с собою Дюрера и папку гравюр «Жизнь Марии», отправился к епископу Георгу. Епископ остался доволен подарком и отдал распоряжение оплатить проживание четы Дюрер в городской гостинице, а также выписать от его имени подорожную, которая в пределах его владений освободит их от всяких поборов у застав.

Через неделю Дюреры прибыли во Франкфурт. Альбрехт не намеревался задерживаться здесь надолго и поэтому очень опасался, что Геллер пронюхает о его пребывании в городе и заставит выполнить обещанное — отлакировать алтарь. В другое время сам бы напросился, но только не теперь. Тем не менее скрыться не удалось: Геллер, узнав, что Дюрер находится во Франкфурте, прислал слугу, который передал мастеру подарок — кувшин отменного вина. После этого волей-неволей пришлось отправиться в гости. На обратном пути обещал побыть в городе подольше.

В Майнце погрузились на барку, отправлявшуюся в Кёльн. Опять расходы и пререкания с Агнес, которая считала, что муж переплачивает всем этим живодерам. Мог бы он доказать, что это не так. Все расходы и доходы в виде подарков он добросовестно заносил в тетрадь, хотя этот кумир купеческой добросовестности доводил порой художника до белого каления. С трудом заставил себя вписывать туда денежные расчеты. В Майнце только было разложил тетрадь перед собою и стал собираться с мыслями, как появились посланцы Байта Варнбюллера, родственника того самого Варнбюллера, с которым совершил свое второе путешествие в Венецию. Звали на обед. Хотя и не близкое знакомство, но идти пришлось: в нынешнем положении всякий человек мог оказаться полезен.

Утром, когда побежала барка вниз по Рейну, вновь принялся Дюрер за свою тетрадь: записал, что получил во Франкфурте от живописцев вино и битую птицу, а в Майнце расплатился этим подарком с корабельщиками. А больше, похоже, и писать-то нечего. Скучно! Взгляд невольно скользит вдоль рейнских берегов: пришло на водопой стадо, склонились к воде ивы, вдали на вершине скалы виден замок. Вместо цифр записал кратко для памяти — что видел за эти дни, с кем встречался, о чем говорили. Нашел все-таки тетради применение!

У Семигорья причалили к берегу — сделать привал перед Кёльном. Кроме того, у одного из купцов оказались здесь дела. В здешних горах

ломали камень для кёльнского собора. Понурые волы стягивали к баркам огромные белые глыбы. На другом берегу отчетливо вырисовываются контуры могучего замка. По словам старика нищего, топтавшегося возле них в надежде на подачку, в этом замке теперь никто не обитает, а когда-то жил Роланд, паладин Карла Великого, тот самый, что погиб в Испании в борьбе с сарацинами. Старик соблазнял сходить к пещере, где в стародавние времена гнезился дракон, убитый героем Зигфридом. Но для этого нужно было идти довольно далеко в лес. На такую прогулку, неизвестно что сулившую, Дюрер благоразумно не согласился. Прощаясь, старик сказал, что эти горы — последние на их пути, дальше будет равнина. И добавил — когда семь братьев-великанов в далекой древности рыли русло для Рейна, вот на этом самом месте очистили они свои лопаты. А в результате образовалось семь гор. Какие темы для гравюр! Только будет ли время их выполнить?

На закате 25 июля пришвартовались к кёльнской пристани. Дальше барка не шла, приходилось перегружаться. Свалили багаж на набережную, Агнес и Сусанна встали на страже: в Кёльне, как им рассказывали, ловкие воры. Альбрехт же, отправив записку кузену Николасу, стал выяснять, нет ли okazji в Антверпен. Двоюродный брат появился, когда почти удалось столкнуться с одним из корабельщиков. И вовремя: оказалось, что из Кёльна в Антверпен умные люди предпочитают ездить сухим путем — обходится дешевле.

Перевезли вещи к Николасу и предались воспоминаниям. Давно не виделись, было о чем поговорить. Кузен хвалился своими успехами. Провел в мастерскую, показал почти готовый сервиз. И впрямь ничем не уступала ого работа прославленным нюрнбергским ювелирам.

Ночью подсчитал Дюрер, сколько они сэкономили на епископской подорожной. Тридцать три таможенника проявили к ней почтение — не взяли ни гроша. Трое долго вертели в руках: не фальшивая ли? Пошлин не потребовали, однако заставили дать расписку, что предъявленная им бумага подлинная. И лишь один заупряился — пришлось заплатить два гульдена. Вот и выходило, что осталось у них в кошельке целых семьдесят два гульдена.

Наутро, чуть свет, отправились с Николасом осматривать город. Уступил Дюрер настоятельным просьбам кузена — задержался в Кёльне на несколько дней. Город действительно был красив. Стоило им гордиться. Смотрели, как строится собор. Встретили настоятеля монастыря «Босоногих», он затащил братьев к себе полюбоваться творениями местных живописцев. А оттуда сразу же отправились в церковь святого

Северина, где увидели восемнадцать работ кёльнского живописца, имени которого, к удивлению Дюрера, никто не знал, хотя были картины написаны не так уж давно. Как ему объяснили, кёльнские художники работают не для собственного возвеличения, а во славу господ бога. Потому-то живописец, исполнив обет, пожелал остаться неизвестным. А жаль — картины были воистину хороши, хотя и исполнены в старой манере.

Дюрер не уgomонился до тех пор, пока не нашли человека, который работал с живописцем и знал его имя. Картины, понравившиеся нюрнбергскому художнику, были написаны Стефаном Лохнером. Благодаря Дюреру, пометившему это имя в своей тетради, сохранилось оно на века и стало гордостью немецкой живописи. А что касается происшедшего в церкви разговора, то в свое время была сделана о нем следующая запись: в Кёльне «ему показали... одну великолепную и необыкновенно красивую картину и спросили, что он о ней думает. Альбрехт Дюрер от великого изумления едва мог высказать свое мнение о ней. Тогда господа сказали ему: этот человек умер здесь, в приюте (желая тайно уколоть Дюрера, как бы говоря: что бы вы, бедные мечтатели, ни воображали о своем искусстве, вам приходится вести такую жалкую жизнь). О, отвечал Дюрер, это прославит вас навеки, какая великая честь, если вечно будут рассказывать, как презрительно и недостойно отзываетесь вы о человеке, благодаря которому могли бы приобрести славное имя».

В день святого Пантелеймона, 28 июля, покинул Дюрер гостеприимный Кёльн. Николас вышел его провожать за городские ворота. Таможенники, обменявшись несколькими словами с Унгером, пропустили фуры беспрепятственно. Дюрер, однако, по собственной воле преподнес начальнику караула одну из своих гравюр и вина — благо этого зелья у него было предостаточно.

Старик с Семигорья не соврал: горы действительно кончились. Дорога, проложенная еще римлянами, пролегла по цветущему клеверу. Взмахивает на холмы, спускается с них, будто застыли здесь морские волны. Парило немилосердно — того и гляди польет дождь. Поэтому приходилось поторапливаться, обходиться почти без привалов. Заночевали в Бюсдорфе. На следующий день, несмотря на то, что было воскресенье, приказали заложить лошадей и тряслись весь день, торопясь добраться к ночи до Рёдингена.

Все же, как ни спешили, а на дорогу ушла целая неделя — только 3 августа прибыли в Антверпен.

Богатый город Антверпен! Каждый день входят в его порт и уходят из

него корабли. От иностранных гостей в городе смешение языков и вавилонское столпотворение. Еще в Нюрнберге запасся Дюрер рекомендательным письмом к Йосту Планкфельту, хозяину наилучшей здешней гостиницы. Планкфелы отвел им покои — естественно, наилучшие — на верхнем этаже, предоставил в полное распоряжение склад. Сказал, что питаться они могут не в общем зале, а на его половине — ведь они для него не постояльцы, а дорогие гости.

Едва успели встать из-за стола, появился фуггеровский фактор Бернгард Штехер, который получил от своего хозяина письмо с сообщением о скором прибытии Дюрера в Антверпен. Распорядился Якоб Богатый предоставить Дюреру кредит на любую сумму. Деньги фактор принес с собою, но живописец от них отказался. Обескураженный этим отказом, Штехер не знал, что и придумать, чтобы во исполнение поручения хозяина как-то услужить приезжему. Поэтому обещал Дюреру познакомить его с бургомистром Антверпена Арнольдом ван Льере. И сдержал слово. На следующее утро чуть свет поднял мастера с постели гостиничный слуга: бургомистр приглашает его завтракать. Жизнь в Антверпене начиналась по-сказочному: стоило Дюреру что-либо пожелать, тотчас же все исполнялось! Дом с башнями, где жил Арнольд, был великолепен. Бургомистр провел Дюрера по всем комнатам и кладовым. Подчеркивал к месту и не к месту: все это соорудил он на свои личные доходы. С башни открывался вид на пристань и стоящие там корабли. Оказывается, не ради украшения она была построена, а для пользы дела. Поднявшись на нее, узнавал бургомистр, какой корабль прибыл в антверпенский порт, а какой его оставил.

За завтраком напомнил ван Льере: существует в Антверпене гильдия святого Луки, которая объединяет живописцев. Называется она так в честь евангелиста Луки, написавшего портрет богородицы. Еще вчера старшины гильдии просили его разрешить им дать прием в честь Дюрера, и он ответил согласием. В полдень 5 августа появились у Дюрера посланцы гильдии, чтобы сопроводить его, Агнес и Сусанну в ратушу, где их встретили синдик Адриан Херебоутс и придворный живописец правительницы Маргариты Барент ван Орлей, специально прибывший из Брюсселя. Почетных гостей под руки через почтительно расступившиеся шеренги собравшихся ввели в залу. На славу постарались антверпенские коллеги! Ломился стол от вин. Матово блистала серебряная посуда, и били в глаза золотые кубки. Колыхалось пламя свечей, зажженных в честь Дюрера, хотя на дворе был ясный день... Скрипел шелк парадных костюмов, мягко струился бархат, разноцветно переливался атлас.

Взмывали крыльями чаек белоснежные чепцы жен и дочерей антверпенских мастеров. Когда разместились в креслах, поднялся со своего места Адриан Херебоутс и от имени города приветствовал первого живописца Европы, мастера Альбрехта, оказавшего Антверпену великую честь своим посещением. Не изгладится в памяти потомков это событие. Не померкнет в веках слава великого имени. В знак признательности и дружбы делает город Дюреру подарок. По знаку синдика слуги внесли четыре кувшина вина. И начались подношения — сукно, атлас, бесчисленные фляги с вином, картины, посуда.

Каждый спешил засвидетельствовать свое почтение знаменитому живописцу, пожать руку, задать вопрос. Питер Тельс, скульптор и городской архитектор, долго от него не отходил, все пытался выяснить, правду ли говорят, что в Аугсбурге Дюрер по заказу Максимилиана писал картину во всю стену в присутствии императора и что, когда он не смог дотянуться до верхнего края, Максимилиан приказал одному из придворных встать на четвереньки, чтобы, взобравшись на него, мастер закончил свое произведение? И правду ли говорят, что, когда придворный обиделся, ответил ему Максимилиан: дворян он может сделать сколько ему угодно, но из всех дворян, вместе взятых, он не в состоянии сделать хотя бы одного Дюрера? Не успел мастер рта открыть, как вертевшийся подле него Штехер заверил чуть ли не клятвенно, что именно так все и было. Родилась новая легенда.

Грозила эта игра в вопросы и ответы затянуться до бесконечности, но, на счастье, распорядитель пира положил ей конец, начав представлять Дюреру факторов различных городов и могущественных банкиров, проживающих в Антверпене. После всех подошел к Дюреру страсбургский фактор. Шляпу сдвинул на лоб, так что она пол-лица закрывает, а в руку, протянутую для пожатия, сует книгу, вроде бы Дюреру знакомую. Раскрыл ее. Так и есть — «Корабль дураков» с его иллюстрациями. Приподнял фактор шляпу. Конечно же, Себастиан Брант собственной персоной! Но боже, как постарел и изменился!

Потом начался пир, ради которого и собрались. Рядом с Дюрером Барент ван Орлей. Пытались поговорить, но не тут-то было. Все время приходится вставать, отвечая на тосты и здравицы. Только и успел Орлей пригласить в Брюссель. Воспользовавшись моментом, когда гости занялись жарким, изложил мастер придворному живописцу цель своего приезда в Нидерланды. Барент сморщил лоб. Да, Маргарита может многое сделать, к ее советам царственный племянник вроде бы прислушивается. Он же, Орлей, конечно, просьбу коллеги правительнице сообщит. Но сейчас все

при дворе заняты подготовкой к коронации, так что вряд ли здесь можно что-нибудь предпринять до отъезда Карла в Ахен. Спрашивал Дюрер ван Орлея и о Яконо ди Барбари. Он ведь был придворным живописцем у Маргариты. Барент никакого Барбари не знал — до него у Маргариты был живописец Якоб Валх, что по-здешнему значит «итальянец». Впрочем, вероятно, это и был Барбари. Не в обиду будь сказано — вздорный человек. Слишком много говорил о своих талантах, но очень мало сделал. Вот она, участь тех, кому на родине не сидится: был Якоб в Венеции варваром, а в Брюсселе итальянцем, оставался и там и здесь чужим. Жил без родины и умер на чужбине...

Долго длился пир, до той самой поры, когда вышла на антверпенские улицы ночная стража. Стали гасить свечи, предлагая гостям разойтись по домам.

Последующие дни были заполнены до предела. Одно огорчало Дюрера — отсутствие в Антверпене общепризнанного первого живописца Нидерландов, главного старшины гильдии святого Луки Квентина Массейса. Получилось так, что потребовалось тому срочно выехать из города для выполнения заказа. Нет никакого сомнения: если бы мастер знал, что прибудет в Антверпен Дюрер, то задержался бы со своим отъездом. Послан к нему нарочный, но трудно сказать, сможет ли Квентин оставить свою работу. Видя огорчение дорогого гостя, договорился Херебоутс с домоправителем Массейса. Тот, зная, что его хозяин ни в чем бы не отказал нюрнбергскому коллеге, которого искренне почитал, разрешил им осмотреть дом и мастерскую Квентина и по мере своих сил пытался объяснить, над чем художник работает.

Демонстрировал рисунки и эскизы — даже те, что сделал хозяин давным-давно, еще в бытность свою в Италии. Раскладывал их по годам — эти вот использовал Квентин для алтаря, что находится сейчас в соборе святой Девы Марии, а эти вот для картины, заказанной ему купеческой гильдией. Много картин написал Массейс — всех теперь и не упомнишь. Чтобы показать его мастерство, потащили гостя в собор святой Девы. Алтарь был написан в добротной старой манере — для Альбрехта уже пройденный путь. Так что хвалил Дюрер Массейса больше по расчету, чем от чистого сердца. Зато сам собор действительно поразил Дюрера. Пока его осматривал, звучал торжественный хорал — приветствие причта знаменитому нюрнбержцу. Потом поднялись на звонницу, чтобы мог Дюрер увидеть город во всей его красе. Лежало перед ними море, сливавшееся на горизонте с небом, и убегавшие на юг дюны. Показывая Дюреру Антверпен, спрашивал его несколько раз спутник: разве не счастье

жить и работать здесь? Не придавая особого значения своим словам, Дюрер соглашался. К чему перечить, если это и в самом деле так?

Дюрер записал в дневник: «Также церковь Богоматери в Антверпене чрезвычайно велика, настолько, что там одновременно поют много служб и они не сбивают друг друга. И там постоянно происходят роскошные празднования, и приглашают лучших музыкантов, каких только можно достать. В церкви много священных изображений и каменной резьбы, и особенно красива ее башня». Но о работах Квентина не обмолвился Альбрехт ни словом. Избегал он давать оценки мастерам в своих записях — вдруг попадут в чужие руки, да и кто он такой, чтобы судить творчество других. Лучше уж ограничиться записью: «И в Антверпене они не жалеют никаких расходов на подобные вещи, ибо денег там достаточно».

Довелось посетить и аббатство святого Михаила — там тоже были картины мастера Квентина. Оттуда путь лежал в цейхгауз, где назначена была встреча с антверпенскими живописцами. Дело в том, что в эти дни их невозможно было застать в мастерских — трудились они над триумфальными арками, которыми предстояло украсить город, когда после коронации Карл V посетит его. Совет города и Маргарита не поскупились, выделили на эти цели четыре тысячи гульденов, привлекли к созданию арок почти всех мастеров. Не одну неделю уже трудились в цейхгаузе плотники, столяры и краснодеревщики. Но боялись не уложиться в срок. Слишком грандиозен был замысел; например, длина центральной арки составляла четыреста локтей и достигала высоты двухэтажного дома.

Желая помочь коллегам, стал Дюрер в цейхгаузе частым гостем. Критиковал и давал советы. Здесь он и встретился с Томмазо Бомбелли, казначеем наместницы, ревностно следившим за тем, чтобы, упаси боже, не потратили лишнего гульдена. Томмазо от живописи был далек, его интересовали больше дела купеческие — вел он обширную торговлю шелком, и помогали ему в этом братья Винченцо и Герхард. Бомбелли было лестно познакомиться с прославленным художником, и он начал завоевывать его расположение: прислал в подарок гравюр на целых три гульдена и в придачу диковинную шляпу, сплетенную из каких-то заморских волокон. Дюрер ответил на любезность щедро: выразил желание написать портреты братьев и тотчас же получил от Томмазо приглашение на обед. Потчевали такими блюдами, что Дюрер и названий их никогда не слышал. Братьев он нарисовал, заодно и дочь Томмазо Зуту, красавицу нидерландку. Расстались лучшими друзьями. Рисунки, сделанные углем, забрал Дюрер с собою, чтобы закрепить одному ему известным способом.

Хлопотным оказалось это дело — добиваться подтверждения того, что

принадлежало по праву. Помочь обещали все, если, естественно, представится случай. А в ожидании такого случая зазывали на обеды и ужины, будто сговорились откормить его на убой. Не успели у португальского фактора Родриго д'Альмадо посуду после пиршества вымыть, а уж его сотоварищ Брандан чуть ли не за рукав тащит Дюрера к своему столу. От португальцев узнал художник о последних днях Мартина Бехайма, чтимого им с детства. Большой славы достиг Мартин, стал в Португалии членом Совета по мореплаванию, ходил вдоль берегов Западной Африки, одно время был даже губернатором Азорских островов. Брандан с ним часто виделся. Чувствуя приближение смерти, велел Мартин перенести его на морокой берег — сам уже ходить не мог. У самой полосы прибоя поставили его кресло, в последний раз вдохнул Бехайм всей грудью соленый воздух и устремил свой взор к горизонту, туда, где добрый зеленый океан становится злым и черным. Так умер великий космограф из Нюрнберга, человек большой души и огромных знаний.

Рассказывал Брандан и о собственных путешествиях в Африку. Много перевидел он там разных диких. Жалел, что так и не смог посетить земли, открытые Колумбом. А теперь уже поздно — постарел. Путь туда долог и труден, осилить его могут только выносливые. В тех землях много золота. Но Дюрер и сам сможет посмотреть на эти богатства. Испанцы привезли сейчас в Брюссель много золотых вещей, изготовленных язычниками, — выкуп за их царя Монтесуму. Он, Брандан, постарается достать для Дюрера разрешение на их осмотр. О мир, как необъятен ты и чудесен!

Кружится, мечется человек по белу свету, а вот тянет его все равно к соотечественникам, и последним его желанием становится желание лечь в родную землю. Все возвращается на круги своя. Почему же это так? Думает об этом Дюрер, окруженный почетом и преклонением нидерландцев. Думает и за пиршественным столом, и во время работы. А работать приходится много: рисует он португальских, нюрнбергских, испанских и прочих факторов, случайных посетителей в гостинице Планкфельта, самого хозяина и его домочадцев, итальянца по имени Опиций, Николая Кратцера, придворного астронома английского короля Генриха VIII и Августа Скарпинелло, секретаря епископа Алоиза Марлнно, бывшего советником по вопросам теологии у покойного Максимилиана. В отдаленные уголки нидерландских владений доходит весть о его пребывании в Антверпене. В эти дни говорят о нем не меньше, если не больше, чем о самом Карле V. Спешат засвидетельствовать свое почтение простолюдины и вельможи. Прибывший из Лувена купец привез подарок

от Эразма Роттердамского — три картины и плащ испанского покроя. На словах передавал всемирно известный мудрец, что желает встретиться с великим живописцем.

Венцом всего этого преклонения стал визит к Дюреру делегации городских властей Антверпена. Стояли они перед художником, обнажив головы. Сообщили мастеру, что обсудил бургомистр ван Льерс с представителями гильдии святого Луки высказанное Дюрером желание жить и работать в Антверпене и решили они просить его остаться в их городе. Печаль наполняет их сердца, когда видят они, что тратит мастер Альбрехт свое драгоценное время на хлопоты о жалованье. Город предлагает ему не сто, а триста гульденов ежегодно, если он окажет ему честь и станет его гражданином. Ждали ответа. Сказал Дюрер то же самое, что некогда говорил венецианскому дожу: богат и славен Антверпен, великая честь быть его гражданином, гостеприимны и радушны жители. Но пусть поймут его правильно — для него узкий Пегниц дороже широкой Шельды. Не жить ему без красных стен Нюрнберга, его бурга и собора святого Зебальда, где покоится прах родителей. От всей делегации ответил Адриан Херебоутс: они понимают чувства гостя и сожалеют, что своим нескромным предложением омрачили его настроение. Пусть простит он им их бестактность.

И была еще встреча с Себастианом Брантом. Гнал ветер с моря тоскливые тучи, сеял дождем на крыши Антверпена. Может быть, поэтому преобладали в их беседе грустные нотки. Брант не упрекал его, но нетрудно было догадаться: давно ждал — ведь все-таки они старые друзья. А Дюрер, подхваченный каруселью приемов и встреч, медлил с приходом. Говорили в основном о прошлом, но когда заходил разговор о том, как вместе снаряжали в плавание «Корабль дураков», мрачнел Брант, глубже втискивался в кресло и лицо его приобретало виноватое выражение, будто стыдился он, что предал любимое дело — стихи и осмеяние глупости. Да, действительно предал. Стремился к другому — достичь более хлебных должностей и званий: синдик корпорации нотариусов, советник императора, пфальцграф и фактор Страсбурга в Антверпене. Но никогда не пережил он больше той радости и той полноты сил, когда вместе с Альбрехтом они творили, кроили и перекраивали его поэму. Словно оправдываясь, монотонно прочитал Брант строки из своего творения:

Здоровье — клад, но с давних пор
Хворь начеку, как ловкий вор.
И сила — драгоценный дар.

Но где она, когда ты стар?!

Однако не старость пожирала силы Себастиана. Скорее всего это делала хворь. Та самая болезнь, которая, как уже наслышался Дюрер, поражала жителей побережья. Изнурительная лихорадка доводила людей до грани помешательства, лишала их способности двигаться, думать, работать. Не нужно было быть врачом, чтобы увидеть, что Брант тяжело болен. В комнате всю пылал камин, но Себастиан зябко кутался в подбитый мехом плащ. Когда Дюрер начал рисовать, Брант сперва пытался занять его беседой. Но нить рассуждений ускользала от него. Он перескакивал с одного на другое. То говорил о вышедшей недавно книге шванков про Тиля Уленшпигеля, которую сравнивал со своим «Кораблем», и советовал Дюреру проиллюстрировать ее. То несколько раз пытался обрисовать собеседнику те тяжелые последствия, которые может вызвать дальнейшее распространение учения Лютера. Найдутся люди, которые неминуемо воспользуются им для разжигания смут и волнений. Но говоря обо всем этом, Брант неизменно возвращался к мысли поскорее выбраться из здешних гиблых мест на родину. Там, в Страсбурге, он воспрянет духом и телом. Скоро, очень скоро он уедет отсюда. Вещи уже собраны. Беда только в том, что его преемник задержался. Портрет он отказался принять в подарок: собственная физиономия — увы! — ему и без того хорошо знакома.

Вернулся Дюрер в гостиницу в невеселом настроении и к тому же промокший до нитки, ибо дождь так и не перестал, обложной, долгий и нудный. Предчувствие, что и Брант вскоре оставит этот грешный мир, не покидало его. Впрочем, так оно действительно и случилось. Себастиан скончался несколько месяцев спустя в своем родном Страсбурге.

От невеселых дум отвлекло немного письмо Пиркгеймера. Сообщал Вилибальд, что на время расстался с Нюрнбергом и переселился в деревню, где наслаждается природой, переводит Платона и пишет в манере Лукиана «Похвалу Подагре». Действительно, попал Брант в точку, сказавши, что с его легкой руки теперь не только глупость, но и каждая болячка сама себя хвалит. Как следовало из письма Пиркгеймера, вовремя покинул Дюрер Нюрнберг, ибо в нем снова вспыхнула чума.

Складывалось у Дюрера впечатление, что слишком уж предаются нидерландцы приемам и праздничным шествиям, пренебрегая более серьезными делами. Постоянно им о своих просьбах напоминать приходится. Коронация Карла состоится 23 октября, нюрнбергская

делегация, которая должна доставить императорские регалии, уже в пути, а его дело так и не сдвинулось. Одним словом, медлить нельзя, полагаться на обещания нечего, необходимо срочно ехать в Мехельн, резиденцию Маргариты. Да не так просто уехать. Пришли из гильдии святого Луки, отговорили: кто же уезжает из Антверпена накануне праздника вознесения Марии? Такое красочное зрелище он вряд ли еще когда-либо увидит! До конца октября — срок долгий. Уговорили, дав клятвенное обещание, что после праздников они, то есть гильдия святого Луки, добьются для него восстановления императорского жалованья. В самом деле, несколько лишних дней особой роли не играют.

19 августа рано утром запели трубы, завывли флейты, загрохотали барабаны. Планкфельт ворвался в комнату Дюрера с таким видом, будто пожар случился: что же он до сих пор уе на улице? Сейчас от собора святой Девы Марии — как раз мимо дома — двинется шествие. Выскочили за двери — действительно едва-едва успели. Музыка все ближе. А вот показались и представители всех сословий и ремесел. Несли знаки своих гильдий в окружении горящих свечей ювелиры, каменщики, корабельные мастера, рыбаки, мясники, плотники, ткачи, пекари, сапожники, купцы. Огромные серебряные трубы ревели как трубы архангелов в день Страшного суда. Потом пошли барабанщики, открывая парад арбалетчиков, их сменила толпа женщин в белых покрывалах до пят. Планкфельт пояснил: это жены погибших моряков и солдат, которые за время вдовства не запятнали своей чести, потому им такой почет. Замыкала процессию рота самых отважных антверпенцев, своими подвигами прославивших имя родного города. Когда герои скрылись за углом и стихла музыка, молча и торжественно заполнили улицу служители собора святой Девы Марии, Несли святые реликвии. На плечах двадцати человек плыла по городу икона, изображавшая богоматерь с младенцем Иисусом. И вновь зазвучали трубы и ударили барабаны: покатались разукрашенные фуры, а на каждой из них разыгрывали местные лицедеи сцены из Библии.

Целый день шло ликование. Как водится, осыпали друг друга подарками. Дюрер едва успевал принимать подношения и вручать ответные дары. Еще два-три таких праздника, и у него гравюр не останется. Внимание коллег, слов нет, приятно, но ведь не ради него Дюрер приехал в Антверпен. Начал он понемногу брюзжать. Обедая очередной раз с художниками, говорил Дюрер не о живописи, а о всякой ерунде, связанной с императорским жалованьем. Самому было противно. Случившийся однажды на обеде Томмазо Бомбелли слушал его, слушал, а в конце вызвался отвезти мастера в Мехельн и добиться для него аудиенции у

Маргариты. Пусть через неделю будет он готов к поездке.

Точно в назначенный срок, 27 августа, подкатил Томмазо к гостинице в удобной повозке, и отправились они искать правды. Ну и дорожка — сплошные ухабы! После каждого кисти с трудом возвращаются на прежние места. Портрет Максимилиана, предназначенный в подарок наместнице, всю дорогу пришлось держать на руках, чтобы не привезти вместо него мусор, годный для свалки. Но худшее ожидало их в самом Мехельне — придворные сообщили, что уехала Маргарита в Брюссель. Пришлось трястись дальше.

В Брюсселе неожиданно натолкнулись на шумно-веселую троицу: нюрнбергских послов, прибывших на коронацию, — Ганса Эбнера, Леонгарда Гроланда и Николаса Галлера. Видно было, что эти трое времени зря не теряют. За ужином, куда затащили Дюрера, узнал он, что Нюрнберг чуму пережил легко, в этом году она не особенно свирепствовала, что Вилибальда в городе все еще нет и говорят о нем разное: то ли он в деревне сидит, то ли отправился в Рим вымаливать прощение у папы. Оказывается, он и с церковью успел рассориться. Ну и характер — не может мирно жить! Однако существа проступка Вилибальда Дюрер выяснить не смог. Ничего не знали послы толком. А тут появился нежданно еще нюрнбержец Якоб Банизис, друг Пиркгеймера. Да не один — притащил с собою Эразма Штернбергера. Сели к столу без приглашения, бесцеремонно вмешались в беседу. Сразу же испортили Дюреру настроение на весь вечер: оказывается, час назад уехала Маргарита обратно в Мехельн.

Еще раз убедился Дюрер, что нельзя о способностях судить по внешнему виду. Штернбергер оказался посильнее всех прочих. Уже на следующий день Дюрер и нюрнбергские послы осматривали дворец Маргариты. Больше всего поразили их многочисленные фонтаны — таких в Нюрнберге не увидишь. Едва не заблудились в лабиринте — было здесь и такое развлечение. И весело и жутко, особенно если знаешь миф о Тезее. Но Штернбергер их из ловушки вызволил и привел к клеткам со зверями, которых Дюрер не то что в натуре, но и на рисунках не видел. Их привезли из земель, открытых Колумбом. Из дворца бросился в ратушу — посмотреть «Золотую комнату». Вот это и впрямь сказочная роскошь! Но его уже за рукав дергают — дальше, к картинам Рогира ван дер Вейдена! Поглядеть бы неторопливо, но нет, пронеслись галопом, так как нюрнбергские послы спешили к более диковинному, ради чего, собственно говоря, и пришли сюда — скелету диковинной рыбы, которая при жизни весила не менее тридцати квинталов^[3].

Хуже нет, когда одних интересуют звезды, а других их отражения в луже. Какое дело послам до картин, им подавай что-нибудь особенное, чтобы дух захватывало. Поэтому и попали во дворец Генриха VIII Нассауского. По пути узнали, что Генрих своими разгулами даже господ бога вывел из себя, и он уже подавал нечестивому графу знак своей немилости. Во время грозы молния ударила рядом с ним в камень. Камень граф приказал вырыть и перевезти к себе во дворец, но и после этого своего нрава не смирил. Говорит, что теперь с ним ничего не случится, если уж сам господь бог промахнулся. Этот камень им и показали прежде всего. Был он черный, как сажа, опален и с одного боку расплавлен. Провели их затем в зал, где устраивал Генрих оргии, и в спальню, где стояла кровать на пятьдесят персон. Все это было занято, но Дюреру малоинтересно.

А на следующий день увидел Дюрер знаменитый «клад Монтесумы». Спустились в подвал в сопровождении стражи. Впереди сам начальник караула, позади несколько солдат, вида устрашающего и мрачного. Разом вспыхнули факелы, и глаза сами собою закрылись от небывалого блеска. Прямо перед ними — золотое солнце, рядом с ним серебряная луна, оба светила диаметром чуть не по доброму клафтеру^[4]. Ставили перед Дюрером одну за другой странные золотые фигурки, посуду и еще какие-то предметы, назначение которых было неясно. Чудовищные языческие боги пялили глаза и злобно скалили зубы. С боязнью брал их в руки мастер — вдруг над ними тяготеет проклятие! Отменная работа, уж об этом Дюрер мог судить лучше кого бы то ни было. Фигурки казались странными, необычными. Но может быть, там иные понятия красоты? В углу подвала показали им груды обломков: разрубленные мечами и расплюснутые молотом золотые языческие боги и всякая утварь. Объяснили: драгоценный металл освятят, переплавят и перечеканят в монеты. Много потребуется денег императору Карлу V, чтобы держать в узде свою раскинувшуюся на полмира державу.

В верхних помещениях видели они оружие, шлемы, щиты и боевые наряды индейцев, отобранные у заокеанских воинов Кортесом и присланные в дар испанской короне. Смотрел на них Дюрер, а перед глазами маячили расплюснутые языческие боги. Довелось собственными глазами увидеть мастеру то, против чего восставала его совесть: во имя веры гибли бесценные творения человеческого гения. Нюрнбергских послов судьба языческих богов не волновала — здесь все для них было ясно: не христианское не имеет права на существование.

Подавленный, вернулся Дюрер в гостиницу. Приказал никого к нему не допускать и не мешать без особой надобности: собирается работать.

Действительно, хотел по памяти зарисовать увиденное и обреченное на гибель. Но вскоре отказался от замысла — плясали перед глазами языческие боги, скаля зубы в злой насмешке, расплывались их контуры.

Пришлось ограничиться лишь записью в дневнике: «Также я видел вещи, привезенные королем из новой золотой страны: солнце из чистого золота, шириной в целый клафтер, лупу из чистого серебра той же величины, также две комнаты, полные редкостного снаряжения, как-то: всякого рода оружия, доспехов, орудий для стрельбы, чудесных щитов, редких одежд, постельных принадлежностей и всякого рода необыкновенных вещей разнообразного назначения, так что это просто чудо — видеть столько прекрасного. Все это очень дорогие вещи, так что их оценили в сто тысяч гульденов. И я в течение всей своей жизни не видел ничего, что бы так порадовало мое сердце, как эти вещи. Ибо я видел среди них чудесные, искуснейшие изделия и удивлялся тонкой одаренности людей далеких стран. И я не умею назвать многих из тех предметов, которые там были».

Побыть одному подольше не удалось, так как задержать Штернбергера могла бы лишь каменная стена вроде городской, да и то он бы в ней щель нашел. Предстал перед Дюрером, словно из-под земли вырос. Первое — прибыл посланец от Маргариты. О просьбе нюрнбергского мастера ей доложено, и ее высочество соизволила передать, что примет его, как только представится возможность. Второе — Барент ван Орлей просит быть у него завтра на обеде и попутно выражает обиду, что Дюрер, находясь в Брюсселе вот уже три дня, не нашел времени посетить его. Понял Дюрер сообщение Штернбергера так, что Маргарита приказывает ему быть поблизости. Бросился разыскивать Томмазо Бомбелли. А чего его искать, когда он все это время сидел внизу, излагая нюрнбергским послам свой взгляд на европейскую политику, а также на влияние этой самой политики на торговлю шелком.

Скакать в Мехельн на ночь глядя? И чего ради? Времени Маргарита не назначила, до Мехельна не год ехать. Успеют. Послезавтра и отправятся. Пусть лучше идет обедать к Орлею.

К Орлею сходил не напрасно. Правда, никого из брюссельских художников там не встретил, зато познакомился с двумя нужными людьми — церемониймейстером Карла V Жаном де Метенье и казначеем города Брюсселя Гильсом де Буслейденом. И тот и другой о заботах Дюрера были осведомлены, так что заново ему свое дело не пришлось излагать. Они его обнадежили: Маргарита на его стороне, как только кончатся треволнения с коронацией, все решится в его пользу. Просили придворные по этому

поводу отнюдь не беспокоиться и не омрачать тем самым себе пребывание в Нидерландах. То, что Маргарита до сих пор его не приняла, вызвано лишь ее чрезмерной занятостью, но отнюдь не пренебрежением.

Больше к этому вопросу не возвращались. За столом политики обсуждали, сколько денег потребуется на предстоящую в Ахене коронацию и где их ваять. Так что ему с Орлеем была предоставлена полная возможность без помех наговориться о живописи. Барент все сокрушался, что ему пока не довелось побывать за Альпами. Заветной его мечтой было встретиться с Рафаэлем. Считает он его своим учителем. А дело было так: три года тому назад привезли из Италии в Брюссель Рафаэлены картоны, по которым на городской мануфактуре должны были ткать гобелены для Сикстинской капеллы. Месяцы провел Орлей, копируя и анализируя их. В итоге нашел собственный стиль, который понравился Маргарите, и в двадцать лет стал он придворным живописцем.

Получилось так, что сам собою перешел разговор на писание портретов. А Орлей только тем сейчас и занимался, что писал одного вельможу за другим. Они же, как известно, народ весьма занятой, позировать у них времени нет. Впрочем, таким заказчикам легко угодить: была бы на физиономии важная мина, да еще тщательно выписанная мишура, которая подчеркивает их положение при дворе. Приноровились: сначала художник пишет камзол со всеми кружевами и пуговицами, напялив его на манекен, а потом уже приделывает к нему лицо заказчика.

Слово за слово, и согласился Дюрер показать Орлею свой портрет Максимилиана. Сразу же после обеда отправились в гостиницу. Распорол мастер холстину, бережно вынул портрет, поставил у окна. Барент уставился на него в некотором недоумении. Так и кажется, что пожмет сейчас плечами: и это называется великий художник? Конечно, портрет не из лучших, делался наскоро и без огонька, однако, право слово, он не хуже здешних, нидерландских. Но, видимо, недаром говорят, кому много дано, с того много и спросится. Ждут от него необычайного, а то невдомек, что и он человек, и ему приходится порой пресмыкаться перед сильными мира сего, а в таком положении шедевров не создашь. Угодить — вот и вся задача. Не сам ли Орлей жаловался на кружевца да бантики?

Опечалил Дюрера Барент своим непониманием. Долго бродил Альбрехт по Брюсселю, пока не натолкнулся на Якоба Баннзиса. Тот настойчиво стал зазывать к себе на ужин. Отказывался, но от нидерландского гостеприимства не отделаешься. Пришлось все же согласиться. Когда вошел в комнату, где был накрыт стол для гостей, обомлел. И было от чего: стоял перед ним сам Эразм Роттердамский. А он

мало того, что пришел с пустыми руками, но не захватил даже карандашей и бумаги. Роттердамский мудрец ведь не из тех, кого каждый день на улице можно встретить. Эразм, однако, заступился за Якоба — сейчас, мол, не расположен позировать. Он лишь на несколько дней приехал из Лувена, где проживает почти безвыездно — стар, слаб и измучен болезнями. Устал с дороги, и вид не таков, чтобы оставлять его на память потомкам. Лучше уж они побеседуют. Но беседы не получилось. Видимо, не только усталостью можно было объяснить, что старательно избегал философ разговоров о Лютере и прочих церковных делах. Почти весь вечер проговорил Эразм о том, как встречают путешественников во Франции, Германии и в других странах, где ему довелось бывать. Как будто это вопрос первостепенной важности. Не понравились Дюреру нападки Эразма на немцев: суровый они народ и, видимо, своих друзей и гостей стремятся приучить к выносливости. На постоянных дворах у них в один зал набивается человек до ста. Едят по-варварски — все за одним столом, покрытым не скатертью, а парусом, содранным с реи. К тому же в Германии полно пьяниц, которые в харчевнях так поют, галдят, пляшут и топают, что сосед не слышит соседа. Он, Эразм, с содроганием вспоминает свои поездки в Германию, поэтому пусть извинит его Пиркгеймер, что он до сих пор не воспользовался его приглашением.

Вот, пожалуй, и все, чем счел нужным поделиться с ними Эразм. Подумал Дюрер: правду говорят, что великих людей лучше созерцать издали, вблизи же они зачастую хуже обыкновенных смертных. Но после того как Эразм ушел, взял его Баинизис под защиту: опасается, дескать, философ изгнания из Нидерландов, боится жить в Германии, предчувствуя великую смуту. И в разговор о Лютере зря Дюрер пытался его втянуть. Травят сейчас Эразма, будто именно он проложил дорогу немецкой ереси. Доминиканцы и кармелиты предают его имя анафеме. Хотят, чтобы он осудил Лютера. Он же молчит.

На следующий день вместе с верным Томмазо покинул Дюрер Брюссель. На память о нидерландской столице купил мастер за три штюбера два буйволовых рога в серебряной оправе да еще две книги о похождениях Тиля Уленшпигеля. По дороге в Мехельн Томмазо все твердил, что едут они зря. Сейчас, накануне коронации, перед дверями кабинета наместницы полным-полно посланников и вельмож. Тут простым смертным не пробиться! Дюрер был и сам того же мнения, успел понять, что не до него сейчас Маргарите. Тем не менее путь свой в Мехельн продолжил. Ведь все может быть!

Было так, как и предвидел Томмазо.

В Мехельне застали португальских факторов, которые сидели здесь как на иголках — торопились в Антверпен и советовали Дюреру тоже не мешкать: Карл согласился посетить город еще до коронации, ждут его там со дня на день.

Помчались сломя голову в Антверпен.

В гостинице Планкфельта толкучка, как на ярмарке. Кажется, со всего света съехались, чтобы поглазеть на императора.

До приезда Карла нужно было найти подходы к нему. Времени оставалось в обрез. Все куда-то спешили, у всех вдруг дела нашлись. Триумфальную арку установили и наводили на нее последний лоск.

Но у императора не оказалось времени рассматривать работу архитекторов и живописцев. Обратил он внимание лишь на стоявших в нишах арки местных красоток, лишь едва прикрытых флером. Принял их за великолепно исполненные статуи, что побудило его сказать несколько похвальных слов по адресу антверпенских скульпторов. Этим и ограничилась его оценка многомесячных трудов. Никто не мог понять, почему Карл проявлял такую спешку. На торжественном шествии не присутствовал, а с приема в ратуше отбыл, не дождавшись конца. Так что Дюрера ему не успели представить. Эта торопливость обижала привыкших к обстоятельности антверпенцев.

Опять неудача... Будто сама судьба смеялась над Альбрехтом. Пустяковое дело выросло вдруг в неразрешимую проблему. Казалось бы, чего проще — передать прошение и напомнить о нем, а он и этого сделать не мог. Стал подумывать — не бросить ли эту затею, уехать обратно в Нюрнберг, пусть все идет своим ходом. Но потом переменял решение. И причиной этого был откровенный разговор с антверпенскими мастерами. Произошел он после того, как показал им Дюрер портрет Максимилиана. До поездки в Брюссель он избегал выставлять его на всеобщее обозрение — все-таки подарок наместнице. А теперь махнул на все рукой. Художникам портрет не понравился так же, как и Орлею. Но если придворный живописец воздержался от поучений, то они сочли нужным по-дружески дать совет. Видимо занятый важными делами, их коллега не подметил, а другие не решились обратить его внимание, что в нидерландской портретной живописи одерживает верх новое течение. Цель его кратко можно было бы выразить так: заглянуть в душу человека и передать ее суть. Орлей сказал лишь небольшую частицу из того, что ему следовало бы знать. Да, верно, весьма ценятся сейчас и пуговицы, и кружева, и всяческие позументы. Но только не у живописцев, Для них эти портреты всего лишь поделки — жить ведь на что-то надо. Но, работая для

души, стремятся они добиться, чтобы и без этих внешних атрибутов можно было сразу определить, каково положение изображенного человека и каков его характер.

Нет, ошибались и Орлей, и антверпенские мастера: не ускользнуло от него это новое направление. Тот, кто внимательно присматривается к происходящему, не пропустит такого крупного явления. Достаточно заглянуть в его альбом — почти сплошь портреты, здесь и купцы, и философы, и факторы, и простолюдины. Зарисованы с натуры, одни более тщательно, другие — наскоро, только для того, чтобы зафиксировать поразившие художника выражения лиц. Это отнюдь не поиски идеальных пропорций, которыми он занимался раньше, это более глубокое познание жизни. Нет, не так уж прост, не так уж примитивен старик Дюрер. Императорский портрет! Неужели они действительно думают, что он считает его верхом совершенства? Он им еще покажет, на что способен. Если, конечно, даст бог. Поэтому и не уехал в Нюрнберг.

Одно мешает — проклятый возраст. С каждым днем он все больше и больше дает себя знать. Откровенно говоря, боится он теперь встреч с прежними знакомыми, ибо почти каждая из них приносит весть о смерти тех, кого знал, с кем вместе пил, спорил или мечтал. Из Болоньи приехал в Антверпен Томмазо Винчидор, известный в немецких землях больше под именем Томаса Полонира или Болонца. Сидели, рассуждали о живописи и все о тех же успехах нидерландцев в портрете. Как вдруг заговорил Полонир о смерти Рафаэля, приключившейся 6 апреля, о том, как невесты откуда налетевшие наследники, будто сарацины, растащили в разные стороны картины, рисунки, записки. Ничего не оставили. Рассеялось наследие Рафаэля по всему свету, и хорошо будет, если хотя бы часть его попадет в бережливые руки. Знает Томас, как ценили друг друга Рафаэль и Дюрер. Ему бы, Дюреру, владеть наследием итальянского гения. Дал Дюрер Полониру полный комплект своих гравюр, чтобы он переслал их в Рим для обмена на рисунки Рафаэля.

Обременительно для живописца исполнять роль модели, сидеть неподвижно, бездейственно смотреть, как кто-то другой тебя рисует, однако отказать Томасу в его просьбе Дюрер не мог. Работая, итальянец был нем как рыба, и волей-неволей приходилось предаваться своим размышлениям. Думы! Все те же *Memento mori*! — помни о смерти! Как измучило его это напоминание! Почему он так боится этой смерти — разве она не естественный конец всего сущего? Почему он перестал рисовать себя, как только заметил, что паутина морщин затягивает лоб, а пальцы начинают терять прежнюю гибкость? И старости он боится. Может быть, не меньше

смерти. Зачем Полониру его портрет?

Что касается дюреровских гравюр, это огромная ценность на его родине, сказал болонец. Есть люди, которых они приводят в бешенство. Слышал он, по со всей определенностью не берется утверждать, что Микелаид-желю, когда попадают к нему на глаза гравюры Дюрера, рвет их на клочки или сжигает, а само имя Дюрера терпеть не может. Не исключает, что есть в этих рассказах доля правды — нетерпим Буонарроти к чужой славе. Всем известно его ревнивое соперничество с Леонардо. Сказал и осекся, взглянув на мастера Альбрехта. Смотрел тот мимо него отсутствующим взглядом. Не знал Томас, что вызвал в памяти Дюрера самую страшную картину из далеких времен: плыли по каналу обрывки его гравюр, и труд бессонных ночей безжалостные ноги втапывали в зловонную грязь...

В четверг, 4 октября, Дюрер, ни с кем не попрощавшись, вместе с Агнес и Сусанной уехал в Ахен. Его отъезд озадачил антверпенских живописцев, которые решили, что художник обижен их излишней откровенностью по поводу его картины. Другого объяснения они не могли подыскать, ибо Дюреру незачем было так торопиться к коронации — до нее оставалось почти три недели.

Между тем все объяснялось гораздо проще — Дюрер получил письмо от нюрнбергских послов, в котором они приглашали его в Ахен, обещали познакомиться с влиятельными людьми, а заодно показать город, который они, изнывая от безделья и скуки, успели изучить вдоль и поперек. На влиятельных людей Дюрер давно уже перестал надеяться. Но заманчиво было посмотреть Ахен, тем более что все расходы послы брали на себя. Первое время земляки терпеливо выполняли свое обещание. Поводили Дюрера по соборам, откровенно зевая, когда мастер подолгу рассматривал алтари, впрочем, не особенно искусные. Показывали ему руку императора Генриха, рубаху и пояс девы Марии, сохранившиеся здесь как реликвии. В древней капелле долго стояли у колонн. По преданиям, император Карл вывез их из Рима. Дюрера эти гиганты из зеленого порфира и красного гранита интересовали вдвойне: были они выполнены якобы самим Витрувием. Жаль, что нельзя было произвести обмеры, проверить, насколько точно римский архитектор соблюдал установленные им самим пропорции. Откуда было знать Дюреру, что не имел к ним Витрувий ни малейшего отношения и что вывезли их не из Рима, а из дворца Теодориха в Равенне.

На большее у послов не хватило терпения. Отправились шататься по

трактирам — в поисках влиятельных людей. Чаще всего бывали в харчевне «Цум Шпигель»^[5]. Здесь коротали время посланцы разных городов и княжеств, потягивая вино и играя в кости. Если судить по дневнику Дюрера, игрок он был никудышный — проигрышей в записях перечислено несравнимо больше, чем выигрышей. В ожидании счастливого случая развлекал себя тем, что рисовал все подряд: пивную кружку, попавшуюся на глаза, бродячую собаку, забежавшую в трактир с улицы. И конечно, портреты — Христофа Гроланда, сына нюрнбергского посла, Петера фон Эндена, бывшего ахенского бургомистра, Каспара Штурма, императорского герольда. У Штурма был волевой подбородок, никак не вязавшийся с его глазами, синими, мечтательными. Не предполагал Дюрер, что спустя несколько месяцев станет Каспар исторической личностью.

Коронация прошла, как и было ей положено. Много шума и блеска, много всяческой мишуры. Еще больше давки. В соборе — теснота, ничего не видно и не слышно. Зато теперь не кривя душой можно рассказывать, что присутствовал при достопамятном событии. После коронации произошла встреча... Нет, не с Карлом V, а всего-навсего с регистратором его канцелярии Маттиасом Пюхлером, который извел Дюрера уточняющими вопросами. Когда, как и за что был им получен мандат от Максимилиана? Какие работы для него выполнены? Что за них уплачено? А в заключение — просьба подождать еще некоторое время. После этого разговора уехал Дюрер в Юлих, хотя никакой надобности в такой поездке не было. Послонулся по городу несколько дней, вернулся в Ахен. Как раз вовремя: император отправлялся в Кёльн, а за ним все многочисленное собрание. Дюрер принял приглашение послов ехать с ними. Ведь должен он в конце концов встретиться хотя бы с Маргаритой, чтобы вручить ей подарок, который осточертело возить за собою.

30 октября встретил Кёльн нового повелителя Священной Римской империи. В город Карл въехал в сопровождении личной охраны из десяти тысяч всадников и огромной свиты, пересчитать которую не было никакой возможности. Курфюрсты, герцоги, графы, маркграфы, пфальцграфы, епископы, канцлеры следовали один за другим, демонстрируя статность своих коней, соревнуясь друг с другом в нарядах. Император остановился в монастыре кармелитов у Вайдмаркта. Потянулись к нему с поздравлениями и дарами. Хотел было и Дюрер снести туда же портрет Максимилиана, но вовремя одумался: в немецких землях нетерпение — непозволительная роскошь для ремесленника и сына ремесленника. А потом закатили городские власти в честь императора грандиозный бал в Рюрценихе, который вообще-то был складом виноторговцев и кузнецов, но местные

умельцы с помощью пышных декораций превратили его в роскошный дворец. Дюрер с супругой был приглашен на это торжество, помогли ему в этом нюрнбергские послы. Не будь их, кёльнские власти о нем вряд ли бы вспомнили: своих-то живописцев толком не знают, где уж там беспокоиться о приезжих!

Через несколько дней Леонгард Гроланд и Ганс Эбнер отбыли домой — злые как черти. Было у них поручение уговорить Карла свой первый рейхстаг провести все-таки в Нюрнберге — чума ведь закончилась. Но император остался непоколебим: как решил, так и будет. К тому же прочел нотацию, что-де в его городе слишком терпимо относятся к ересям, и потребовал, чтобы власти навели здесь порядок. Вот этим посланцы больше всего были возмущены: Нюрнберг — это не Кёльн, где для того, чтобы угодить императору, отобрали у книготорговцев сочинения Лютера и сожгли на площади. Нюрнбержцы-то свои вольности хранить умеют. Пожелали послы на прощание Дюреру успеха. Хотя, конечно, кто знает, как обернется дело, если принять во внимание нелюбовь Карла к Нюрнбергу.

Нет, если так будет продолжаться, то не увидеть Дюреру подтверждения своей пожизненной пенсии до конца жизни. Последняя надежда у него только и оставалась. До сих пор он не хотел обременять своей просьбой курфюрста Фридриха Мудрого, находившегося в свите Карла. Но теперь оставался у него этот единственный шанс: иначе ведь придется гоняться за Карлом по всей его империи, в которой, как говорят льстецы, никогда не заходит солнце.

Фридрих принял Альбрехта сразу же и без лишних слов понял заботы, терзающие «его» художника. Какие шаги предпринял саксонский курфюрст, осталось для Дюрера неизвестно, только 12 ноября — в понедельник после святого Мартина — разыскал его императорский гонец в доме Николаса Унгера и вручил художнику грамоту Карла V, подписанную, как оказалось, еще неделю тому назад. Говорилось в ней: «После того как почивший всевысочайший князь император Максимилиан, дорогой господин и достославный предок наш распорядился выплачивать любимому нами и империей верноподанному Альбрехту Дюреру в течение всей его жизни сто гульденов из причитающихся нам и империи городских налогов... повелеваем также и мы со всей серьезностью и желаем, чтобы вы отсчитывали и уплачивали вышеупомянутому Альбрехту Дюреру сто гульденов пожизненной пенсии...»

На радости устроил Дюрер пир. Николаса одарил, его дочери дал семь пфеннигов, супруге кузена — целый гульден, даже слуге приподнес гравюру Немезиды, случайно под рукой оказавшуюся.

Через день решили возвращаться в Антверпен. В этот раз Николас советовал плыть по Рейну: сейчас речной путь надежнее, ибо осенняя распутица превратила все дороги в непролазную топь. Последовали его совету — и проклинали все на свете. Холодно. Льет дождь, от которого негде укрыться. Уже в Эммерихе пришлось прервать путешествие. Поднялся ураган, ветер вздымал волны на Рейне, чуть не обнажая его дна. Несколько дней просидели в городишке, где и в ясную погоду делать нечего, а в такую и вовсе от скуки можно удавиться. Когда непогода утихла, поплыли дальше. Вошли в Масс, добрались до Боммеля. Здесь их опять настигла буря. Искушать судьбу дальше Дюрер не захотел — нанял повозку, и потащились шагом по раскисшей дороге.

Только 22 ноября прибыли в Антверпен. Неделю сушили промокшие вещи. Портрет Максимилиана пришлось подновлять — переезды под дождем его изрядно попортили...

Агнес считала, что делать в Нидерландах больше нечего. Ей то и дело рисовались страшные картины опустошения их жилища в Нюрнберге — пожары, набеги грабителей и тому подобное. Она уехала бы домой прямо из Кёльна вместе с нюрнбергскими послами, если бы не вещи, оставленные у Планкфельта, да еще опасение оставить без присмотра мужа.

Клуб гильдии святого Луки, частым гостем которого собирался стать Альбрехт — нужно ведь наконец набраться опыта у антверпенских художников, — приобрел в ее представлении черты некоего вертепа, как только она узнавала, что там постоянно бывают поэты и музыканты, являвшиеся, кстати, членами гильдии. Уговаривать ее пришлось долго, тем более что деньги, взятые из дома, подходили к концу и нужно было изыскивать возможности, чтобы как-нибудь продержаться до весны. Запас гравюр растаял, в основном они ушли на подарки. Правда, был еще выход — взять заем у фуггеровскою фактора, который прямо-таки навязывался с деньгами. Но этот путь Дюрер отверг, ибо он означал кабалу, полное подчинение воле хитрого и назойливого Штехера. А ему нужна была полная свобода. Выход был в том, чтобы свести расходы до минимума. Ведь наверняка возможности еще раз побывать в Нидерландах у него не будет.

Ни о каких оргиях, которых так опасалась Агнес, естественно, не могло быть и речи. Возвратившись в Антверпен, Дюрер всецело посвятил себя встречам и беседам с живописцами. Он присутствовал на заседаниях гильдии святого Луки, посещал мастерские художников. Здесь наслышался он многого о мастере Квентине, с которым так и не мог встретиться. Чем

больше он о нем узнавал, тем большее уважение испытывал. Мастер Квентин царствовал в нидерландской живописи не только потому, что был старшиной гильдии святого Луки. Уважали его и просто как человека, и за бесспорное мастерство, и неустойчивую настойчивость. Любуясь картинами прославленного художника, с трудом верил Дюрер в то, что до тридцати лет Массейс был отменным кузнецом и о живописи в лучшем случае знал понаслышке. И надо же такому случиться, что влюбился он в некую девицу, а его соперником оказался художник. Квентин проявил упорство: ровно через год стал мастером живописи и вступил сам в гильдию святого Луки. Перед этим подвигом во имя любви и любимой трудно было устоять; та, в честь которой он был совершен, отдала Квентину руку и сердце. Человек, рожденный для побед!

Дом Массейса на Шутерхофстраате, который Дюрер еще раз посетил, тоже своего рода достопримечательность. Под потолком — хоровод купидонов. В углу на постаменте — фигура святого Квентина, собственноручно отлитая Массейсом. На надкаминной полке — четыре купидона, держащие в руках различные музыкальные инструменты. Статуэтки? Нет, просто картина, исполненная гризайлью. Но как исполнена! Фигуры обрели объем и жизнь. Домоуправитель рассказывал, что эти медальоны мастер писал ночами, поэтому и избрал серую краску — для работы с нею не нужен солнечный свет. Да, сейчас трудно поверить, как самозабвенно он тогда работал — до головокружения, до рези в глазах. А потом пришла смерть и унесла ту, ради которой он жил. Все потеряло для него интерес. Хотя и сейчас он пишет много, но уже не ищет нового. Молодые встают с ним вровень. К примеру — Лукас ван Лейден, Лука Лейденский.

Это имя Дюрер слышал уже не в первый раз. Слава пришла к Лукасу, когда ему было всего лишь двенадцать лет. Прежде чем встретиться с ван Лейденом, Дюрер изучил гравюры, на которых тот специализировался. Изучил и искренне пожалел, что бог не дал ему Лукаса в сыновья. Работы молодого художника поражали зрелостью, точностью и совершенством. Но когда в доме святого Луки его познакомили с двадцатисемилетним ван Лейденом, скорбь преисполнила сердце Дюрера. Лукас явно не был жильцом на этом свете, смерть уже отметила его своей печатью. Да, правы древние: боги рано забирают тех, кому дали слишком много. Труд, неустанный и яростный, на который подвинул себя с детства ван Лейден, истощил все его силы. С него написал Дюрер портрет, постаравшись прежде всего передать пытливый и одновременно уже угасающий взгляд Лукаса.

Недели через две Дюрер прервал изучение творчества антверпенских коллег. Любознательность погнала его на север. Та самая буря, которая чуть было не вытряхнула из него душу во время поездки по Рейну, выбросила на берег Зеландских островов огромную рыбу. Такой в Нидерландах еще не видели. Не мешкая Дюрер отправился в Берген. Кто знает, представится ли еще когда-нибудь возможность увидеть морское чудовище собственными глазами? Агнес ни за что не хотела отпускать мужа и денег на поездку не дала. Пришлась тайком от нее занять у Бастиана Имхофа пять гульденов и вечером 3 декабря, будто проказливый мальчишка, Альбрехт сбежал из дома, не захватив даже теплых вещей.

В Бергене застрял Дюрер на целых два дня. Ждал попутного судна, которое доставило бы его на острова. Поторопился купить в подарок Агнес платок, лишив себя гульдена и семи штюберов, которые очень быгодились для расчета с хозяином постоялого двора. Договорились после долгих пререканий, что Дюрер вместо платы нарисует ему портрет его самого, его супруги и двух дочерей. Хорошо, что семья хозяина гостиницы оказалась не очень многочисленной.

Вышли в море темной ночью и, отойдя на милю от берега, стали на якорь. Непонятно ради чего проболтались на волнах всю ночь. К утру зуб на зуб не попадал, руки и ноги онемели. А на судне ни сухаря, ни глотка вина. Когда стало светать, не спеша отправились дальше, забегая на каждый из семи Зеландских островов. Наконец повернули к самому крупному из них — и в самый раз, ибо с моря надвигался шторм. Капитан сказал, что именно на этот остров море и выбросило рыбину.

Море, будто осатанев, рвало причальные тросы и со злостью бросало камни на утесы. С трудом закрепив канат, стали переправляться на берег. Почти все сошли — остались лишь Дюрер с сопровождавшим его земляком Кецлером, две старухи с мальчиком да капитан. Но тут море подхватило корабль, стоявший рядом, и, будто щепку, метнуло на их суденышко. Не лопни причальный канат, видимо, закончился бы на этом жизненный путь нюрнбергского мастера. И дальше было не лучше. Потащила их волна в открытое море. Заметались на берегу матросы. Только чем они могли помочь? И что мог сделать капитан, оставшись один на судне, кроме того, как взывать к святому Николаю, заступнику терпящих бедствие. Больших усилий стоило Дюреру добиться от него ответа на вопрос, что делать. Единственное их спасение, сказал капитан, поставить хотя бы малый парус. И ведь поставили! Откуда только сила и сноровка взялись! Побежало суденышко к берегу, а навстречу ему уже спускали лодки. Закрепили канат, и капитан, с которого набожность мигом слетела, помчался, на ходу

рассыпая проклятия, выяснять отношения с хозяином парусника.

Целые сутки бесновалась буря. Когда улеглась, отправился Дюрер, захватив с собою рисовальные принадлежности, на берег смотреть морское чудище. Но его там уже не было — волны вернули диво родной стихии.

Одним словом, вернулся Альбрехт в Антверпен разочарованный. Да еще и слег, по-видимому, надолго. Дорого обошлась ему ночь, проведенная в открытом море. Антверпенские лекари, почти все перебывавшие у ложа мастера, в большинстве своем сошлись на болотной лихорадке, но не могли решить, чем лучше ее лечить. Комната Дюрера стала походить на аптеку: каких только снадобий он не перепробовал за это время!

Что и говорить — денег они стоили немалых. Рождество 1520 года антверпенские живописцы встречали без Дюрера. Более или менее поправился он лишь к масленице. Стал отдавать визиты вежливости всем, кто посетил его во время болезни. Болезнь, похоже, удалось перебороть. Воспрянул духом. А тут подкатили и карнавалы. Самый великолепный устроил португальский посланник Томаш Лопеш для избранного антверпенского общества. Чтобы угодить гостям, выложил он, видимо, чуть ли не сотню гульденов. Зато праздник удался на славу. Слуги не успевали подносить блюда с жарким и кувшины с вином. Правда, никого не неволили: хочешь есть — садись за стол, не хочешь — переходи в другую залу, где сначала танцевали, а затем устроили состязание масок. Вот когдагодились Дюреру уроки танцев, полученные в Венеции. Показал антверпенцам, что искусен не только в живописи, но и в пляске. И за карточным столом оказался удачлив — у некоего Кастеля выиграл целых два гульдена. Чтобы как-то утешить проигравшего, нарисовал его портрет. И других рисовал по правилу Леонардо: чтобы было смешно, удлини и без того длинный нос, а большой рот растяни до ушей. Никто не обижался — на то и карнавал. Некоторые его шуточные рисунки даже покупали. Эх, прошли времена, когда чувствовал себя богачом, раздаривал свои творения каждому встречному и поперечному.

Чертовски везло ему в эту ночь! Родриго д'Альмадо изъявил желание приобрести какую-нибудь из картин Дюрера. Предложил ему написать святого Иеронима и тут же за столом сделал набросок, чтобы мог португалец наглядно представить, какую картину мастер собирается создать. Седой старик сидит за столом в задумчивой позе, показывает пальцем на человеческий череп. Не будет на этой картине ни львов, ни фолиантов — обязательных атрибутов святого Иеронима. Родриго с замыслом согласился. Да, именно такая картина нужна. Полез сразу за деньгами, но Дюрер сделал широкий жест: так между друзьями не водится,

с них он задатков не берет. Сразу же после празднества пришлось приступить к работе.

После масленицы прошел слух, что собирается вскоре прибыть в Антверпен Эразм Роттердамский, чтобы уладить кое-какие дела. Видимо, покидает он все-таки Нидерланды. Остановится, вернее всего, у секретаря антверпенского суда.

Так оно и случилось. От секретаря сразу же прислали за Дюрером — Эразм пожелал с ним встретиться. На сей раз точно зная, что от него потребуется, приказал Дюрер заблаговременно доставить на место принадлежности для рисования, да и сам прибыл задолго до обеда. Эразм появился через полчаса и, как был в шубе, сразу же направился к камину. Холода метр не выносил. Жил на грешной земле, словно мученик, ему бы теплые, вечно благоухающие райские кущи, вот там бы он парил духом, не обремененный зябнущей плотью!

Мудрость неудобна тем, что удерживает простых смертных на дистанции. Не знаешь, как к ней и подступиться. Но Эразм умел преодолевать расстояние, отделявшее его от других. Вот и сейчас, заметив возникшее смущение, философ начал беседу с притчи, которую некогда слышал. Пригласил как-то фламандский богач гостей, и один из них, персона высокого ранга, так близко сел к огню, что загорелся низ его шубы. Знал хозяин, что не терпит вельможа, когда к нему обращаются без разрешения, поэтому робко спросил, не соизволит ли тот выслушать его. И получил в ответ: если весть не из радостных, то лучше поговорить о ней после ужина. Хозяин решил молчать. Когда после трапезы вельможа сам поинтересовался, что хотел сказать хозяин, ему показали огромную дыру на его богатой шубе. Так что, мол, будем без робости говорить о вещах и печальных и радостных. С этим и сели за стол.

Но было мало радости в их беседе. Предстоящий отъезд Эразма из Нидерландов не располагал к ней. На сей раз коснулся философ и Лютерова учения, не вдаваясь, однако, в подробности, хотя, как подчеркнул, ознакомился он с ним самым тщательным образом. Непримируемость рождает насилие. Нельзя, как делает это Лютер, подвергать все огульному осуждению. В этом Эразм видит опасность — и немалую. Может наступить всеобщее одичание нравов, рухнет прежняя мораль, не дождавшись рождения новой. Гонения и преследования станут нормой. К чему далеко ходить? Один из изгнанников — первый, но не последний — сидит здесь. На старости лет приходится распрощаться со всем дорогим — домом, рукописями, книгами. Скоро примутся за августинцев, чтобы не распространяли они учения Лютера. В Брюсселе

уже выражали недовольство деятельностью их приоров — Якоба Пробста и Генриха фон Цутпена... Дюрер, услышав это, опустил глаза — показалось ему, что, говоря о приорах, Эразм посмотрел в его сторону. Да, мастер Альбрехт встречался и с ними, беседовал о вопросах веры. На днях дали ему понять, что этого делать не следует, если хочет он сохранить благорасположение Маргариты. Сбылось предсказание Эразма. Вскоре после отъезда Дюрера Пробст был арестован, но благодаря друзьям бежал в Германию, и Дюрер принимал его в своем доме в конце 1521 года, а Генриха фон Цутпена агенты инквизиции нашли и среди немцев. Он был возвращен в Нидерланды и после пыток сожжен на костре.

Обед постарались не затягивать — знали, что Эразм из-за камней в почках не может долго сидеть. Поэтому и писал и читал он всегда стоя. Когда хозяин дома провел философа и художника в свой кабинет, Эразм сразу же направился к секретеру. Попросил бумагу, чернила и перо: пока Дюрер будет рисовать, он сочинит письмо другу. Нечего зря тратить время. И за работой не оставался Эразм спокойным: то хмурил лоб, то иронически хмыкал. Дюрер наконец получил возможность как следует рассмотреть знаменитого мудреца. Был Эразм роста выше среднего, рыжевatee Дюрера. Несмотря на преклонный возраст, сохранил румянец на щеках, и лишь глубокие морщины у глаз да на лбу выдавали то, что лучшие его годы давно уже позади.

Кончив писать, остался Эразм возле секретера, чтобы дать художнику возможность нанести последние штрихи. Потом не счел за труд побеседовать с ним о живописи и, прощаясь с гостями, повторил то, что сказал Дюреру с глазу на глаз. Как известно, сравнивают мастера с Апеллесом, но он считает это неверным. Выше, несомненно выше древнего грека Дюрер: не велика честь прославиться яркостью красок. А Дюрер достиг такого совершенства, что в состоянии одними чернилами передать все: свет и мрак, форму и содержание. Да что здесь. говорить — разве только это! Подвластны ему солнечный свет, раскаты грома, вспышки молнии и даже человеческий голос. Если кто не верит на слово, может сам убедиться, раскрыв дюреровский «Апокалипсис»!

Договорились, что гравюру Дюрер будет исполнять не здесь, в Антверпене, а дома. Как только Эразм найдет новое пристанище, он напишет Пиркгеймеру, куда следует направить готовый портрет. Но заранее может сказать: в Германии он жить не станет. Получил таким образом художник время для размышления. А подумать было над чем. Дважды встречался Дюрер с Эразмом, и каждый раз представлял тот перед ним в новой личине. Какая из них его собственная?

Полностью переключился теперь Дюрер на «Св. Иеронима». Отказался от искушения изменить композицию, предложенную Родриго, насытить ее деталями. А то ведь он упростил ее до крайности. Будет ли португалец доволен, если увидит вместо святого Иеронима девяностолетнего старца, которого зарисовал Дюрер с натуры в первые дни пребывания в Антверпене и которого Родриго, вые всякого сомнения, не раз встречал на улицах города? Но, тщательно взвесив, оставил все так, как было: времени мало, и деньги нужны. Полонир, однако, пришел от картины в восторг — постиг, мол, Дюрер кажущуюся простоту нидерландцев, за которой скрывается великое мастерство.

Тем временем Агнес и Сусанна с помощью Планкфельта уже упаковали вещи. 16 марта передал Дюрер свой багаж Якобу Геслеру, попросив доставить его в Нюрнберг и передать на хранение Имхофу-старшему.

Назначенный на ближайшие дни отъезд, однако, не состоялся. Как же это так получилось, что досточтимый мастер до сих пор не был в Брюгге? Такой вопрос задал на обеде у аугсбургского патриция Ганса Любера живописец Ян Проост. Дюрер, не найдя себе оправдания, смущенно развел руками. А Ян продолжал искушать: самые лучшие живописцы обосновались в Брюгге. Тот, кто не видел брюггской «Мадонны» Микеланджело, достоин глубокого сожаления. В итоге 6 апреля 1521 года барка уносила Дюрера не по Рейну в сторону дома, а по Шельде — в Брюгге, в гости к Яну Проосту.

Дюрер твердо решил: никаких приемов и встреч — только знакомство с творчеством прославленных мастеров! В «Доме кайзера» видел он капеллу, расписанную Рогиром ван дер Вейденом, в капелле гильдии живописцев — алтари Яна ван Эйка и Ганса Мемлинга. Вместе с Проостом посетили еще несколько церквей. Ян не обманул его: действительно — кто не был в Брюгге, тот не знает нидерландской живописи! Казалось, весь город до отказа был набит картинами. В дневнике, с которым Дюрер теперь не расставался, появилась запись, что видел он и «Мадонну» Микеланджело. Но ни хвалы, ни порицания.

Данный самому себе обет пришлось, однако, нарушить сразу же: далеко за полночь затянулся ужин у Яна Прооста, обедать Альбрехта пригласил золотых дед мастер Марк Глазер. Состоялся прием в честь высокого гостя и в гильдии брюггских живописцев. Коллеги дарили кувшины с вином и поднимали кубки за его здоровье. Тщетно Альбрехт пытался запомнить имена собравшихся, разобраться в этом калейдоскопе

одежд, лиц, голосов. Потом яркие огни стали подергиваться дымкой, перед глазами поплыли зеленые тени, он перестал понимать смысл произносимых слов. Начинался приступ болезни, и Дюрер попросил разрешения удалиться. Весть о недомогании уважаемого гостя мигом облетела стол, и все шестьдесят человек, сидевшие за ним, поднялись, готовые сопровождать его.

Очнувшись утром от тяжелого сна, Дюрер стал собираться в Антверпен, Но оказалось, что надо ехать еще в Гент и что нельзя отказаться от этой поездки, так как его уже ждут, надеются увидеться с ним.

Члены совета гентской гильдии живописцев во главе с деканом вышли встречать мастера к городским воротам. Снова был прием в его честь. И еще одна ночь, проведенная в лихорадке, без сна. Утром 10 апреля он проснулся с твердым намерением возвратиться в Антверпен. Однако не мог лишить себя удовольствия полюбоваться городом, поднявшись на звонницу церкви святого Иоганна. Когда, с трудом отдышавшись, взглянул, преодолев головокружение, вниз, на Гент, лежавший перед ним как на ладони, поразился его красоте.

Сверху ему показывали соборы, сообщали о сокровищах, собранных там. Альбрехт делал вид, что внимательно слушает, по мысли его были далеко. Под конец выразил желание осмотреть мост, на котором обычно казнят преступников, и церковь, где хранился знаменитый алтарь братьев Эйков. Мост не представлял ничего особенного. Правда, там находились две картины, установленные для устрашения граждан: одна из них повествовала о казни отцеубийцы, вторая — о наказании преступника, видимо, известного гентцам. Дюреру они ничего не говорили. В церкви же ему стало плохо. Какая слабость! Тело налилось свинцом. Хочется сесть, закрыть глаза, заснуть. Художник попросил оставить его одного подле алтаря: он сделает для себя несколько зарисовок. Сел на скамью, положил на колени доску с листом бумаги... Механически водил карандашом. Скопировал, однако, не Еву, не богородицу и не бога-отца, на которых обращали его внимание гентские коллеги и которые действительно были великолепны, а льва, к тому же очень плохо и неизвестно зачем.

Во второй половине дня Дюрер покинул Гент.

Снова лучшие лекари Антверпена толпились у постели, снова покачивали многомудрыми головами и заводили глаза к потолку, будто там можно было вычитать, как помочь Дюреру. Агнес не отходила от мужа, и, очнувшись от забытья, он постоянно видел перед собою ее лицо, постаревшее, озабоченное. Временами из мрака вдруг выплывало милое личико Сусанны. Он удивлялся, что ни разу не увидел своих антверпенских

друзей. Удивлялся и снова впадал в беспамятство. Друзья же сидели внизу, готовые прийти на помощь в любую минуту. Они приносили с собою какие-то снадобья, амулеты, травы. Португальские факторы прислали своего врача, но и тот не помог Дюреру. Родриго завалил его сахаром. Как он слышал, кто-то вылечился от такой же болезни, поглощая подслащенную воду. Только в конце апреля больной стал на ноги. Болезнь поглотила все деньги. И к тому же он был обречен на дальнейшее пребывание в Антверпене, так как медики не пускали его в путь.

Нестерпимо медленно тянулось время, тем более что Дюрер почти полностью отказался от посещений антверпенских живописцев, да и рисовал крайне редко. Из гостиницы он выходил мало, проводя большую часть времени на половине Йобста. Вот там и услышал новость, которая едва не уложила его снова в постель.

Приехавшие под троицу в Антверпен очевидцы рейхстага в Борисе сообщили: Лютера нет в живых. Произошло же это так. Отлучив в январе 1521 года его от церкви, папа решил во что бы то ни стало добиться публичного отречения Лютера от еретических заблуждений. Через своего легата Алеандера папа вырвал у нового императора приказ Лютеру явиться в Вормс. На рейхстаге 17 апреля реформатор предстал перед высшим собранием. Едва слышным голосом, без эмоций и интонаций, изложил он судьям основы проповедуемого им учения. Этот тактический прием расценили как сдачу Лютером своих позиций. Алеандер готов был потирать руки в предвкушении победы. Но тут Лютер возвысил голос и произнес заключительную фразу: на том стою и не могу иначе, да поможет мне бог! Реформация подняла знамя борьбы. Рейхстаг объявил Лютера вне закона. Разыгрывая роль рыцаря, который держит данное слово, Карл отправил Лютера из Вормса, дав ему конвой во главе с Каспаром Штурмом, тем самым, которого рисовал и с которым беседовал Дюрер в Ахене. Недалеко от Эйзенаха Штурм приказал конвою поворачивать назад. Императорская охрана ускакала, оставив Лютера на дороге. Внезапно появились какие-то люди, забрали его с собою и увезли неизвестно куда. Были все основания предполагать, что его убили...

Колыхалось тусклое пламя светильника. Дюрер записывал в дневник мысли, одолевавшие его весь день после того, как услышал он рассказ о гибели Лютера.

В эту страшную для Дюрера ночь родился знаменитый «плач по Лютеру» — один из значительнейших памятников немецкой литературы, произведение, написанное не чернилами, а кровью раненого сердца.

«Жив ли он еще или они убили его, этого я не знаю; и претерпел он это

за христианскую правду и за то, что обличал нехристей пап, пытающихся всей тяжестью человеческих законов воспрепятствовать освобождению Христа, также и потому, что у нас грабят плоды нашей крови и нашего пота, так бессовестно и постыдно пожираемые бездельниками, и жаждущие больные люди должны из-за этого погибать голодной смертью. И особенно тяжело мне оттого, что бог пас, быть может, еще хочет оставить под их ложным и слепым учением, выдуманным и установленным людьми, которых они называют отцами, из-за чего слово божье во многих местах толкуется ложно или вовсе умалчивается...»

Дюрер изливал свою скорбь, горевал о несбывшихся надеждах. Тусклый огонек светильника мигнул в последний раз и угас. Дюрер сидел, низко наклонив голову к столу. Не замечал, что за окном уже начался рассвет. Он думал о человеке, с которым недавно встречался и говорил, он размышлял о том, сможет ли он заменить того, кого только что оплакивал.

«О Эразм Роттердамский, где ты? Посмотри, что творит несправедливая тирания мирского насилия и сил тьмы! Слушай ты, рыцарь Христов, выезжай вперед рядом с господом, защити правду, заслужи мученический венец. Ты ведь уже старый человек, и я сам от тебя слышал, что даешь себе еще только два года, когда ты еще будешь в состоянии что-нибудь сделать. Посвяти их на пользу Евангелия и истинной христианской веры и дай услышать твой голос, тогда врата ада — папский престол — будут, как говорит Христос, бессильны против тебя...»

Взывая к Эразму, понимал Альбрехт, что никогда тот не заменит Лютера — слишком осторожен и уступчив. Но где же человек, который поднимет упавшее знамя? Размышления его были прерваны Планкфельтом, крикнувшим еще с порога: жив Лютер! Сидят сейчас внизу купцы из Аугсбурга, принешие в Антверпен весть, что курфюрст Фридрих надежно укрыл реформатора в Вартбургском замке. Не бросил Каспар Лютера на произвол судьбы, а спас, передав под крепкую защиту. Вот ведь как оборачивается дело! Жизнь снова обрела краски, но остались в дневнике горестные страницы — память о тревожной бессонной ночи.

Теперь можно отправиться и на знаменитую антверпенскую ярмарку, на которую давно уже тцетно зазывала его Агнес.

Встретил здесь множество друзей. Живописцы вынесли на всеобщее обозрение картины, граверы стояли за прилавками, расхваливая свой товар. Встала за прилавок и Агнес. Полдня всего поторговала — кончился запас привезенных гравюр. После этого занялась Агнес закупкой различных мелочей, необходимых в хозяйстве. А Дюрер, к своей радости, был предоставлен самому себе. Отправился смотреть, что нового у собратьев по

ремеслу. Задержался у прилавка мастера Хоренбоута — заинтересовали его гравюры. Действительно, мастер умелый, хоть и не сравнится ему с Лукой Лейденским. У Дюрера глаз наметан. Некоторые гравюры по манере исполнения вроде бы Хоренбоута, а все-таки не его. Ученики, что ли? Мастер замялся. Не совсем так: это работы его восемнадцатилетней дочери Сусанны. Быть не может! Богом не дано женщине постигнуть мужское ремесло. Но Хоренбоут зазвал к себе домой. Пригласил Сусанну, приказал ей принести свои рисунки и гравюры. Смотрел Дюрер и дивился: впервые в жизни встретил женщину, которая своим умением могла потягаться с мужчиной. Всего-навсего гульден оставался у пего в кошельке, отдал его Сусанне без всякого сожаления.

Май пролетел — не успели оглянуться. Все! Пора в путь. Рассчитался со всеми, кому был должен. Все-таки пришлось обратиться к Штехеру за деньгами на обратный путь. Много гульденов требует дорога, так много, что даже не по себе становится, когда вспомнишь, сколько таможен предстоит пройти. А с другой стороны, не раз уже приходилось убеждаться: приняв решение, спешу его выполнить, не откладывая на завтра, иначе обязательно что-нибудь да помешает. Так и сейчас случилось. Прибыл гонец от Маргариты: наместница приглашает мастера Альбрехта в Мехельн. Делать нечего — отправился вместе с Агнес. Опять на коленях портрет Максимилиана. Повозка завалена корзинами, свертками, бутылками — Агнес закупила провизии на целый гульден, ибо прослышала, что в Мехельне за все требуют тройную цену.

Запасы негодились — глава гильдии мехельнских живописцев Генрих Кельдермап пряло от заставы повез Дюреров к себе в дом обедать, а потом оставил у себя на все это время. И не захотел даже слушать, когда заговорил Альбрехт про гостиницу. Задержаться же пришлось довольно долго. У Маргариты опять появились более важные дела, чем прием какого-то художника. Мехельн — городок небольшой, они его с Кельдерманом осмотрели меньше чем за полдня. Затем Дюрер побеседовал с живописцами. Побывал у пушечных дел мастера Ганса Попенройтера. Пospорили, есть ли защита от орудийного огня? Альбрехт утверждал, что есть. Попенройтер не соглашался.

Наконец появился слуга из дворца. Захватив портрет, отправился Дюрер на аудиенцию, которой ждал чуть ли не год. Провели его в покои к Маргарите, набитые придворными и фрейлинами. Они не стесняясь принялись рассматривать знаменитого художника, словно заморское чудо. Помедлив, правительница соизволила нарушить молчание. Хотя и говорили о ней, что покровительствует-де она наукам и искусствам и живо

интересуется всем новым в живописи и литературе, но беседа долго не могла сдвинуться с обыденных тем. Как здоровье, как поживает его супруга? Понравилось ли ему в Антверпене? Проговорили так некоторое время, приятно улыбаясь друг другу и произнося мало что значащие фразы. Но совсем по-другому зазвучал голос Маргариты, когда коснулась она положения дел в Нюрнберге. Куда девалась вся любезность! Большой опасности подвергает себя имперский город, становясь на сторону Лютеровой ереси! Ведь не безразлично Нюрнбергу, будет ли он пользоваться милостью Карла, ее племянника, или же на него обрушится его гнев. Нельзя попустительствовать сторонникам Лютера, с ними надо обходиться сурово. Словом, было повторено то, что уже слышали нюрнбергские послы из уст самого императора.

Так вот зачем он был зван во дворец! Прослышав о предстоящем отъезде художника, наместница решила через него довести до сведения нюрнбержцев, что ожидает их, если перестанут они повиноваться. Непредвиденный оборот приобрела беседа, и не знал Альбрехт, что отвечать. Растерялся. Неуклюже протягивая Маргарите портрет Максимилиана, косноязычно вытягивал из себя фразы о признательности и почтении. Наместница бросила на подарок беглый взгляд и отмахнулась от него как от наваждения. Приказав одному из стоявших рядом придворных показать живописцу картины, собранные во дворце, направилась к выходу. Склонились в поклонах кавалеры, присели дамы. Зашуршали юбки, скрипнули двери. Аудиенция окончилась.

С царедворцем-проводатым побрели по многочисленным залам. Только не то состояние духа, чтобы безмятежно предаваться созерцанию прекрасного. Придворный бубнит что-то о непорядках в Нюрнберге. Мастер рас-сеянно кивает головой. Согласен, мол, согласен. А что же все-таки там происходит? Вести оттуда — отвечает — скупы и противоречивы. И Пиркгеймер перестал писать. В другой бы раз перед картинами Яна ван Эйка простоял не меньше часа, а здесь взглянул мельком и прошел мимо. Задержался у работ Якопо ди Барбари. Все-таки напрасно его порицают — был у него свой стиль, и не в пример другим от нового не отрекся италянец, пытался идти в ногу со временем.

Потом прошли в библиотеку-«либерию», чтобы посмотреть миниатюры в старых рукописях. Нет ли у него каких-либо других желаний? Есть: хотел бы увидеть рукописи Валха. Библиотекарь, колебавшись немного, вынес знакомые книги. Да, те самые, которые Барбари показывал ему в Венеции и Нюрнберге. Он пролистал лишь последнюю из них — немногим дополнил ее мессер Якопо за то время, как они расстались! Была

не была! Спросил Дюрер, не передадут ли ее высочеству просьбу презентовать ему эти драгоценные для него манускрипты его учителя и друга. Придворный удалился и вскоре вернулся, неся забытый в кабинете Маргариты портрет Максимилиана. Передал его Дюреру. Что же касается рукописей Валха, то не может ее светлость удовлетворить просьбу Дюрера, так как уже обещала их Орлею. Предложили ему затем пройти в следующий зал, где собрана живопись итальянцев, но Дюрер, сославшись на усталость, попросил, чтобы его проводили к выходу.

В тот же день мастер уехал в Антверпен. По прибытии зашел к Томмазо Бомбелли и обменял злополучный портрет на штуку английского сукна. Кому теперь нужен старый Максимилиан, «последний рыцарь» и покровитель искусств?

И наконец-то — окончательно и бесповоротно — в обратный путь! 2 июля утром Дюрер отправился на пристань, чтобы зарисовать на память стоящие в гавани корабли. И вообще весь этот день он собирался посвятить Антверпену — ведь прожил в нем почти год, а до сих пор не удосужился ни одного вида зарисовать. Едва успел расположиться — зовут. Подошел человек, совершенно незнакомый, представился как Антони, личный слуга датского короля Христиана. Его величество требует к себе. Очень мило! Опять небось портрет нужен! Не хватит ли с него, Дюрера, всех этих высоких особ?

Ворчи не ворчи, а идти надо. По дороге Антони развлекал его повестью о том, как вместе с королем бежал из охваченного бунтом Стокгольма. Было в этой истории все: и яростная погоня мятежников, и переодевания, и морские бури. И Христиан тоже не мог говорить ни о чем другом, кроме своих злоключений, щедро приправляя рассказ ругательствами и проклятиями. Одним словом, спешил он в Брюссель на встречу с императором, чтобы просить его помощи в борьбе с еретиками-шведами. В случае победы Христиана, как можно было предположить, не ожидало шведов ничего хорошего. За каким дьяволом ему в таком отчаянном положении потребовался портрет, этого Дюрер не мог взять в толк. А ведь именно за этим и был зван. Но дальше беседа приняла уж вовсе нежелательный оборот: как видит мастер Альбрехт, вынужден король спешить в Брюссель, поэтому и Дюрер должен отправиться туда же.

Доходы от этого предприятия весьма сомнительны, а расходы уже налицо: требуется новая корзина для провизии, ибо старая до безобразия истерлась. Невзирая на протесты Агнес, в ход идут последние гравюры. Супруге Альбрехт говорит, что едет с самим королем, так что особых расходов не понесет, а из Брюсселя привезет столь необходимые им деньги,

которые получит за портрет Христиана. Наивный расчет: с чего бы это королю взять с собою ремесленника, пусть даже и прославленного! Приходится нанять повозку и дополнительно заплатить ее владельцу-фурману, чтобы быстрее вез. А в дневнике появляется запись: гравюры, подаренные Христиану — пять гульденов, фурман — два гульдена, столько же провизия да плюс корзина и кувшин — один штюбер.

Мечется над Брюсселем приветственный перезвон колоколов — даже уши закладывает. Карл пружинистым шагом поспешает навстречу Христиану. Обнялись. Два союзника — навсегда, до полного уничтожения всех врагов истинной католической веры.

Поселился Дюрер у Орлея, который предоставил в полное его распоряжение свою мастерскую, а в помощь выделил ученика Бартоломея. Только придется ли работать? Но пока все походило на то, что придется. Со слугой Христиан прислал 12 гульденов — на доску, краски и ученика. А вскоре появился и сам — правда, ненадолго. Хорошо, не было здесь Агнес — досталось бы ему, Альбрехту: привык к широким жестам. Из собственных средств выделил двенадцать штюберов на футляр для портрета.

Потом случилось невероятное. Получил Дюрер приглашение на обед, который давали император Карл и наместница Маргарита в честь Христиана. Более того, удостоился даже похвальных слов из их уст. Но после этого о мастере словно забыли, и он просидел в своем углу, размышляя о той чести, которая впервые была оказана немецкому художнику. Неужели повеяли новые ветры и обретает в Германии художник те же права, что и его коллеги в Италии! На память о таком невероятном событии выпросил золотой кубок, из которого пил император. Слуги содрали, правда, с него за этот сувенир втридорога.

На ответном обеде со стороны Христиана он тоже присутствовал. По воле датского короля сидел на этот раз поближе к повелителям империй и мог слышать их разговор. Христиан все выпрашивал: почему же Карл выпустил Лютера, когда тот был у него в руках? Чего проще было положить конец ереси, раз — и готово. Карл хмурился. Не так все просто. Убрать в то время Лютера значило потерять Германию. Но не за горами время, когда они железной рукой сокрушат еретиков. Железной рукой.

Вернувшись от Христиана, уже при свечах, не заботясь о тонкостях колорита, закончил портрет и наутро отнес его королю. Выслушал равнодушно похвалы и получил «щедрую» плату: тридцать гульденов. Нюрнбергские патриции платили по семьдесят!

В тот же день выехал в Антверпен — подальше от всех этих милостей.

Так торопился уехать, что не пожалел трети заработка — возница запросил с него десять гульденов.

Высказывается предположение — и, видимо, обоснованное, — что поспешил Дюрер покинуть Нидерланды, хотя был окружен здесь почетом и мог легко найти заработок, неспроста. Были известны его симпатии к Лютеру, да художник и не старался скрывать их. Власти смотрели с подозрением на его дружбу с антверпенскими монахами-августинцами — записи тех дней в дневнике свидетельствуют о том, что в последние месяцы своего пребывания в Антверпене встречался он с ними довольно часто. В Брюсселе же продумывали меры, как покончить раз и навсегда с ересью. Друзья предупредили Дюрера: могут ожидать его неприятности, и он внял их совету уехать из Нидерландов как можно скорее.

13 июля он и Агнес были уже в пути. Домой! Спешил, опасаясь нового приступа болезни. Даже в Кёльне не стал останавливаться. Николас — добрая душа — взял на себя все хлопоты по погрузке вещей на баржу, отправлявшуюся в Майнц. Упорно настаивал, чтобы кузен побыл это время у него в гостях. Однако Дюрер решительно отказался. Пристроившись на солнышке — от жары вроде бы озноб проходил — рисовал девушку, сидевшую напротив. Позже, уже на барке, присоединил к ее изображению портрет Агнес. Вышла неплохая аллегория — юность и старость.

После этого убрал и бумагу и дневник и больше к ним не прикасался. Укутанный в шубу, лежал на корме, глядя в высокое чистое небо. Воды Рейна шуршали о борта судна. Весь этот жестокий реальный мир вдруг отодвинулся далеко-далеко. Старался мастер не думать ни о покинутом Антверпене, ни об ожидающем его Нюрнберге.

Ему хотелось покоя — только его одного...

ГЛАВА X,

в которой рассказывается о том, как в Нюрнберг пришли смутные времена, как в мастерскую Дюрера проникла «ересь», как возвратился мастер к своим рукописям и как бушевала в Германии Великая крестьянская война.

То, что покоя не будет, Дюрер понял сразу, как только прибыл в Нюрнберг. Находясь в течение года вдали от него, он не представлял, как сильно брожение, вызванное распространением захватившего город Лютерова учения. Император беспокоился не зря. Сторонники католической веры все еще правили Советом сорока, но с каждым днем утрачивали свое влияние. Горожане терпеливо и вроде бы с интересом выслушивали их нравоучения, а поступали по-своему. У совета уже не было силы наводить страх на непокорных. Приходилось лишь делать вид, что все идет так, как задумано на его совещаниях. Патрициям оставалось одно — выжидать, хотя это было опасной тактикой. Ведь и в их среду все больше проникала «ересь». Императорская помощь — Дюрер не считал нужным скрывать содержание услышанного им в Брюсселе — по мнению многих, могла опоздать. К тому же в патрицианских домах боялись кровопролития. Карл появится и уйдет, а им-то придется оставаться в стенах города с обозленными простолюдинами. Желание душить и опасение самим быть удушенными парализовало волю знатных. Прежней ясности не стало.

Пиркгеймер был также охвачен этими противоречивыми настроениями. Одно дело — грызться со своими противниками в совете, другое — оказаться лицом к лицу с разъяренным плебсом. Прекрасно зная историю Древнего Рима и события в современной ему Италии, он лучше других отдавал себе отчет в том, чем может все это кончиться. Прежний задира и забияка сейчас походил на волка, загнанного, уставшего бороться. Он был взвинчен до крайности. Слушая рассказ Дюрера о Нидерландах, не мог усидеть на месте, беспрестанно вскакивал и даже не ходил — почти бегал по комнате, бормоча что-то о лжепророках, толкающих Германию к гибели, лжедрузьях, предавших его, Вилибальда, и крестьянах, уже наточивших ножи. Видно было, не интересуется его ни Маргарита, ни все нидерландские проблемы, вместе взятые, — собственные заботы не давали ему покоя. Проявил внимание лишь к рассказу об Эразме: роттердамский мудрец прав, тысячу раз прав, что отказывается ехать в Германию, а тем

более жить в ней.

Да, много событий произошло за то время, пока Дюрер пребывал в Нидерландах, решая свои дела и обмениваясь опытом с антверпенскими коллегами. Уезжая из Нюрнберга, он оставил Вилибальда в боевом настроении. Пиркгеймер был полон стремления осуществить реформу городского правления, склонялся больше на сторону Шпенглера, чем тех, кто выступал против Лютера. Вернувшись, Дюрер нашел своего друга в другом лагере. Из писем, которыми его еще баловал Пиркгеймер в начале путешествия, у художника сложилось впечатление, что Вилибальд ведет безоблачную жизнь в своем сельском уединении. Правда, есть у него какие-то неприятности с церковью. Но, зная задиристый характер друга, Альбрехт не придавал этим сообщениям особого значения. В ту пору неприятности с Римом могли быть у людей и более покладистого нрава.

Оказалось, однако, что эти неприятности имели гораздо большие размеры, чем он предполагал. Только здесь, в Нюрнберге, Дюрер наконец понял, что предостережения друзей и волокита, с которой велось дело о подтверждении императорского «мандата», объяснялись прежде всего тем, что его рассматривали как ближайшего друга Пиркгеймера и Шпенглера. Он понял также и то, что ему предстоит выбор дальнейшего пути. Перед самым его приездом в силу сложившихся обстоятельств вновь произошел — видимо, уже окончательный — разрыв между Вилибальдом и Лазарусом.

Заигрывание Пиркгеймера со Шпенглером, в основе которого лежало всего-навсего стремление обрести союзника в борьбе с противниками в совете — большего Вилибальд и не хотел — в конечном итоге обернулось для патриция плачевно. Удар можно было бы еще отвести, если бы Пиркгеймер обладал тем же чутьем к политической обстановке и той же изворотливостью, что и Эразм Роттердамский, соратником которого он себя считал. Подобно ему, Вилибальд не хотел потрясения основ империи и стоял за то, чтобы путем просвещения и полемики улучшить нравы и устранить злокачественные наросты. Лютер делает то же самое? Хорошо, можно поддержать и Лютера, пусть и не соглашаясь с ним. Когда же увидел, что такая поддержка далеко не безопасна, было уже поздно.

Началось все весело и по-детски беззаботно. Прошел слух, что одним из авторов «Писем темных людей» — злой сатиры на ученых клерикалов — является Пиркгеймер, хотя и вышли они как сочинение просвещенного рыцаря, известного гуманиста Ульриха фон Гуттена. Всем ведь было известно, что в последнее время Вилибальд уже очень часто посылал Ульриху какие-то объемистые пакеты. Так оно было или не так, но

Пиркгеймер этих слухов не опровергал, и, естественно, тотчас был зачислен в сторонники Лютеровой «ереси». Когда же появилась злая и едкая сатира «Стесанный Экк» («экк» — по-немецки «угол»), направленная против основного противника Лютера, то в Нюрнберге не было никакого сомнения в том, что написал ее Пиркгеймер: стиль явно его, да и шуточки, которыми была нашпигована книга, в его духе. Там Экку «стесывали углы» — били, рвали волосы, драли зубы, урезали язык, ставили клистир. Под конец собирались оскотить, но удрал Экк в монастырь. Может быть, и простил бы Экк Пиркгеймеру как прежнему другу все эти гадости, однако автор сатиры бросал на него подозрение, что-де в душе он сторонник Лютера, а борьбу против реформатора ведет, чтобы согреться в лучах чужой славы. Этого Экк простить не мог.

Вскоре прибыл в Нюрнберг гонец от епископа Бамбергского и предупредил Пиркгеймера: Экк получил проект папской буллы об отлучении Лютера и его сторонников от церкви и вписал в нее имена Пиркгеймера и Шпенглера как авторов памфлетов в защиту лютеранства. Пиркгеймер поблагодарил за предупреждение и объявил: не он сочинитель «Стесанного Экка». Просто некий начинающий поэт занес ему как-то эту рукопись, а он ее лишь издал, чтобы помочь бедолаге заработать. Однако на всякий случай вместе со Шпенглером сочинили письмо к епископу, в котором просили его отпустить их грехи. На этом Вилибальд успокоился — сколько раз он попадал в передраги, ничего, пока что с рук сходило. Уехал в свое сельское уединение читать Платона и переводить Лукиана.

Однако не обошлось. Совет пригласил Пиркгеймера и Шпенглера. Не желая портить отношения с императором, приказал им принести публичное покаяние, как того требует Экк, отречься от Лютеровой «ереси». Они отказались. Вилибальд, правда, заявил: покаяться он готов, однако не публично. Решил тянуть, насколько возможно. 10 декабря 1520 года предал Лютер огню папскую буллу с угрозой отлучения, а 3 января 1521 года папа свою угрозу осуществил. Вместе с Лютером были отторгнуты от церкви Пиркгеймер и Шпенглер как враги истинной веры. Вот тут Вилибальду стало не до шуток. Теперь его из Нюрнберга не только Нютцель — кто угодно мог вышибить. Пал на колени перед папским нунцием: милости и прощения! Будет верно служить Риму, Шпенглера знать не хочет, от всего отрекается и навек будет верным истинной вере. Нунций обещал свое заступничество. И начались для Пиркгеймера мучительные дни, недели, месяцы ожидания. К возвращению Дюрера дело еще не было решено. Терзаемый болезнью, со всех сторон окруженный противниками, осыпаемый упреками со стороны Шпенглера за измену их общему

начинанию, осознающий, как растет грозный враг всего патрицианства, Вилибальд озлобился и видел спасение от всех бед в наведении порядка силой и в упрочении прежней веры. Это еще больше отдаляло его от Шпенглера, с которым он и без того никогда не был близок. Лазарус отвечал презрением и с удивительным упорством продолжал начатое.

Дюрер оказался между двух огней. Понимая, как важно приобрести знаменитого художника в союзники, Шпенглер стремился посвятить его во все тонкости учения Лютера и находил благодатную почву, ибо симпатии Дюрера к человеку, освободившему его от «страха», не угасали. Но с другой стороны стоял Пиркгеймер — давний, испытанный друг, знаниями и опыту которого Альбрехт безусловно верил. Вилибальд наставлял: сейчас, как никогда, нужно быть осторожным, не следует поддаваться на красивые слова, хватает завистников и у Дюрера. Послушаешь всех — на крест готовы вместе идти. Только откуда потом берутся подлые доносы? Да, непросто стало жить в Нюрнберге!

Нужно было во всем разобраться, взглянуть пристальнее на происходящее, включиться в разгоравшуюся борьбу или остаться в стороне от волнений. Это Дюрер, однако, на время отложил, так как надо было сначала привести в порядок свои личные дела. Дом его, конечно, не разграбили. Но за время отсутствия хозяев он пришел в большой упадок и запустение. Вольф Траут, которого он просил присматривать за мастерской и учениками, умер. Кстати, учеников у Дюрера теперь стало трое. К братьям Бегамам прибавился Георг Пенц, который самовольно поселился в дюреровском доме и теперь доказывал хозяину, что его заветной мечтой всегда было учиться у такого прославленного мастера. Оставил. Однако на резкие слова не поскупился: ученики называется! Развели грязь! Нигде порядка нет!

Конечно, не случилось бы всего этого, если бы не занемогла теща. Думал, что опять чем-то не угодил Ганне Фрей, когда она, сославшись на головную боль, ушла из-за стола, накрытого по случаю возвращения. Оказалось, не блажь это. Протянула она еще шесть недель и скончалась. Разумеется, было Агнес все это время не до дома. А после смерти матери слегла и сама. Неуютно, холодно в их жилище. Пыль легла плотным слоем на столы, скамьи, лари. И зачастил оставшийся одиноким Ганс Фрей. Рассказывал в основном о своих снах, в которых неизменно появлялась Ганна и звала его к себе. Обычные запоздалые сожаления!

Кое-как с помощью своих нерадивых учеников навел Дюрер порядок в мастерской. Как раз в это время Вилибальд особенно сильно донимал

сетованиями на клеветников и предостережениями от них. Видимо, потому, что переводил Лукианов труд «Против клеветы, или О том, что говорящим о других только худое не следует верить». А может, и вспоминал недавние невзгоды. Все-таки получил Пиркгеймер долгожданное прощение от папы.

Спокойствия на душе не было. Чтобы отвлечься от тревожных дум, Дюрер начал писать алтарь. Собственно говоря, не сам алтарь, ибо никак не мог выбрать сюжет для его центральной части — может быть, мадонна в окружении всех святых, а может быть, распятие Христа? Делал наброски для створов — с одной стороны святая Аполлония, а с другой — святая Анна. Для нее в качестве модели взял Агнес в траурном одеянии. Но валилась работа из рук. Бывает так, будто что-то мешает: кажется, возьмешь кисть в руку, и заплещет она по доске. Не тут-то было — мазка за день не положишь. Даже обрадовался, когда отвлекли — предложил совет изготовить эскизы для росписи одного из залов ратуши, по его собственному усмотрению. Художник предложил совету две темы — «Клевета на Апеллеса» и «Триумфальное шествие». Удивились, пытались разгадать, что они могут значить, ничего не поняли и согласились. Но дальше черновых набросков дело не пошло. Обиделся мастер на совет — представил им подтверждение Карла, за которым ходил за тридевять земель, а ему опять бубнят: денег нет и неизвестно, когда будут.

Вскоре после этого изготовил Дюрер рисунок для Пиркгеймера. Лежит на наковальне человеческое сердце, а по нему с размаху бьет Зависть, рядом стоит Несчастье, а в сторонке виднеется Утешение и показывает перстом на небо: то ли там рассудят, то ли там воздастся — понимай как хочешь.

Вот, пожалуй, и все успехи. Другим был занят. В это время в Нюрнберге каждый занимался чем угодно, только не своим делом. Взять хотя бы учеников — совсем отбились от рук. Сначала побаивались мастера, а потом даже и при нем стали спорить и читать «еретические трактаты». Одну из книжонок Дюрер отобрал: «О мельнице господа бога». Хотел уж выбросить, да заинтересовала помещенная там гравюра: на ней рядом с Христом и апостолами, которые засыпали зерно в жернова, можно было узнать Эразма Роттердамского в виде мельника и Лютера в виде пекаря. Интересно, хотя рисунок, на его взгляд, был сделан из рук вон плохо. Потом стал читать. Видно было, рад сочинитель: наконец-то заработали жернова, а то они так долго были неподвижны, что приходила в голову мысль — жив ли мельник. То, что жернова завертелись, видел Дюрер и без книжки, только вот что дальше будет? И так мир будто с ума сошел. Одна весть страшнее другой: турки взяли Белград, рвутся к Вене. Датский король

Христиан с помощью императора вернул себе Стокгольм и пустил кровь «еретикам». О христиане, чем лучше вы турок? А в октябре 1521 года августинцы в Виттенберге отменили мессу. Как же без мессы? Испокон веку была, и вдруг не стало...

И в довершение всего совет сообщил: город отказывается от услуг мастера Альбрехта по росписи ратуши. Почему? Мол, не время. Но в Нюрнберге ничего долго в тайне не держится. Узнал Дюрер: этот заказ намерен совет передать другим живописцам, которым можно заплатить подешевле. И до этой новости Дюрер работал через силу, а теперь и совсем забросил мастерскую. Стал частым посетителем «Гюльден Хорна» — приходил сюда, конечно, не пить, а слушать. Хотел разобраться: что же происходит? В «Хорне» много новых лиц. Взять, например, некоего Ганса Денка.

Еще до истории с Экком Пиркгеймер зазвал этого самого Ганса Денка в Нюрнберг просвещать горожан относительно Лютерова учения. С помощью Вилибальда определили Ганса шульмейстером (смотрителем) школы святого Зебальда. В его лице надеялся Вилибальд обрести соратника, умного и энергичного. Но Денк очень скоро переметнулся на сторону Шпенглера, недовольный тем, что Пиркгеймер лишь заигрывает с лютеранством, но не борется за него. Однако и с Лазарусом они недолго были вместе — и тот для шульмейстера оказался слишком умеренным. По мнению Денка, все нужно было ломать до основания, а Шпенглер лишь чинить собирается. Пиркгеймер повороты Денка объяснял просто: всякая курица на насест хочет, ради этого других готова спихнуть. Злобствовал Вилибальд, но уже ничего не мог изменить в том, что признали в Нюрнберге Денка одной из светлых голов Реформации.

Дюреру шульмейстер понравился. Дельно говорит, и есть истина в его словах: пора, чтобы крестьяне и ремесленники обрели свои права — ведь люди рождаются равными. Еще больше сошелся с Денком, когда прибыл в Нюрнберг Карлштадт. Проповедник остановился у школьного смотрителя. Помнил мастер, с какой похвалой в свое время отзывался Карлштадт о его труде. Кроме того, стало ему известно, что Карлштадт одну из своих работ посвятил ему, Дюреру, а в беседах неоднократно заявлял: восхищен он работами нюрнбергского живописца, подвигнувшего себя на подвиг, угодный богу, сверх всякой меры ценит его мастерство. Поэтому отправился Дюрер к Денку, чтобы поблагодарить Карлштадта за те слова, которые он сказал о нем.

Боже, как изменились люди за это короткое время! Даже думать стали иначе. Надеялся Дюрер, что после беседы с Карлштадтом многое для него

прояснится. Напрасно. Еще больше запутался. Оказывается, и мастер уже стал нехорош. Порицал Карлштадт его за то, что слишком осторожен, слишком заискивает перед сильными мира сего. И вот здесь впервые услышал Дюрер имя Томаса Мюнцера. Карлштадт привез в Нюрнберг его «Пражский манифест» и теперь растолковывал содержание манифеста собравшимся. Без права на помилование, говорил Карлштадт, осуждает Мюнцер в этом труде «церковь избранных», священнослужителей, усвоивших слова писания, но ключ к их пониманию потерявших. Восстановить Христовы заповеди дано лишь народу. Уже избрал бог из его среды пастырей, и затлела та искра, из которой возжжется очистительный огонь. Время жатвы настало! Уже наточил Мюнцер свой серп, уже заявил о том, что готов ко всему — насмешкам, гонениям, тюрьме, пыткам и даже смерти. Не боясь всего этого, поднимает он знамя борьбы, в ней — его жизнь и судьба.

Да, наточил свой серп Мюнцер, но не только ради обновления религии и утверждения новых догм. Не привлёк бы он этим к себе столько сторонников из крестьянских и ремесленнических низов. Видели они в нем прежде всего переустроителя земной жизни, человека, призванного изменить к лучшему ту жизнь, в которой они прозябали.

Карлштадтовы проповеди выплескивались из школы святого Зебальда, становились предметом толков и пересудов, внушая беспокойство городским властям. К ним прислушивались приезжие крестьяне, городские ремесленники. Речь шла уже не только об обновлении веры. Шенглер высказывал мнение, что пора бы Карлштадта убрать из города, но совет не решался действовать. Проповедник задержался в Нюрнберге дольше, чем предполагал. Дороги развезла распутица. Зима не спешила. Снег, робко пытавшийся прикрыть опустошенную осенью землю, таял, едва коснувшись ее. Морозы ударили лишь в начале декабря. Карлштадт уехал, его сторонники остались.

Через день узнал Нюрнберг, что папа Лев X скончался. Город затих, на этот раз не в сладком предвкушении рождественских праздников, стоявших у порога, а в тревожном ожидании.

9 января 1522 года на папский престол поднялся новый преемник святого Петра — Адриан VI. Немец, бывший наставник императора Карла. Направляясь в Рим, приказал не оказывать ему пышных почестей, не встречать его триумфальными арками. Деньги надо беречь, сказал новый папа и этой фразой поверг всех в изумление. А вскоре стало известно, что Адриан выступил за очищение церкви, превращенной, по его словам, в вертеп. Якобы, ознакомившись с положением дел в Риме, заявил он о своем

намерении сложить с себя звание папы. Адриана упростили остаться.

На первых порах казалось, что признание Адриана должно принести успокоение: сам Рим тоже за очищение авгиевых конюшен. Стоит теперь навалиться на скверну всем миром, и наступит всеобщее благоденствие. Тщетное ожидание! Трещина, пробежавшая по Европе после тезисов Лютера, с каждым днем все расширялась и теперь грозила превратиться в пропасть. Прежние друзья становились врагами, враги — друзьями. На заседаниях Большого совета, который, к ужасу патрициев, обретал все большую силу в городе, наблюдал Дюрер, как накалялись страсти. Давно бы рухнул Совет сорока, раздираемый противоречиями, если бы не Шпенглер, умевший примирять непримиримое.

Друзья становились врагами... Ушел Штаупитц, недовольный тем, что по призыву Карлштадта в ряде городов стали служить мессу на родном немецком языке, а в других и вовсе от нее отказались. Отступника сразу же приняли в орден бенедиктинцев и вознаградили аббатством в Зальцбурге. Среди прежних его сторонников в Нюрнберге этот поступок вызвал единодушное осуждение. Клеймили его кто как мог. Выслушав страстную речь Лазаруса в осуждение предателя, Дюрер бросил в огонь Штаупитцевы книги, которые хранил, несмотря на то что были они внесены папой в индекс книг запрещенных. Легко сделать этот жест, но вот только не выбросишь точно так же мысли, посеянные некогда человеком, которого почитал он учителем. Где она — истина?

Но даже это было пустяком по сравнению с тем, что он вскользя услышал: 22 февраля 1522 года в Виттенберге распаленный проповедями Карлштадта люд выволок из соборов и церквей алтари, изображения святых и мучеников и под улюлюканье и кощунственные песни сжег их на площади. Услышав — не поверил. Он, Дюрер, лучше других знает, как высоко ценит Карлштадт труд живописца, своими ушами слышал, как говорил тот о живописи всего три месяца тому назад! Но — увы! — было это правдой.

Бывший ценитель его мастерства, ссылаясь на библию, теперь доказывал: помещение картин в церквях — нарушение заповеди «не сотвори себе кумира». Истинная вера велит: сокрушите идолов, оскверняющих божий храм! Так черным по белому было написано в последней книге Карлштадта. Дюрер читал ее содрогаясь. Вслед за Виттенбергом «сокрушение идолов» началось в других городах. Волна катилась к Нюрнбергу. Художник мысленным взором уже видел безжалостное лезвие топора, впивающееся в его алтари, слышал мучительный стон раскалываемого дерева, а ноздри обоняли запах горячей

краски. Всю жизнь он думал, что служит богу, а оказалось, что тешил дьявола. Свет померк.

По-прежнему каждый день он заходил в свою мастерскую. Нет, теперь он даже и не пытался работать. Ставя одну за другой на мольберт картины, он подолгу рассматривал их. Пытался постигнуть: в чем же греховность его труда и почему он вдруг стал никому не нужен? Ученики, видимо, догадывались, что творится в душе у мастера. Зебальд Бегам делал попытки утешить его. Ведь Карлштадт говорит только об алтарях. Но разве художник писал одни алтари? Остаются еще портреты. Остаются картины, изображающие то, что происходит вокруг. Да, конечно, это так, но ведь речь об ином. Им, молодым, легче расстаться с прошлым и его традициями, они просто не знают их. А для него алтари, несмотря ни на что, продолжают оставаться высшей формой творчества. Алтарь вечен, он постоянно на виду у людей, это незыблемый памятник живописцу, создавшему его. Он — душа художника, остающаяся жить на земле после его смерти...

Не нужно было обладать глубокой проницательностью, чтобы понять: катится Священная Римская империя к братоубийственному раздору. Дело даже не в Лютере, он, в конце концов, не призывает хвататься за ножи, но вот те, кто подхватил это учение и пошел дальше, берутся за оружие, им ненавистно старое. Сейчас жгут алтари, а завтра? Куда направится их гнев и разбуженные силы? Советники императора ответ нашли: на неверных, на турок! Перед лицом этой опасности должен оставить христианский мир свои распри, объединиться под знаменем креста.

Итак, новый рейхстаг! Чтобы показать, что император чтит традиции, было решено открыть его в марте в Нюрнберге. На этот раз не украшал себя город по случаю столь знаменательного события, не ставил триумфальных арок и не чеканил медалей. Да и опять не увидит он императора — сам-то Карл остался верен себе и не собирался отбывать «нюрнбергскую повинность», возложенную на властителей Священной Римской империи «Золотой буллой». Война с французским королем якобы мешает ему посетить Нюрнберг. Вместо себя он направил специального посла.

Рейхстаг целый месяц топтался на одном месте. Сошлись на том, что на турок все-таки надо идти. Новый крестовый поход! Отставить раздоры, да обнимутся христиане перед лицом грозящей опасности! Рейхстаг принял решение собраться опять осенью в Нюрнберге, и с тем князя разъехались.

В доме на Главном рынке — свое собрание. Приехавший из Вены Иоганн Чертте негодовал: что же мы, немцы, делаем? Опасность у ворот наших городов, а мы затеяли свалку! Турки уже в Белграде. Всего несколько переходов, и они будут в Германии. Чем их остановить? Укрепления никуда не годятся, войска нет. Пиркгеймер, сложив руки на объемистом чреве, язвил: сейчас тут другим заняты, немец немца грызет и тем сыт. Ныне в Германии все кругом виноваты: курфюрст Фридрих в потакании еретикам, Дюрер в насаждении идолопоклонничества, а он, Пиркгеймер, вкупе с Эразмом — в прокладывании пути Лютеру.

Опять Вилибальд принялся за свое. Оправился от удара, нанесенного Эком, стал наносить удары направо и налево. Особенно доставалось совету за его бездействие. Так же, как и Эразм, видел он в происходящем одичание нравов и требовал от коллег-патрициев самых решительных мер, призывал встряхнуться от зимней спячки, встать на защиту традиций. Правда, в совете не находил он людей, способных исправить положение, поэтому предлагал: нынешний совет распустить, а на его место избрать новый из тех, кто был бы готов нанести сокрушительный удар обнаглевшему плебсу. Каспар Нютцель скалил ехидно гнилые зубы: новых членов, естественно, нужно подобрать таких, чтобы Пиркгеймера считали кумиром. Опять Вилибальд за прежнее взялся — тиранствовать желает! Одной ногой в могиле стоит, а все к власти руки тянет. Могут и отрубить.

Изливал Пиркгеймер Иоганну Чертте свои обиды на городские власти, не давал побеседовать спокойно. Одна отрада — когда Альбрехт с Иоганном покидали Вилибальдов дом и бродили по ночным улицам. Тогда говорили о прошлом — о настоящем лучше не думать. Давно не виделись. С тех пор много воды утекло. Останавливались иногда у дома Вальтера. Вот здесь, в библиотеке Региомонтана, они и познакомились. Нет больше библиотеки — разошлась по рукам. Город, получив ее в конце концов от вдовы Вальтера, книги распродал. Пиркгеймер выговорил для постоянных посетителей преимущественное право покупки Региомонтанова наследия. Дюрер, попавший в число избранных, приобрел десять рукописей, среди них и манускрипт Альберти. Теперь искал искусного переводчика и не находил. Может быть, плохо искал? Не исключено, так как после проповеди Карлштадта решил, кому эта книга нужна, если уничтожают алтари и жгут рукописи? Но у Чертте на этот счет было другое мнение: хотя, как кажется, и нрав Пиркгеймер — в немецких землях с ума посходили, — однако все это пройдет. Можно стереть с лица земли города, но книгу невозможно уничтожить. Так-то оно так, только что из этого? Шли дальше, думая каждый о своем, прислушивались, как за городскими

стенами, предвещая беду, воют на одной навязчивой ноте голодные бесприютные псы...

Чертте уезжал из Нюрнберга разочарованный. Решением рейхстага турок не остановишь. Конкретной помощи Вена не получила. Никаких новых идей относительно укрепления городов в Нюрнберге он не нашел. Пиркгеймеру, на чей совет он рассчитывал, было не до того. Расставаясь с ним, Чертте, которому надоели его жалобы, в сердцах бросил упрек: занимался бы лучше Вилибальд настоящим делом, что ему в этом совете! То ли веял Вилибальд мудрым словам Иоганна, то ли свои соображения были, только попросил он у совета отставки: мол, не может он сидеть в одной компании с Нютцелем — смердит. Кроме того, он патриций, не купец, а в совете теперь только то и делают, что продают да покупают. Предлагали Пиркгеймеру за его заслуги ренту в сто гульденов. Отказался с презрением — нечего ему деньгами рот затыкать. Ждали его ухода давно, а тут стали распространять слух: сбежал Пиркгеймер от ответственности. Ну и хитер!

У Дюрера тоже свои заботы, хотя и помельче, чем у друга. Доставляли их собственные ученики. Впрочем, громко сказано — ученики! Давно уже мастер и сам не работал, и других не учил. После возвращения из Антверпена пытался навести порядок и сперва преуспел в этом. А потом опять все пошло вверх дном. Поскольку сам почти не работал, было ему как-то совестно строго взыскивать с учеников. Недаром отец говорил: нет ничего опаснее праздности. Первой забила тревогу Агнес: потребовала строже обходиться с лодырями. Вместо того чтобы помогать ей по хозяйству, коли в мастерской делать нечего, они исчезают на целый день. Мало того — нередко с собою приводят таких же бездельников, как они сами, сидят за полночь, шумят да бранятся.

Уже не раз говорили добрые люди: пусть хозяин выставит их за дверь, иначе не миновать беды. А затем и Пиркгеймер как бы мимоходом сказал, что было бы лучше, если бы Дюрер со своими учениками распрощался: Дюрер стал прислушиваться к разговорам парней и ужаснулся. Оказывается, они полагали, что не за горами время, когда все станут равными, как это было определено богом с самого начала. Имущество разделят, не будет ни богатых, ни бедных, будет лишь трудовой люд. Позвал Зебальда. Что же получается, спрашивал ученика, он, Альбрехт, его учитель, всю свою жизнь трудился, вот этими самыми руками свой достаток создал, а потом придет некто, всю жизнь просидевший с протянутой рукой на паперти, и скажет: давай делить поровну. Разве это справедливо? Зебальд, однако, не смутился: не о нем, мол, речь, а о

патрициях, которые не сеют, не жнут, а тем не менее с голоду не умирают. Ага, вот откуда ветер дует! Но пусть они запомнят накрепко — сумасбродные идеи Денка не прокормят и имущества не принесут. И если они хотят учиться живописи, то весь этот бред должны оставлять за порогом мастерской вместе со своими дружками — а уж тем-то в его доме и вовсе делать нечего, иначе... Указал рукой на дверь — без слов понятно. После этого вроде прекратились ночные бдения, зато теперь Зебальд перестал приходить ночевать. Возвращался под утро, под глазами черные круги, веки слипаются. Иногда подумывал Дюрер: слава богу, что младшего брата Ганса нет сейчас в Нюрнберге, уж тот обязательно полез бы в драку.

Наведя таким образом порядок в своей мастерской, задумался, однако, Дюрер над услышанным. Говорят: наступит время, когда все на земле будут трудиться и получать по трудам своим. А что здесь плохого? Отец был ремесленником, сам он в знатные не попал, и будь у него дети, они тоже зарабатывали бы хлеб в поте лица своего. И без его защиты патриции свои выгоды отстоят. Да что там — исправно выплачивают жалованье членам совета, а для него до сих пор так и не нашлось ни гроша. Все люди будут равны? Ему-то какой убыток от этого? Он, Дюрер, будет равен Пиркгеймеру, так это, наверное, должно не его, а Вилибальда страшить. Нет, было все же что-то привлекательное в учении этих сумасбродов. Вот только имущество он не согласен делить.

Среди «уравнителей» были те, кто особенно рьяно выступал против самого дорогого для него — против живописи. Похоже было, что, рассердившись на блох, собирались они бросить в огонь и шубу. Все разбить, снести, уничтожить! Да есть ли в этом хоть какой-то смысл? Кому мешают картины? Вместе с другими живописцами обращался он к отцам города с просьбой запретить сторонникам Карлштадта призывать к уничтожению алтарей. Для них, художников, это вопрос жизни и смерти. Если и начнут крушить картины в Нюрнберге, им ничего не останется, как покинуть город. Легко сказать «покинуть», когда всеми корнями вросли они в родную землю. Это у мудрого Эразма весь мир отечество, хотя и он, по всей вероятности, говорит так больше для красного словца.

И в Большом совете живописцы тот же вопрос поднимали. Наиболее ретивые поборники очищения церкви пытались прикрикнуть: мол, Карлштадт прав — нечего творить кумиров. Но Дюрер против этого горячо восстал, и Шпенглер его поддержал: христиане, насколько известно, поклоняются не идолам, а святым, изображенным на алтарях, которые создаются для напоминания верующим об их долге.

Но ни отцы города, ни Большой совет не подали голоса в защиту живописцев. Патриции сделали это скорее всего с умыслом: пусть чернь и здесь сталкивается лбами, глядишь, возникнет недовольство Лютером. И будто в подтверждение этого выступил в защиту алтарей Экк. Писал он, что заново перечитал труды отцов церкви — ни один из них не восставал против изображений Спасителя, апостолов и святых. Наоборот, и Августин, и Иероним, и другие свидетельствуют о том, что помещение картин в церквях — стародавний святой обычай. Конечно, признавал Экк, имели место случаи злоупотребления живописью, но, согласитесь, это еще не повод для ее уничтожения. И хотя призыв исходил от противника, Большой совет счел аргументы Экка убедительными. Споры приутихли. Никто вроде бы не порывался сегодня же рушить алтари.

В эти дни вернулся Дюрер в мастерскую с твердым намерением трудом своим доказать: живопись — великая сила и останется таковой во веки веков. Предполагали ученики: согласился мастер принять участие в иллюстрировании «Летучих листков», распространяемых в городе. Не угадали. Рты раскрыли от удивления, когда услышали, над чем собирается работать Дюрер. Намеревался он создать десятки, может быть, около сотни листов гравюр с изображением... святых и их деяний. А почему бы и нет? Кто запретит ему работать над тем, что он захотел? Запретила, однако, долгая бездеятельность. Медленно ползала по бумаге свинцовая палочка. Скапливались под столом разорванные, скомканные листы. Незачем винить здесь возраст. Не тем занялся Дюрер, и эти святые тебе сейчас безразличны! И нечего хвалиться, что работаешь ты над колоссальным алтарем, который посрамит все прежде созданные. Этот алтарь существует только в твоём воображении. Ни единого мазка не положила твоя кисть на приготовленные огромные доски. Все, что ты создал за это время, — лишь небольшой рисунок, на котором снова изобразил себя в виде Христа, на этот раз Христа, истерзанного пытками, отчаявшегося, возможно, не верящего в то, что люди поймут содеянное им. Мало героического в этом облике человека со спутавшимися волосами, держащего в руках орудия истязания — плеть и розгу, понимающего, что есть предел и силам человека и его жизни.

О времени, потраченном зря, напоминают граверные доски — «Большая колесница», или «Бургундская свадьба». Наводя порядок в мастерской, он наткнулся на них, никому теперь не нужные — неосуществленный памятник «последнему рыцарю». Напрасно было ждать, что в двери его дома постучится посланец нового императора и потребует их. За собственный счет отпечатал гравюру. Когда-то

Пиркгеймер советовал ему преподнести «Бургундскую свадьбу» в дар императору. Но теперь ее и дарить было некому. Не нашлось на нее и покупателей.

Все чаще в Нюрнберге вечерние зори принимали за зарево далеких пожаров. По рукам ходила книжица с предсказаниями на ближайшее будущее. В пей говорилось: кто не умрет в 1523 году, не утонет в 1524 году и не будет повешен в 1525 году, тот пусть возблагодарит бога за свою судьбу.

Совет сорока по-прежнему не предпринимал никаких мер для наведения порядка, но знал все, что происходит в городе. С хитростью, достойной их венецианских коллег, патриции набросили за это время на весь Нюрнберг незримую сеть своих осведомителей. Когда им казалось необходимым, патриции появлялись самолично, приходили на заседания Большого совета, не вмешиваясь в споры, загадочно поглаживали бритые подбородки. Они следовали веками отшлифованному принципу: понять, на чьей стороне действительная сила, и защищать собственные интересы, овладев этой силой и направив ее в нужное русло.

Разбираться было сложно. Все шло волнами. Одно течение глушило другое или, наоборот, вздымалось выше, на время поглотив остальные. Будто в пору ярмарки, теперь постоянно было шумно на площадях и в тесных улочках. Памфлеты и «Летучие листки» сыпались как из рога изобилия — против папы, «этого ночного горшка», против Лютера, «этого дьявола во плоти», против Мюнцера, «этого безбожника и еретика». Витийствовали проповедники всевозможных толков. Ученики Денка требовали равенства и немедленного дележа имущества. Рыцари с коней, как с кафедры, призывали идти вместе с Францем фон Зиккенгеном и Ульрихом фон Гуттенем против духовных и светских владык за возрождение исконного германского нрава. Сторонники Лютера звали к недопущению безрассудств и насилия. Трудно было разобраться в этом многоголосом хоре. Потом появились крестьяне. Они пока не призывали ни к чему, но тем не менее внушали страх. Пользуясь давней привилегией, они приходили в Нюрнберг вооруженными и этим сразу выделялись в толпе безоружных горожан.

Ждали возобновления рейхстага. Он должен был найти пути к примирению враждующих партий. Хотя Карл снова отказался прибыть на него, надеялись, что австрийский король Фердинанд найдет выход. Прошел даже слух, что он сменил Фридриха Мудрого на посту штатгальтера Нюрнберга. Слух пока не подтверждался, тем не менее Дюрера пригласили

в совет и просили во время пребывания короля в городе сделать его портрет на всякий случай — нет дыма без огня, а слуха без основания. От рейхстага ожидали многого, хотя никто не мог сказать — чего именно. Самые различные предположения высказывались по поводу предстоящего обращения папы к его участникам. Папа ведь свой — немец, а стало быть, чаяния Германии должен понять. Одно внушало опасение — дотянет ли Адриан до рейхстага, не отправят ли кардиналы его на тот свет? Ведь уже бросался на него с ножом полусумасшедший священник. А потом чуть было не пришибла колонна, подпиленная неким злоумышленником.

Что же касается Дюрера, то этот рейхстаг совершенно неожиданно вернул ему радость творчества и показал, что рано он собирался поставить крест на живописи. Началось с того, что прибыл в Нюрнберг Варнбюлср, тот самый, с которым совершил он свою вторую поездку в Италию. Будучи канцлером короля Фердинанда, он от имени своего повелителя должен был встречать участников рейхстага. Дюреру пришла в голову мысль, что с помощью Варнбюлера может он получить возможность нарисовать портрет Фердинанда и выполнить таким образом поручение совета. Поэтому и пошел на поклон к канцлеру, и, к своему удивлению, был сразу же принят. Совместную поездку Варнбюлер помнил: о ней они перебросились несколькими фразами. Относительно просьбы мастера канцлер сказал, что поможет. А пока король не приехал, не мог бы Дюрер во имя их дружбы сделать гравюру с его, Варнбюлера, портретом? На следующую встречу с канцлером пришел мастер уже с принадлежностями для рисования. Успел за это время узнать характер модели и понял, что вряд ли Варнбюлера устроит точное изображение — нечто в нидерландском стиле. Поэтому избрал другой путь — прежде всего омолодил канцлера, сделал из него не то древнеримского полководца, не то итальянского кондотьера. Мускулистая открытая шея, взгляд, устремленный вперед, сжатые плотно чувственные губы. На лице — решимость довести до конца задуманное, преодолеть все преграды.

Пока художник работал, Варнбюлер убеждал его в том, в чем мастер и без него был уверен: принесло учение Лютера не мир, а меч. Была раньше слабая надежда, что на реформатора может умиротворяюще повлиять Эразм. Однако, кажется, их пути разошлись. Канцлер, который в свое время перевел один из трактатов нидерландского гуманиста, безусловно принял его сторону; Эразм своими творениями толпу на мятеж не подбивал, Лютер — другое дело. Все, что из-под его пера выходит, лишь усиливает беспокойство в мире. Даже его перевод библии — и тот оказался опасен. За какие-то полтора месяца он разошелся по всей Германии. И оказывается,

крестьяне ее понимают не хуже иного теолога, хотя и толкуют Священное писание больше с позиций своих житейских интересов.

Ульрих Варнбюлер желал, чтобы гравюра с его портретом была готова как можно скорее, во всяком случае, до окончания рейхстага. Вслед за ним появился и другой заказчик — Раймонд Фуггер, племянник Якоба Богатого, прибывший в Нюрнберг по поручению дяди, чтобы держать его в курсе всего, что будет здесь происходить. Раймонду тоже потребовался портрет, исполненный, однако, в красках. Он обещал взять на себя нидерландский долг Дюрера Якобу Богатому со всеми набегавшими за это время процентами. Естественно, Дюрер не мог отказаться от столь выгодного предложения.

Якоб, убежденный католик и противник Лютера — как-никак именно он подорвал торговлю индульгенциями, от которой Фуггер имел доходы, — не зря прислал племянника соглядатаем. От Раймонда узнал Дюрер об обращении папы к съезду князей. Адриан не скрывал тяжелого положения, до которого довели церковь преступления и распущенность римских первосвященников. Зараза перешла от пап к прелатам, от прелатов к простым клирикам и монахам. Он, папа, с божьей помощью намерен вывести церковь из плачевного состояния. Но зло столь велико, что продвигаться по пути исцеления можно лишь медленными шагами. Раймонд ума не мог приложить, как сообщить об этом послании дяде. Папа льет воду на мельницу Лютера. Эта мысль не давала ему покоя. Как немец, он может только радоваться, что Германия перестает быть папской вотчиной, которую Рим всегда обирал до нитки, но... Недоговорив, ушел и больше в мастерской не появлялся.

А вечером того же дня Дюрера вызвали в бург — к саксонскому курфюрсту Фридриху. Вот когда нахлынули воспоминания. Давно не встречались. Изменился Фридрих, обрюзг и заметно сдал. Лицо испещрили морщины. Однако по-прежнему добродушен. Что, мастер, постарели? Ничего, жизнь не даром прожили. Может, по старой памяти сделает его портрет? Направляясь в бург, захватил Дюрер предусмотрительно бумагу и карандаш. И не зря. Предложил Фридриху сделать гравюру с его портретом.

Прощаясь, вручил курфюрст Дюреру в подарок Лютеров перевод библии. Дома мастер рассмотрел ее внимательнее. До нюрнбергских образцов ей, конечно, далеко. А о гравюрах и говорить нечего. Ни композиции, ни отделки! Для «Апокалипсиса» использовали его работы — выхватили отдельные фигуры, все остальное выбросили как лишнее. Исчезло деление на три сферы, пропала мудрость символики. Все просто

— и из рук вон плохо. Попадись ему эта книга раньше — надолго испортила бы настроение, а тут, наоборот, приободрила. Раз Лютер допустил, чтобы Священное писание было иллюминировано, значит, не считает художество грехом.

Потрет Фридриха никому не доверил — собственноручно перенес рисунок на доску. Будет взирать с гравюры не повелитель, а мудрый старец, умеющий защитить обиженного, проявить снисхождение к виновным. Андреа внял просьбе — незадолго до рождества доска была готова, и заскрипел пресс.

Нового заказчика лучше бы не было, так как стал им кардинал Альбрехт Бранденбургский. Призванный к нему, увидел мастер на столе перед кардиналом свою гравюру с портретом Фридриха, так что не нужно было и говорить, зачем приглашал он художника. Да, в незавидном положении оказался мастер. Отказать нельзя, с кардиналами шутки плохи. Незачем далеко ходить — пример Вилибальда перед глазами. Работать же над этой гравюрой — себе в убыток. Кто станет ее покупать в городе, где большинство жителей перешло на сторону Лютера? А Альбрехт как будто его мысли прочитал, поставил условие: Дюрер изготовит медную пластину, сделает с нее две сотни оттисков и все их вместе с пластиной передаст ему из рук в руки. Это куда бы ни шло. Сделает — и с плеч долой. Но не тут-то было: пришлось уламывать Андреа. Мастер Иероним наотрез отказался способствовать прославлению каких бы то ни было кардиналов, а тем более Альбрехта Бранденбургского. С тех пор как стал заглядывать Андреа в школу святого Зебальда, превратился он в ярого противника апостольского престола. В конце концов во имя старой дружбы согласился гравер: нарежет он мастеру эту пластину — будь она трижды проклята! Но чтобы в городе ни одна живая душа не знала, что взялся он за это богопротивное дело. И пусть Дюрер его не торопит — когда будет у него свободное время, тогда и сделает. Так возникла гравюра, получившая название в отличие от прежней «Большой кардинал».

Освободившись от кардинальского заказа, стал Дюрер присматриваться, каких участников рейхстага мог бы он увековечить на память потомкам к своей выгоде. И вдруг был приглашен в совет, где ему под большим секретом сообщили то, о чем болтали в каждом трактире: не будет саксонский курфюрст штатгальтером Нюрнберга и король Фердинанд тоже не будет. Назначил Карл V своим наместником в городе пфальцграфа Фридриха II. Предстояло Дюреру изготовить чекан для двойного гульдена с изображением нового штатгальтера. Над ним и провозился мастер до февраля — а там и рейхстаг закончился. Все разъехались. Что решили —

никто толком понять не мог. Одни пустые слова...

Уйдя от дел, Пиркгеймер не отдал, как грозился, своей души любимым древним авторам. По-прежнему тянуло его к политике. От рейхстага ждал решений, призванных восстановить порядок, — тщетно: надежды его не сбылись. Вилибальд не скупился на критику. Когда же наконец обуздают Денка, Шпенглера, всех тех, кто втихомолку крадетсЯ к власти, не понимая того, что она им не по плечу? Да и самого Лютера пора бы унять. Эразм Роттердамский прав: Лютер ведет мир к противоборству всех против всех. Не прав, однако, он, полагая, что примирение еще возможно. К чему все эти призывы к Лютеру и папе не прибегать к насилию? Конечно, насилие — не лекарство, оно может и усугубить болезнь. Но как без него создать ту самую сильную государственную власть, к которой обращает свой взор Эразм?

Если бы один Пиркгеймер так думал, было бы в этом полбеда. Горе в том, что враждующие партии ожесточились. Слова словами, а нюрнбергский рейхстаг сыграл свою роль. Поборникам католической веры папское самобичевание — как кость поперек горла. Адриан VI, видите ли, решил покаяться. Недолго думая, оплевал все святыни. А где же новые? Уж не Лютер ли с порожденным им Мюнцером? Прежде чем потащить на свалку скарб, верой и правдой послуживший отцам и дедам, нужно еще посмотреть, есть ли новый и годится ли он? Не на колени перед смутьянами следует становиться, посыпав голову пеплом! Всех их на дыбу да на плаху! Нечего ждать, когда они соберутся с силами.

Сапожник-мастерзингер Ганс Сакс выпустил листок, хотя вообще-то мастерзингерам печатать свои произведения запрещалось. Но для кого теперь законы писаны? Разошлись по городу его стихи о «виттсибергском соловье, песня которого слышна везде». В ней Ганс Сакс, вспоминая о недавнем сборе князей в Нюрнберге, писал:

Клянут епископы, князья,
Огнем и пытками грозя,
АлкаЯ христианской крови
Того, кто нам о божьем слово
Поведал, и, свирепы, злы,
Заковывают в кандалы
Приверженцев его ученья:
И, домогаясь отреченья
От веры, тщатся их унять.
Не значит это ль — загонять

Овец Христовых в загородки?
Суд у властителей короткий:
Казнить иль заключить в тюрьму!
Уж кто попался им, тому
Несдобровать — тот головою
Платись, а разлучить с семьею,
Изгнать они готовы вмиг
За чтение Лютеровых книг.
А книги жгут они в испуге...
Как есть — антихристовы слуги!..

Нет ничего удивительного, что в ответ на жестокостиросло недовольство «подлого люда». И только ли проповеди «безбожника» Мюнцера были здесь виною? Вести, приходившие из других городов, заставляли задумываться. После пасхи забрели в Нюрнберг купцы из Альтштадта и поведали о вещах, доселе неслыханных. К ним в город прибыл Томас Мюнцер и с разрешения магистрата стал проповедовать. Услышали горожане и крестьяне, пришедшие из окрестных сел, что суть и они, и дворяне — «слуги божьи», поэтому все люди равны, а следовательно, преклоняться нужно только перед богом. И еще говорил Мюнцер: время ожидания кончилось — наступил час деяний, меч будет отнят у князей и передан в руки народа. Граф Эрнест Мансфельдский, узнав про столь дерзновенные речи, запретил своим подданным посещать проповеди Мюнцера и воззвал к курфюрсту Фридриху, чтобы тот положил конец выступлениям неистового Томаса, а еще лучше приказал бы арестовать безбожника. Фридрих запретил, но Мюнцер на это ответил: если бог подвигнул кого-либо проповедовать свои заповеди, то излишни разрешения земных владык. От таких сообщений сразу же зашевелились сторонники Мюнцера в Нюрнберге. Того и гляди выйдет на городскую площадь еще один проповедник «божьего слова» — Денк.

Все эти волнения усложняли и без того тяжелую жизнь Дюрера. Опять пошли слухи о разделе имущества, и, создавая свои гравюры, не мог он отделаться от мысли, что работает для какого-нибудь Франца с паперти. А тут возобновились приступы болезни, которые надолго заставляли забрасывать начатое. Когда же Альбрехт возвращался после перерыва к наброскам, они уже не удовлетворяли мастера и он начинал их переделывать. Агнес не понимала ни его тревог, ни состояния. Успех гравюр с портретами Варнбюлера и Фридриха побуждал ее требовать от

мужа «нового товара». Уж она-то была уверена, что, умирая, вручит душу в надежные руки богоматери, которая заступится за нее, когда будет вершиться последний суд. Лютер же нашел эту веру необоснованной: не нужны Христу посредники-заступники, он сам разберется и спасет достойного. Что же, можно было бы написать алтарь, прославляющий Христа, апостолов, — на их авторитет пока еще никто не покушался, но кто знает, что скажет Лютер завтра?

В общем, итог минувших двух лет был плачевен. Если отбросить портреты, созданные во время рейхстага, то останется, пожалуй, одна гравюра «Тайная вечеря». Да и с ней не все было гладко. Сюжет подсказал ему Андреа, печатавший в то время трактаты в поддержку требования о предоставлении всем без исключения прихожанам причастия в двух видах. До сих пор в Нюрнберге мирянам не давалось во время этого таинства вино, символизирующее кровь Христову, право на него имели только священники, все же прочие должны были удовлетворяться хлебом. Шли в городе споры и диспуты по этому вопросу, которые, давно уже перешагнув грань схоластики, вылились в требование равенства всех и перед богом, и перед законом. Власти и церковь отстаивали освященные временем традиции, вспоминали, что требование причастия в двух видах для всех было выдвинуто богом проклятыми гуситами, и доказывали, что мир перевернется, если его исполнить. Вот в это время и появилась новая дюреровская гравюра. Была она на редкость строга по композиции, выдержана в нидерландской манере и содержала в отличие от прежних гравюр всего лишь два символа. Передний план ее занимала корзина с хлебом, и на фоне голой стены был четко выписан кубок с вином.

Несмотря на простоту гравюры, работал над ней Дюрер долго, создал не один набросок. На первых эскизах Христос сидел слева у края стола, стоял перед ним кубок, и лежала краюха хлеба. Это решение не удовлетворило мастера — внимание зрителя рассеивалось. В окончательном варианте Христос переместился в центр, стал главным действующим лицом, символы тоже бросались в глаза. Бросались настолько, что сомнений не возникало, на чьей стороне стоит мастер. Пиркгеймер не одобрил поступка Дюрера. Денк, с которым Дюрер теперь избегал встречаться, просил Андреа передать мастеру, что благодарен за гравюру, служащую их общему делу.

Со следующей работой Дюрера, тоже призванной прославить Христа, вышел конфуз. Он задумал гравюру по меди, изображающую распятие. Ее он также намеревался выдержать в нидерландской манере, хотя, может быть, это и принижало событие великого значения до будничной оценки из

древних времен. Стояло у него перед глазами «Распятие» Мантеньи, которое видел в Вероне. Именно простота и обыденность этой работы потрясли его тогда. Перед крестом расположились, будто на отдых, римские легионеры: одни глазели на казненных, другие спокойно играли в кости. Лица собравшихся иудеев были безучастны и спокойны — они привыкли к таким сценам. Никому, видимо, и в голову не приходило, что свершилось событие, из ряда вон выходящее.

Выполнив половину работы, Дюрер вдруг заметил подозрительную податливость металла. Он гнал прочь зародившуюся догадку. Призвал на совет Андреа. Тот подтвердил: да, пластина с дефектами, давления пресса не выдержит. Дюрер — величайший гравер Европы — впервые ошибся. И еще как! Ошибся, будто начинающий подмастерье.

Сообщение Андреа о том, что наконец-то закончен «Кардинал», настроения не подняло. Какая непростительная ошибка! Она необъяснима. Будто затмение нашло. Причину ее следует искать только в приближавшейся старости. А что касается «Кардинала», то эта гравюра не относилась к числу его любимых детищ.

Жалобно взвизгивал пресс от непосильного напряжения. Однако мастер будто не слышал стога. Он стоял, устало прислонившись к стене, и требовал еще больше усилить давление. Георг Пенц, отбросив назад свой мощный торс, честно пытался хотя бы на толщину волоса затянуть винт. Нет, пластина с «Кардиналом» оставалась цела! Когда в сентябре было готово обговоренное число оттисков, она выглядела точно так же, как вышла из-под резца Андреа...

Альбрехт Бранденбургский щедро заплатил за гравюру, хотя, как передавали мастеру, ему, привыкшему к излишествах во всем, не понравился строгий нидерландский стиль. Но Дюрера его мнение не интересовало.

Гравюра в защиту причастия в двух видах и портрет кардинала, ярого врага Лютера, как совместить их? Уж не стал ли Дюрер ради денег всеяден? Пусть даст ответ, на чьей он стороне? Но в это время, когда в Германии каждый торопился высказать свое мнение, Дюрер постиг еще одно великое искусство: он научился молчать. Те, кому он верил, знали, на чьей он стороне. Другим это знать необязательно. Споры, возникшие вокруг «Тайной вечери», отбили у него охоту выступать и с гравюрами. Однако же надо чем-то заняться? И он решил, что настало долгожданное время, когда он спокойно и без помех сможет писать свой труд о живописи, который, чувствуя прогрессирующий упадок сил, стал считать своим завещанием потомкам. Он выполнит свой долг перед будущими

художниками, он не умрет, не оставив им своих советов и наставлений!

Дюрер избрал удел затворника. Неясно только было — насколько. Кукла, изготовленная по его заказу для изучения движений, покинула мрачный угол и переместилась в центр мастерской. Несколько лет она простояла в бездействии, приводя в ужас Агнес и Сусанну своим холстинным чехлом, походящим на саван. Теперь с нею возились Зебальд и Бартель, очищая от пыли, смазывая заржавевшие шарниры. Переместились из ларя на стол начатые заметки. Перекочевали туда же с полок и книги, выкупленные из Региомontanовой библиотеки, привезенные из Италии. Друзья далекой юности — труды Альберти, Витрувия, Евклида. Среди них нет, однако, трудов Леонардо. Искал их повсюду, наводил справки и в конце концов узнал, что таковых не существует. Более того, судьба рукописей великого мастера вообще неизвестна. Теперь единственное желание Дюрера — во что бы то ни стало издать свою книгу.

Начал с самого начала — с Евклида. Но многое стерлось из памяти, некоторые теоремы нужно было переводить заново. Пришлось идти на поклон к Вилибальду, изнывавшему от скуки, оказавшись не у дел. Пиркгеймер на этот раз без всяких оговорок согласился помочь. Громыхая дубовой палкой по ступеням, медленно поднимался он по лестнице на второй этаж. Этот грохот оповещал Агнес о появлении ее заклятого врага, и она ретиво бросалась на защиту устоев своего очага.

Время не сгладило их вражды, они по-прежнему терпеть не могли друг друга. Вилибальд отмахивался от нее как от назойливой мухи. Но не мог избавиться от «безбожников», под которыми подразумевал братьев Бегамов и Андреа. К теоремам Евклида «безбожники» не проявляли никакого интереса. Стычки между ними и Пиркгеймером обычно начинались тогда, когда в паузах Вилибальд сам принимался задирать учеников, потешаясь над их желанием перекроить мир заново. Теперь у него появился новый конек: он осуждал Лютера за то, что тот дал неграмотному крестьянину возможность толковать Библию.

«Безбожники» этого вынести не могли, бросались в спор, однако все их доводы опытный софист разбивал о легкостью. Это доставляло ему удовольствие, и он покидал мастерскую, радуясь одержанной победе. На следующий день повторялось то же самое. Перевод Евклида не двигался с места. Пока стороны изматывали друг друга в дискуссии, Дюрер разбирал свои рукописи, решительно отказываясь втягиваться в спор.

Так продолжалось недели две, потом Евклид надоел Пиркгеймеру, и он перестал появляться в доме Дюрера. А к этому времени мастер навел порядок в своих рукописях и увидел, что в одну книгу не уложится,

придется писать несколько. Тема первой уже обозначилась: она будет вводить читателя в основной труд, назвать ее можно было бы «Руководство к измерению с помощью линейки и циркуля». Над ней Дюрер и начал работать. Заодно решил испытать на практике те приборы, которые призваны облегчить труд художника. Некоторые из них по его чертежам нюрнбергские мастера уже сделали и доставили к нему в мастерскую. Снова отправилась кукла в дальний темный угол — до изучения движений пока не дошло. Почти всю комнату занял огромный стол, наскоро сколоченный. Стала мастерская походить на все что угодно, но только не на ателье живописца. В стены набили гвоздей, потянулись от них к стоящим на столе предметам сотни тонких нитей, фиксируя проекции и ракурсы, разобраться в которых мог лишь сам мастер. Дюрер метался от одного предмета к другому, переставлял их, путал нити. Часами рассматривал какую-нибудь чашку через поставленное под наклоном стекло или в отверстия, прорезанные в досках. Агнес, Сусанне и слугам было строго-настрого запрещено появляться в мастерской. Не дай бог нарушат порядок. А какой там порядок! Комнату уже месяц не мели, пыль, осколки разбитых стекол усеяли дол. В углах громоздятся ящики и приборы, обманувшие ожидания мастера.

И все же Дюрер доволен: опыты со стеклянной пластиной оказались успешными. При определенном наклоне и соответствующем расположении источника света она верно передавала контуры объекта: бери карандаш и рисуй. Но этот способ был известен давно, мастер его лишь проверил. А вот другой прибор изобрел сам. Маленькое отверстие в доске, обеспечивающее постоянную зафиксированную точку наблюдения. Глядя в него одним глазом, художник штрих за штрихом наносит на бумагу изображаемый объект. При известном навыке рисовать оказывалось так же просто, как прижимать лист бумаги к матрице. В сочетании с учением о центральной перспективе, которое он теперь обосновал путем опыта, предлагаемый им метод гарантировал точную передачу действительности.

Итак, он нашел решение задачи, которую некогда поставил перед собою — добиться, чтобы на рисунке все было таким, как в жизни. Полагал, что сделал тем самым первый шаг к постижению красоты, и приступил к подготовке гравюр для будущей книги. На столе сменяли друг друга испытанные им приборы. Проверив еще раз полученные данные, мастер садился в сторонке, Зебальд занимал его место, и Дюрер тщательно зарисовывал и расположение приборов, и наиболее характерную позу живописца. Много было смеха, когда он, решив показать, что эти машины годятся и для изображения живой натуры, заставил Бартеля Бегама улечься

на стол. Мальчишка не мог и минуты пролежать спокойно, паясничал, словно шут в балагане. Потом принялся читать стихи Сакса. В них в угоду патрициям высмеивалась глупость крестьян и ремесленников, похотливые повадки их жен. Невдомек было Бартелю, что эти стихи оскорбляют слух мастера, который, не в пример другим, никогда не насмехался в своих гравюрах над братьями по сословию. Сказал Бартелю, чтобы тот прекратил безобразие, но шаловливый парень не собирался слушаться. Кончилось тем, что Дюрер изобразил Бартеля на своем рисунке в виде голой женщины. Обидно? Вот так-то, нечего над другими зубы скалить.

Это была уже не первая вспышка гнева у мастера. В последнее время он стал раздражителен сверх меры. Любой пустяк выводил его из себя. А ведь, казалось, не было у него особых причин выходить из равновесия. Был он всецело занят любимым делом — даже известие о смерти Адриана VI, якобы отравленного кардиналами, прошло мимо него, помощники его безотлучно находились на месте, Агнес притихла и вообще избегала появляться в мастерской. Произошло же то, что, осматривая его хитроумные приборы, бросил Вилибальд вскользь замечание: вместо прежних канонов, связывавших живописцев, изобретает он, Дюрер, колодки, которые скуют их по рукам и ногам: смотри в дырочку и рисуй только то, что видишь. Неужели это и есть прекрасное, о котором он столько говорил? Напрасно Дюрер утешал себя, что то, над чем он сейчас работает, лишь начало его изысканий, что он еще ответит на вопрос о сущности прекрасного. Нет, зачем себя обманывать, опять прекрасное улизнуло от него. А ведь он думал, что уже близко подошел к разрешению вопроса, стоит только сделать еще одно последнее усилие и... Работал он теперь больше по инерции. Раз книга начата, она должна быть закончена уже потому, что он не может лишиться преемников накопленного им опыта. Жаль, конечно, что законы прекрасного откроет не он. Впрочем, ведь это не последняя книга. Он еще напишет другие, проведет новые опыты, все заново обдумает. Только вот время! Где его взять?

Все-таки он убедит Пиркгеймера в своей правоте, убедит — не словами, а делом. Что же касается приборов, то он готов показать Вилибальду, как можно работать с их помощью, и тот увидит, что сделано не так уж мало. Усадив друга перед своим прибором, Дюрер очень быстро сделал его портрет. Рассматривая рисунок, выразил Вилибальд непонимание, зачем нужны все эти хитрые приспособления, когда Дюрер великолепно справился бы и без них. Да, но не у всякого такой опыт. А так живописцам будет легче учиться. Там, где ему, Дюреру, потребовались годы, им будет достаточно нескольких недель. Пиркгеймер не стал спорить.

Заметил лишь: тогда слишком много художников разведется, останутся они без куска хлеба. Серия портретов известных людей, с которыми встречался мастер, пополнилась изображением Пиркгеймера. По его настойчивой просьбе Дюрер несколько подправил на гравюре перебитый нос и обрядил его в богатую шубу. Слаб человек — даже Вилибальд не избежал соблазна продемонстрировать потомкам свое благосостояние.

Повздорил вскоре Дюрер в очередной раз с Пиркгеймером: почему-то все считают, что у него, у Дюрера, собственных занятий и планов быть не может и всякую просьбу он должен исполнять беспрекословно. А дело было в том, что при распродаже Региомонтановой библиотеки приобрел Вилибальд труды Птолемея, перевел их с греческого на латинский и собирался теперь издавать. Правда, типографа он еще не нашел — они будто перевелись в Нюрнберге. Но это, может быть, и к лучшему: тем временем Альбрехт успеет проиллюстрировать его рукопись. Но мастер, к удивлению Пиркгеймера, отказался. Сослался на то, что должен заканчивать собственную книгу. Вилибальд обиделся — оказывается, не только типографы перевелись в Нюрнберге, но и художники.

К началу лета 1524 года Дюрер вчерне закончил свой труд об измерениях. По крайней мере, продравшись сквозь дремучий лес математических премудростей Евклида, изложил их простым языком, понятным для всякого ремесленника. Наиболее сложная часть работы осталась позади. Дальше, как он надеялся, будет легче. Ему предстояло изложить то, что мастера давно уже применяли на практике, опираясь на отцовский и дедовский опыт. В надежде, что это не последняя его книга, он отказался от помещения в ней рассуждений о живописи и ее предназначении, собираясь вернуться к этому предмету позже.

Три первые части книги можно бы уже отдать Андрея, но Дюрер, все будучи не в силах расстаться с рукописью, продолжал прояснять отдельные места, вносить уточнения. Иероним тем временем изготовил почти все чертежи и гравюры и сделал пробные оттиски. Медлительность художника была ему непонятна. Кто знает, как завтра все повернется?

Мастер Альбрехт все больше увлекался, книга захватила его целиком — в ней появлялись вещи, далекие от живописи, а выбрасывать их жалко, все-таки стоили они большого труда. В первой части излагал он Евклидово учение. Давал объяснения, что такое точка, линия, плоскость, тело. Во второй переходил к проблемам, касающимся плоскостей, углов, построения и измерения многоугольников. Сформулировал правила перспективного, объемного изображения тел на плоскости. И невдомек ему было, что здесь он решил задачу, над которой до него безуспешно бились греческие и

арабские ученые. Объяснил он также способ построения правильного пятиугольника с помощью одного лишь циркуля. С этой задачей, когда он был в Венеции, ни один итальянский математик еще не мог справиться.

Кроме того, художник нашел и решение задачи удвоения объема параллелепипеда, которую в свое время нюрнбергский монах Вернер считал неразрешимой.

Совсем было собирался убрать из книги описание конструкции солнечных часов, совершенно бесполезное для живописцев, но потом решил и его оставить, поскольку, как он слышал, в Германии никто до него этим не занимался. Может быть, кому-нибудь да пригодится. Только в третьей части переходил Дюрер к объяснению того, как собранные им математические знания можно применить в искусстве. Приводил в качестве примеров проекты памятников и зданий, им самим разработанные. Теперь на очереди была четвертая часть — по замыслу последняя, где собирался он разрешить вопросы перспективы. Грустно было, что заканчивались поиски, начатые почти тридцать лет назад. Вместе с каждой написанной страницей все дальше уходил в прошлое любознательный юноша, с открытым ртом внимавший некогда поучениям Барбари и Паччолы. Удивление, с каким он когда-то смотрел на мир, теперь исчезало. Его место занимал опыт.

Как-то Андреа принес брошюру с текстом проповеди, с которой Мюнцер обратился в июле к князьям немецких земель. В ней сказал он: Библия больше не нужна — она повествует об истории и бесполезна для нынешнего и будущего поколений. Сейчас бог посылает на землю свое новое откровение. Реформацию надо довести до конца. Он, Мюнцер, понял: безбожники не имеют права на жизнь, церковь нельзя исправить с помощью слов. Под безбожниками он подразумевал не только папу, но и Лютера.

1 августа 1524 года Иоганн Постоянный, возможный преемник тяжело больного курфюрста Фридриха, запретил Мюнцеру читать проповеди. «Союз божьей воли» отшатнулся от Томаса. Обозвав бургомистра Альштедта Рюккерта «архииудой», Мюнцер в ночь с 7 на 8 августа 1524 года тайно бежал из города. По данным нюрнбергского сыска, еретик держал путь в Нюрнберг, чтобы найти здесь сторонников и отсюда продолжать борьбу.

Новость молниеносно стала известна в Нюрнберге, и город вновь пришел в движение. Сидеть дома, отгородившись листами рукописи от всего и всех, стало невозможно. После долгого перерыва знакомые снова увидели Дюрера в «Гюльден Хорне». Трактир походил скорее на площадь в

ярмарочный день. Нижние его залы были забиты посетителями, разгоряченными, жестоко спорящими. В зале второго этажа натолкнулся Дюрер на Пиркгеймера и Шпенглера. К его удивлению, сидели они за столом рядом и вроде бы вели, дружескую беседу. Но, подсев к ним, мастер понял: никакой беседы не было. Пиркгеймер выплевывал злые слова-обвинения: нежелание пустить кровь, трусливая робость погубят Нюрнберг. Нужно быть слепцом, чтобы не видеть: мятеж, вспыхнувший в шварцвальдском Штюлингене — это гражданская война, начало пожара, в котором сгорит Германия. Они, сторонники Лютера, последователи новых лжепророков, разожгли пламя. Уж не думают ли они, что костер обожжет лишь патрициев?

Шпенглер молчал. Глаза прикованы к лужице пива, пролитого на стол. Пятно темнело, под гаснущим лучом вечернего солнца приобретало багровый оттенок. Резко вскочив, вдруг крикнул Лазарус в лицо Вилибальду: кровь... все нынче в Германии жаждут крови, но в ней ли спасение?..

И в эту ночь снился Дюреру сон, уже не раз прежде виденный. Возникал вдруг покойный Конрад Цельтес, беззвучно шевелил губами, слов не было слышно, но почему-то казалось, что шепчет поэт свое моление деве Марии. На этом месте Дюрер просыпался от ужаса, хотя ничего страшного во сне вроде бы и не происходило. Страшной становилась сама жизнь. Будь он моложе, он пытался бы бороться, теперь же... Он стал стар. И боязнь лишиться всего гнала его в ратушу: не просить у города жалованья, а предлагать ему займы. Так поступали многие — всегда, когда к городу приближалась опасность. В подвалах ратуши хранить деньги было надежнее. Он предлагал Нюрнбергу взять у него тысячу гульденов на условии ежегодной выплаты ему в качестве процентов пятидесяти гульденов. Город денег не брал. Дюрер стучался во все двери, обращался за помощью к Пиркгеймеру и Шпенглеру. Вилибальд отказался помочь: что он может сделать теперь? Всего-навсего обычный патриций, существо, при нынешних временах презираемое. А Шпенглер? Может, и готов был бы Лазарус посодействовать, но только другие дела отвлекали сейчас все его внимание.

Слухи подтвердились — Мюнцер вместе со своим другом Пфейфером действительно направлялся в Нюрнберг. До этого был он несколько недель в Мюльхаузене, но не нашел там издателя для своих памфлетов против Лютера. Теперь спешил в Нюрнберг. Только ли ради того, чтобы напечатать памфлеты? Совету стало известно высказывание Мюнцера: ничего не стоит ему поднять нюрнбержцев на борьбу, ибо там «люд голоден, он хочет и

должен есть». Зная любознательность Дюрера, Шпенглер предупреждал его: с Мюнцером ему лучше не встречаться, грозит это большой бедой.

Въезд Мюнцера в Нюрнберг прошел на редкость спокойно. Сторонники ему торжественных встреч не устраивали. «Альштедтский еретик», словно устав от диспутов, засел затворником в доме Денка. Нюрнбергский совет тем временем развернул бурную деятельность. Пожалуй, не осталось в городе ни одного типографа, которого бы не предупредили, что печатание Мюнцеровых трудов кончится для него плачевно. Знал об этом Томас, но как ни в чем не бывало продолжал работать над своими проповедями.

Его сторонники все больше приходили в недоумение. Все ждали живого слова, а Мюнцер предпочитал отмалчиваться. Правда, его сподвижник Пфейфер встречался с нюрнбергскими бунтарями, но беседы с ними вел на редкость вяло. В основном сводились они к тому, что в Нюрнберге и без того знали: мол, «народ станет свободен, и лишь господь бог будет властвовать над ним». От вопросов, как добиться такого положения, Пфейфер уходил. Об этом им надо спросить у Томаса. Мюнцер же сидел у Денка и правил свои рукописи. Соглядатаи доносили совету, что, судя по всему, Мюнцер боится изгнания из города и будет вести себя смирно, пока не опубликует памфлеты. Пфейфер сейчас более опасен — его беседы, хотя он и не говорит в них ничего особенного, привлекают все больше горожан и даже тех, кто раньше не склонялся к Мюнцеровой ереси.

Наконец Мюнцер закончил рукопись и, как сразу же стало известно совету, повел переговоры с Иоганном Херготом об ее издании. Типограф тотчас же доложил властям, что наотрез отказался. Так ли? Из других источников отцам города стало известно, что той же ночью подмастерья, пригласив к себе на помощь подмастерьев из других типографий, собираются антилютеров памфлет набрать и отпечатать.

На рассвете следующего дня городские стражники во главе с судьей нагрянули в мастерскую Хергота. Поздно! Лежала в типографии жалкая стопка брошюр — а ведь в течение нескольких часов здесь работало не меньше двадцати подмастерьев. Кто-то дал им знать о предстоящем обыске, и уже ночью с помощью стражей у ворот города они переправили почти все экземпляры памфлета в Аугсбург. Власти постарались бы закрыть это дело, однако, видимо, не все памфлеты были вывезены из Нюрнберга. В тот же день появились они в большом количестве в городе. Тут уж не посмотришь на происшедшее сквозь пальцы. Закон должен быть соблюден. Поэтому решил совет Мюнцерову книгу судить. Для оценки ее содержания был привлечен не католический священнослужитель, которому, естественно,

веры никакой не было бы, а проповедник Осиандер из церкви святого Лоренца, известный в городе сторонник Лютера, — ему-то должны были поверить горожане. Изучил Осиандер памфлет и на заседании совета изложил свое мнение: книга безусловно еретическая и в силу этого вредна. Принял совет решение ее распространение запретить. Попутно было рассмотрено ходатайство Дюрера, и совет на этот раз согласился взять у него заем. Об этих решениях оповестили весь город. Подчеркнули тем самым: вот как в эти трудные времена заботится совет об интересах граждан Нюрнберга!

Шпенглер, поздравляя Дюрера с успешным для него завершением дела, сказал, что немало труда стоило ему склонить отцов города к такому мягкому приговору в отношении Мюнцера. Многие были настроены воинственно, требовали примерного наказания для подмастерьев, распространивших зловредный памфлет, а также изгнания Мюнцера. Потом удалось их все-таки убедить, что такие меры могут лишь привести к большим волнениям. Ведь Шварцвальд восстал. А он рядом, под боком. Слов нет, лучше всего выставить бы Томаса из Нюрнберга. Может быть, Мюнцер сам уберется, если ему не дадут печатать его труды. Боялись, ох как боялись Томаса патриции, а сделать ничего не могли. 29 октября 1524 года все-таки изгнали из города Пфейфера. Предложили ему «исчезнуть отсюда и свои деньги зарабатывать где-либо еще». Какие там заработки у Пфейфера в Нюрнберге? Но совет счел нужным облечь свое решение именно в такие слова.

Мюнцер эту акцию нюрнбергского совета расценил правильно — как предупреждение ему самому. И в ноябре 1524 года по собственной воле покинул Нюрнберг. Он спешил на юг, где уже во всю силу полыхала Великая крестьянская война.

Вняв предостережению Шпенглера, Дюрер встреч с Мюнцером не искал, хотя его ученики не раз намекали и прямо говорили, что мог бы мастер включить портрет Мюнцера в задуманную им серию гравюр с изображениями мужей, прославивших Германию. Дюрер упорно пропускал их намеки мимо ушей, хотя было ему ясно, что Мюнцер личность незаурядная. Делал вид, что весьма ему некогда — торопится закончить четвертую часть своей книги.

После отъезда Мюнцера из Нюрнберга забеспокоились городские власти. Начали понемногу наступать на «еретиков», подразумевая под ними тех, кто уже не удовлетворялся Лютеровым учением, а шел дальше. Не обошли вниманием и мастерскую Дюрера. Недаром Пиркгеймер

предупреждал его: ох, доберутся когда-нибудь до всех врагов католицизма! Несладко придется тем, из чьих мастерских выходили гравюры, осмеивающие папу. Никто ведь не поверит, что хозяин ничего не знал о происходящем у него в доме, под его собственным носом. Факт этот, между прочим, был упомянут и на рейхстаге. Пояснений Дюреру было не нужно: гравюру Зебальда Бегама, изображавшую низвержение папы в ад, он видел. Более того, по просьбе ученика исправил в ней некоторые погрешности и разрешил воспользоваться своим прессом.

Новый папа Клемент VII пригрозил: пришлет в Нюрнберг своего специального легата наводить порядок и выжигать ересь. Опять запахло кострами, только теперь не во имя очищения божьих храмов, а во имя восстановления веры. Городские власти художникам и печатникам неофициально советовали: пыл свой поубавить — не изображать папу в виде дьявола и брошюр против пего не печатать. И Лютера тоже не трогать.

Поведение Дюрера в это время многих приводило в недоумение. Еретиков из своей мастерской он не изгнал, но и не выступил в их поддержку. Стоял вроде бы в стороне от всех волнений и демонстративно вместо памфлетов противоборствующих сторон изучал «Начала» Евклида. С этой целью вступил в переписку с Кратцером, придворным астрономом английского короля, с которым познакомился в Нидерландах. Кратцер как раз переводил труды греческого математика. Несколько ценных советов мастер от него получил и в своей рукописи использовал. Но вот полного перевода «Начал» астроном не смог ему выслать: времени для перевода Евклида у него нет. И в этом же письме поздравил Дюрера с тем, что стал Нюрнберг, как говорят, «евангелистским». Пусть бог даст им силы вынести борьбу до конца. В начале декабря отвечал ему художник: «Также из-за христианской веры мы должны подвергаться обидам и опасностям, ибо нас поносят, называют „еретиками“. Но да ниспошлет нам бог свою милость и да укрепит нас в своем слове, ибо мы больше должны богу, нежели людям. Так что лучше лишиться жизни и имущества, чем допустить, чтобы наше тело и душа были ввергнуты богом в адский огонь».

После того как Андреа обзавелся собственной типографией, он ремесло гравера почти забросил — печатал теперь памфлеты на папу, сочинения сторонников Денке. Только ради Дюрера согласился вернуться к прежнему ремеслу. От Андреа Альбрехт узнал, что еще дальше пошли проповедники нового учения: Священное писание не стоит ни гроша, выведет людей в возрожденный Иерусалим не вера, а богом избранные вожди — Мюнцер например, и будет царство небесное на земле, после того как все станет общим.

В Аугсбурге уже требовали все купеческие компании запретить, а фуггеров изгнать из города. Нюрнберг, конечно, в стороне не останется. Это еще можно было понять, но совсем непостижимым казалось требование Денка всех крестить заново. Мол, когда этот обряд совершается над ребенком, в нем нет смысла, ибо ребенок не обладает разумом, не понимает, что с ним творят. По Денку выходило так, что сейчас вообще нет никаких христиан. А кто же есть? Все перепуталось, нелегко стало жить на божьем свете!

Однажды Андреа, прибежав к Дюреру, поспешил обрадовать его: выступил Лютер в защиту художников! Правда, выступил как-то неопределенно. Что же он сказал? А вот что: дескать, раз Христос держал в руках монеты с изображением римских цезарей, значит, не осуждал он искусство. Дюрер находил «защиту» Лютером искусства весьма слабым. Да, аргументы Экка были более убедительными. Андреа, однако, советовал не торопиться с суждениями. Лютер выскажется наверняка более определенно. Сколько же ждать можно?

Одно хорошо, проговорился Андреа: вот теперь он Дюреру поможет издать его книгу. Так вот оно что! Значит, боялся мастер Иероним, что толкает его Дюрер на неуютное богу дело. Все сразу изменилось. Теперь Андреа не только твердо обещал нарезать гравюры, но и предложил отпечатать книгу в своей типографии. Даже стал поторапливать. А Дюрер и без того от рукописи почти не отрывался. Все пока шло, как он хотел: Иероним уж постарается, чтобы книга получилась такой, какой он ее желал видеть. Не раз обсуждали они ее формат, шрифт, размещение гравюр и чертежей. Хотя здесь все стало на свое место. Проблема — напечатать сейчас в Нюрнберге книгу, не касающуюся вопроса веры. Пиркгеймер, например, своего Птолемея, для которого Дюрер все-таки сделал рисунок армиллярной сферы, с помощью наследников Кобергера будет печатать в Страсбурге. Предлагали и Дюреру воспользоваться их услугами. Он отказался. Его книга должна печататься в Нюрнберге, под его личным присмотром.

А страсти тем временем все больше накалялись. В очередной приход Андреа сообщил, что Мюнцер создал в Альштедте при поддержке городских властей «Союз божьей воли», который выступил за общность имущества. Если же какой-либо князь или епископ воспротивятся разделу имущества, разговор с ними будет короткий: виселица или плаха. Для начала альштедтские «еретики» разгромили женский монастырь в Маллербахе, а предметы культа сожгли. Лютер обратился к курфюрсту Фридриху, предлагая покарать безбожника Мюнцера.

Час от часу не легче! Теперь и среди сторонников новой веры произошел раскол. Опять в Нюрнберге начнется брожение. То и дело из города и в город снуют какие-то таинственные гонцы, появляются какие-то посланцы, неведомо чьи, неизвестно от кого и откуда. Подозрительно бездействие совета. Что там задумали? Чего ждут? Шпенглера он давно не видел. Пиркгеймер заходил как-то раз, снова советовал избавиться от учеников-безбожников и поменьше знаться с Андреа. В совете говорят, что Иероним — ревностный сторонник Мюнцера. Неужели? А он и не заметил. Куда же ему заметить, когда он своим Евклидом занят, тоже нашел время! Пусть раскроет окно да прислушается. Вот он звучит, Лютеров хорал:

Твердыня наша — наш Господь.
Мы под покровом Божьим.
В напастях нас не побороть.
Все с богом превозможем...

Поют его пришедшие в город крестьяне, и что-то уж слишком грозно поют, во всяком случае, не в молитвенном ключе.

Посоветовавшись, совет решил запретить ежегодный показ реликвий, а ярмарку отменить. Вроде бы жест в сторону сторонников Лютера — на деле же пресечение возможности нежелательных сборищ. Высокие соображения совета Агнес не интересовали. Отмена ярмарки повергла ее в глубокое уныние. Где теперь торговать гравюрами? При нынешнем брожении в другой город не поедешь. Правда, и торговать сейчас было нечем.

В еретики Дюрера пока что не зачислили, но это, как он и писал Кратцеру, могло случиться со дня на день.

Как-то под рождество, достав из ларей старые рисунки, стал перебирать их. Воспоминания!

Вот он сам — мальчишка, впервые дерзнувший изобразить себя, Вольгемут, отец, император Максимилиан, Пиркгеймер, Брант, мудрый Эразм. На некоторых рисунках надписи: когда и с кого сделаны. Стал надписывать другие — но памяти. Получался почти связный рассказ о жизни и друзьях.

Разбирая бумаги, натолкнулся случайно на пакет с разрозненными листами бумаги, исписанными почерком отца. Он и не знал об их существовании. А записи интересные. Видимо, собирался Дюрер-старший рассказать о своей жизни, странствованиях и близких ему людях. Не успел.

Сыновний долг повелевает довести до конца начатое. После рождественских праздников взял перо и вывел на чистом листе бумаги длинное заглавие. «Я, Альбрехт Дюрер-младший, выписал из бумаг моего отца, откуда он родом, как он сюда приехал и остался здесь жить и почил в мире». Писал простыми словами, без литературных ухищрений. Главное — набросать остов книги, подробности потом. Кое-какие подробности, чтобы не забыть, вставлял уже сейчас: о том, что пришел его отец в Нюрнберг в день свадьбы Пиркгеймера-старшего, что в мастерской Вольгемута сыну золотых дел мастеру пришлось претерпеть много страданий... Довел свою рукопись до сообщения, как женился он на Агнес Фрей, а дальше вдохновение иссякло.,.

На нюрнбергские улицы, будто боясь испачкаться, осторожно падал снег. Календари на наступающий 1525 год не предсказывали ничего хорошего.

В начале зимы власти изгнали из города живописцев Платнера и Грайфенбергера. Во время пребывания Мтонцера в Нюрнберге они чаще других встречались с Пфейфером. Им в вину были поставлены подстрекательские призывы, искажение вероучения, неуважение к законам и обычаям Нюрнберга. Шпенглер при встречах был хмур, обеспокоен. Патриции настаивали на применении силы — Лазарус по-прежнему не хотел пролития крови.

Нужно было срочно что-то делать, чтобы успокоить горожан. В Нюрнберге почти не осталось сторонников прежней веры. Все громче становились требования окончательно порвать с Римом. Для исправления положения прибыл легат нового папы Клементя VII, Лоренцо Компеччо, который с порога выдвинул требования любыми мерами вернуть Нюрнберг в лоно католической церкви. Город отрядил для переговоров с ним Кристофа Шейрля, но точных указаний ему не дал. Кристоф проявил удивительное мастерство ходить вокруг да около главного, не касаясь его. Упирал на то, что власти запретили распространять в городе памфлеты против панского престола и карикатуры на святого отца. Разве этого мало? В других городах и этого не сделали! Компеччо отмахивался от этих мелочей и добивался мер для устрашения, а если надо, то и для уничтожения еретиков.

До поздней ночи, а то и до утра Шейрль, Осиандер и Шпенглер ломали голову над тем, как уклониться от выполнения требований легата. Принять их — значит вызвать бунт. Легат гнет свою линию, выполняет приказание папы и не видит того, что видят они: обратить город в прежнюю веру уже

нельзя. Но пока также невозможно идти на открытую ссору с императором и на разрыв с папой. Выход, по их мнению, был в затягивании переговоров, пока не удастся утихомирить страсти. И Пиркгеймера — свой план умиротворения: собрать наиболее ярых смутьянов в один полк да и отправить их за Альпы воевать против французов. Шпенглера подобные рекомендации выводили из себя: только впав в детство, можно предполагать, что сторонники Мюнцера станут защищать папу. К тому же, кто гарантирует, что, получив оружие, они не повернут его в другую сторону?

Поздно вечером в дом Дюрера пришел подмастерье Андреа. Принес рукопись Дюрера и доски с чертежами для его книги. Рассказал он, что час назад нагрянули в типографию городские стражники, забрали все памфлеты и рукописи, кроме дюреровской, и увели с собою мастера Андреа Иеронима.

Наутро отправился Дюрер к Шпенглеру и от него узнал, что заточен Андреа по решению городских властей в тюрьму под ратушей как преступник, посягнувший на законы и обычаи Нюрнберга. Значит, изгнание! На просьбу Дюрера заступиться Лазарус ничего не ответил и, лишь видя, что друг от него не отстанет, раздраженно буркнул: ничего не грозит жизни и здоровью мастера Иеронима, и если он еще окончательно не свихнулся от Мюнцеровых проповедей, то скоро поймет, что заключение спасло его от большей беды.

Спускался Дюрер к Андреа вниз, в «дыры». Скрежетали замки и громыхали железные решетки. Свет от факела в руке стражника вырывал из темноты бледные пятна лиц. Андреа сидел на полу на гряде соломы. Удивился, что Дюрер навестил его. Еще больше изумился, когда рассказал ему мастер, что ходатайствовал за него. Бесполезно все это, сказал Андреа и устало отмахнулся рукой. Об одном сожалеет, что труд мастера Альбрехта издаст не он, а другой типограф. А о нем что заботиться?

Его — уж слишком он остер —
Отправить надо на костер
С его приспешниками вместе!
Вот вопли тех, в ком жажда мести
Сильней рассудка...

Ганс Сакс в своем стихотворении «О виттенбергском соловье, чья песня теперь слышна везде» их судьбу предвидел. На этом и закончилась

беседа двух мастеров в городском узилище. Весь день стояли перед Дюрером лица тех, кого он утром увидел в «дырах». Многих из них он знал. Значит, начал совет принимать меры. Кто же следующий?

Теперь Шейрль мог успокоить папского легата: по его совету Нюрнберг очищает себя от скверны, наводит порядок...

Разбирая рукопись, возвратившуюся от Андреа, обнаружил Дюрер среди ее листов брошюру изгнанного из города еретика-живописца Ганса Грайфенбергера «Книга о лжепророках, от которых предостерегали нас Христос, Павел и Петр». Полистал. Заинтересовавшись, прочел внимательно. Странно, оказывается, и Грайфенбергер мог писать дельно. Эта книга заставила перечитать Евангелие. Открыл послание апостола Павла к Тимофею: «Знай же, в последние дни наступят времена тяжелые. Будут люди самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, нечестивы, недружелюбны, непримиримы, клеветники...» Разве не верно? Когда-то Денк в разговоре с ним сказал: нынешние пророки меряют слово господне на свой аршин. Никто из них этого божьего слова сам не слышал, и, по сути дела, нет у них права толковать его. Одни апостолы его слышали, и только они донесли до людей правду. Это воспоминание вернуло его к работе над алтарем, который был задуман им во славу Христа и его учеников.

Все ярче разгоралось в Германии пламя крестьянской войны, оно подкатывалось к Нюрнбергу, грозя испепелить не только алтари, но и сами соборы. И было непостижимо, что в это время мастер тратил свои силы на труд, по-видимому, обреченный на гибель. Зачем? Во имя чего? Что это — демонстрация его приверженности старой вере, вызов Лютеру, осуждение его? Ответом Дюрера было: он просто упражняется в пропорциях, проверяет данные, приведенные в своей книге. Чем дальше продвигалась работа, тем отчетливее проявлялась предельно возможная простота и ясность композиции. Это был ошеломляющий взлет разума, обретшего равновесие, ответившего на все вопросы и пришедшего к истине. Какой именно? Дюрер молчал. Он ведь только упражнялся в пропорциях! Упражнялся, когда Нюрнберг продолжали раздирать противоречия и власти изгоняли из города знакомых и друзей.

В январе, опасаясь ареста и процесса, бежал из Нюрнберга Ганс Денк. Ночью, тайно, подкупив стражу у ворот. Откуда ему было знать, что власти дали указание беспрепятственно выпустить его — лишь бы он поскорее убрался из города.

Вскоре стражники появились в мастерской Дюрера — связали и увели Зебальда Бегама. А вечером Агнес принесла в дом известие, что стража арестовала также Бартеля Бегама и Георга Пенца. Человек, поведавший

Агнес эту новость, как она утверждала, говорил и о том, что доберутся со временем и до ее супруга, под крылышком которого «безбожники» свили себе теплое гнездышко. Снова Дюрер был у Шпенглера. На сей раз тот даже не стал слушать его. При чем здесь он? Это дело Совета сорока. Дюреру будет лучше забыть о своих учениках и, во всяком случае, не ходатайствовать за них. Видимо, нужно было готовиться к худшему. Поэтому он снова отложил кисть и поспешил закончить последнюю, четвертую часть книги. Было ему сейчас не до отделки деталей. Главное — успеть выпустить в свет труд. Он уже нашел нового типографа, передал ему готовую часть рукописи и доски с чертежами.

Разобрались в деле «художников-безбожников» — учеников Дюрера — небывало быстро. Решили: предстанут братья Бегамы и Пенц перед членами совета и ответят всего-навсего на шесть вопросов. Приглашен был на судилище и Альбрехт Дюрер — как гость. И пошел не колеблясь. Стража ввела в зал трех смутьянов. Помятых, бледных, но пытающихся высоко держать голову. Судья прочел им первый вопрос и дал время на размышление. Верят ли обвиняемые в бога? Братья Бегамы почти сразу ответили: да, веруют. Георг Пенц долго молчал, а потом сказал: верит он лишь отчасти, ибо не знает, что такое бог. Спросили их всех трех, как они относятся к Христу. Словно заранее сговорившись, изрекли они разом: никак. Относительно Библии — выразили сомнение в ее божественном происхождении, ибо, по их мнению, она полна противоречий. Добрались наконец до шестого вопроса: признают ли обвиняемые власть нюрнбергского совета? Бегамы заявили, что никакой светской власти они вообще не признают. Пенц сказал, что признает лишь власть бога, не заметив того, что вступил в противоречие со своим ответом на первый вопрос. Молчали члены совета, переглядывались. Бартель Бегам воспользовался паузой и заявил судьям: полагает он, что все люди должны работать, а имущество нужно разделить между всеми поровну. Но его прервали: он здесь не в пивной и не должен говорить, когда к нему не обращаются. Приговор гласил: «живописцы-безбожники, упорствующие в своих еретических заблуждениях, изгоняются из Нюрнберга».

Зебальд Бегам перед тем, как покинуть город, сговорился со стражниками и в их сопровождении зашел к Дюреру попрощаться от имени всех трех. Разговора не получалось. Куда же теперь? Юноша пожал плечами, вскинул на плечи котомку, улыбнулся. После его ухода всполошилась Агнес: пусть Альбрехт проверит, все ли на месте. А то от этих безбожников-воров можно всего ожидать. Успокаивал ее мастер: все в порядке. Лгал — исчезли у него заметки, в которых пытался он рассчитать

пропорции лошади. Взял их наверняка один из Бегамов, когда они вместе работали над трактатом об измерениях. Он давно уже заметил это, да не стал поднимать тревоги.

Старательно и со знанием дела почистили власти Нюрнберг. Изгнали тех, кто представлял наибольшую опасность, кто был энергичен и пользовался влиянием. Остальные, лишившись главарей, притихли. Надолго ли? Ми-кет ли чаша войны Нюрнберг? Со сторонниками Мюнцера справились без кровопролития. Теперь подошло время умиротворить сторонников Лютера. Совет сорока заседал почти каждый день, обсуждал один и тот же вопрос: пора или не пора? Большинство теперь склонялось к точке зрения: нужно своей волей подарить то, что скоро вырвут силой.

В марте 1525 года под председательством Кристофа Шейрля собрался в зале ратуши Большой совет. Занял свое место и мастер Альбрехт Дюрер. Все были преисполнены торжественности момента. Поднялся на кафедру Лазарус Шпенглер, сменил его проповедник Осиандер. Убедительно изложили они собравшимся причины, которые побуждают город стать на сторону Лютера. Обратились к присутствующим: пусть взвесят все без гнева и пристрастия и свободно решат, каким путем впредь идти Нюрнбергу. Постановил Большой совет: быть отныне лютеранству официальным вероучением в городе, в нюрнбергских церквах — богослужению на немецком языке, и не быть здесь ереси перекрещенцев и Мюнцера.

Однако на этом собрание не закончилось, поскольку приор кармелитов Андреас Штосс потребовал предоставить ему возможность высказаться. Предложил: допустить в городе свободу вероисповедания, сохранить монастыри и признать их уставы. Вновь поднялся на кафедру Шпенглер, призвал членов совета отвергнуть это опасное предложение, ибо вера должна быть едина. И совет решил: да будет так!

Переход на сторону Лютера потребовал изменения законодательства. И теперь оба совета собирались почти ежедневно. Пиркгеймер кусал локти — такое время, а он отстранен от кормила власти! У какого-то Шпенглера, даже Дюрера ее больше, чем у него. Какая там власть! Не смог Дюрер отстоять любимое им искусство. Совет, приспособляясь к Лютерову учению, принял решение: предметы искусства, хранимые в церквах и монастырях, объявить «адиафорой», то есть предметами бесполезными и не могущими претендовать на защиту властей. Алтари, правда, из церквей не удалили. Но кто мог ответить, не найдется ли фанатик, который сокрушит их. Обосновывая свое решение, совет сослался на Лютера: поклонение изображениям святых опошляет истинную веру, однако это не

запрещение искусства в целом. Никому не возбраняется писать картины, руководствуясь религиозным чувством, это не поругание бога. Но власти не обязаны заботиться об их сохранности.

Будто игнорируя это решение, Дюрер вдруг с головой ушел в исполнение своего замысла об огромном алтаре. Он понимал, что осуществить план полностью ему вряд ли хватит сил. Но вот боковые створы, на которых он решил изобразить проповедников божьего слова — апостолов, — он теперь писал не уставая. «Апостолы» превращались в самостоятельные картины, но ничего не теряли от этого. Он вкладывал в них всю свою веру в величие и вечность искусства. Работая над ними, забывал все — распри, раздирающие Нюрнберг и Германию, болезнь, терзавшую его. Прекрасное, в погоне за которым прошла его жизнь, наконец представало перед ним во всем совершенстве.

Мысль, впервые промелькнувшая в голове при чтении книги еретика Грайфанбергера — истинные пророки еще не пришли, ибо нынешние люди недостойны их, — теперь стала его твердым убеждением и, став таковым, нашла свое воплощение в величественной и ясной форме. Это — его завещание тем, кто будет жить после него, тем, кто будет бороться, мечтать и надеяться. Они будут достойны истины и обретут ее. А он, доселе неутомимый Дюрер, устал. Ему хочется покоя. Дни для него уже тянутся слишком долго.

Что скрывать: он с вожделением ждет того часа, когда, не возбуждая праздного любопытства, сможет прилечь и расправить свои ноющие кости. Но часто случается, что сон не приходит. Тогда он лежит на спине и в тоске наблюдает за тем, как сплетаются на потолке в причудливой пляске тени, так пугавшие его в детстве. Он пытается думать о глубоком южном небе и ярких звездах Италии. Не удается... Потом приходит утро. Гремят на кухне котелки и тазы, и каждый раз, будто пробуждая зарю, доносится с улицы противный, режущий ухо и душу скрип несмазанных колес: кто-то торопится с рассветом покинуть город, может быть, навсегда.

Теперь из Нюрнберга уходили приверженцы старой веры. Уходили, невзирая на опасности, подстерегающие их. Крестьянская война достигла апогея.

Но в тот день, когда Дюрер держал в руках готовые листы своей книги, в Нюрнберге распространился слух, что скоро беспорядкам будет положен конец. Лютер призвал к решительным действиям. Реформатор отвернулся от своих «дорогих друзей», как он раньше называл крестьян. Его бюргерство одержало верх. Проповеди Лютера стали иными. Написанные и произнесенные на языке ветхозаветных пророков, жестоком и

беспощадном, они внушали ужас. Крестьяне для него превратились в «пьяниц, разбойников и убийц», людей, «одержимых дьяволом». Он не скупился на «доказательства». По наущению нечистого разрушили они, во-первых, свой долг перед властями, занялись, во-вторых, грабежом и насилием, в-третьих, докатились до оправдания этих злодеяний ссылками на святое Евангелие. Тем самым они совершили три смертных греха. Посему тот, кто еще в силах, пусть колет, рубит, душил бунтовщиков. Он совершает богоугодное дело, применяя пытки, он избавляет душу преступника от адских мучений. И открывается ей путь в царство небесное.

Дюрер, как и всякий горожанин, не испытывал к крестьянам ни особой любви, ни ненависти. До недавнего времени крестьяне существовали там, за городскими стенами. Изредка появлялись в городе, торговали на рынке и, распродав привезенный товар, тотчас же отправлялись по домам. Казалось, городская жизнь тяготит их, непонятна им, вызывает удивление. Возвратившись в свои деревни, они потешались над горожанами с их необычными нравами. Горожане не оставались в долгу: в их карнавальных представлениях крестьянин появлялся лишь в роли шута, в шванках он попадал в самые дурацкие положения и не мог похвастать избытком ума. В работах Дюрера деревенские жители встречались редко. Когда же появлялись, то в них не было ничего шутовского: крестьянин был для художника таким же человеком, как все. И вдруг этот самый крестьянин, оказывается, не только враг, но и исчадие ада...

В ночь после троицы Дюрера снова посетил «вещий» сон. Он увидел себя в пустынной местности. Перед ним возвышались горы, похожие и непохожие на альпийские. Наверное, он стоял на возвышенности, ибо мог видеть почти всю землю. Небо тяжело нависло над нею, по нему ползали мрачные, рассерженные тучи. Вдруг он явственно услышал плеск воды и, оглянувшись, увидел, как вниз устремляются целые потоки. Неудержимо, деловито они приближались к земле, растекались по ней, скрывали под собою живое и мертвое. Ветер неистово завывал над погибшей землей и, вдруг вздыбив волны, погнал их вверх к горе, на которой стоял он, Дюрер... Мастер проснулся. Сон был настолько реален, что он не сразу сообразил, жив он или уже мертв. Брань Агнес, поучавшей в соседней комнате Сусанну, наконец убедила его, что он еще не покинул этот бренный мир печали и страданий.

Мастер тотчас же зарисовал увиденное и подробно записал свой сон. Зачем? Он никогда раньше этого не делал. Может быть, для того, чтобы отразить те «страхи», которые одолевали его после того, как он услышал, что 5 мая 1525 года скончался Фридрих Мудрый. Дюрер почему-то верил,

что только курфюрст может принести Германии успокоение. Теперь и на это надежды не было.

В ночь на 14 мая 1525 года войска гессенского ландграфа Филиппа вышли к стенам Франкенхаузена, оплота восставших крестьян. Утром того же дня они с ходу атаковали повстанческие отряды Мюнцера, но были отбиты. Рассказывали, что после победы крестьян на небе вспыхнула радуга — символ восставших. Бог был явно на их стороне, и они полностью положились на него. Повстанцы ликовали, а тем временем ландграф завершил окружение их лагеря, умело расставил орудия. Во второй половине дня на укрепления Мюнцера обрушился шквал огня. Ядра сметали все — повозки и людей, словно гигантский плуг, перепахали вокруг всю землю. Потом войска Филиппа снова перешли в атаку, безжалостно уничтожая оставшихся в живых. Восставшие дрогнули и в панике побежали к лесу, сулившему спасение. Ландграф предвидел и это. Там их встретил рейтарский заслон. Тогда крестьяне повернули к городу. Но лишь немногие достигли Франкенхаузена. Мюнцер был среди них. Спасения не было и за городскими стенами. Какой-то ландскнехт опознал его и, польстившись на обещанные сто гульденов награды, выдал врагам... Это произошло 15 мая 1525 года.

Двенадцать дней пытали Мюнцера, требуя подписать документ, в котором он отрекся бы от своих взглядов, объявив их ложными и еретическими. 27 мая Мюнцер был доставлен в Мюльхаузен, где его обезглавили. Голову, надетую на шест, выставили на городской стене для устрашения непокорных. А как же отречение? В Нюрнберге говорили разное. Одни утверждали, что Мюнцер отказался от своих «заблуждений», и даже читали какую-то полученную из Мюльхаузена бумагу. Другие — и таких было большинство — в отречение не верили. У них были самые точные сведения о том, что перед тем, как положить голову на плаху, Мюнцер призвал продолжать начатую войну, силой оружия восстановить божью правду.

Крестьянская война, однако, была уже обречена на поражение. Одна за другой вырастали в Германии виселицы. Безжалостно валили столетние дубы, чтобы превратить их в плахи. Победа, будто хмель, ударила в головы тех, кто еще совсем недавно дрожал за жизнь, имущество и власть. Окровавленными руками поднимали они кубки за свою нелегкую победу.

Милосердия не было. И Лютер говорил уже не языком библейских пророков, а языком князей и ландскнехтов; он не хотел ничего знать о милосердии по отношению к крестьянам.

Заплечных дел мастера богатели. Сохранился для истории счет палача

маркграфа Казимира Бранденбургского.

«Мастер Августин, палач маркграфа, заверяет, что в течение этого похода он обезглавил общим числом 80 человек, а именно: 1 в Нейенхофе, 1 в Эрльбахе, 10 в Испсхейме, 3 в Ансбахе, 6 в Лейтерсхаузене, 9 в Китцингене, 2 в Хехштадте, 18 в Нейштадте-на-Айше, 25 в Ротенбурге-на-Таубере, среди которых двое были подданными Людвига фон Гуттена, 4 в Крайльсхейме, 1 в Фейхтвангене — итого 80 человек. 7-ми в Лейтерсхаузене были отрублены пальцы, 62-м в Китцингене были выколоты глаза» и т. д. Палачу согласно его прошению было обещано платить за каждого обезглавленного по гульдону и за каждого, кому он отрубит пальцы или выколует глаза, по полгульдону. Вот последние строки этого страшного документа:

«80, кому была отсечена голова, 69, кому были отсечены пальцы или выколоты глаза 114,5 гульдена.

Из этой суммы следует вычесть:

Полученные от ротенбуржцев... 10 гульденов.

Полученные от Людвига фон Гуттена... 2 гульдена.

Причитается... 102,5 гульдена.

К этому следует прибавить жалованье за 2 месяца по 8 гульденов в месяц.

Итого: 118,5 гульдена.

Сие собственноручно заверил Августин-палач, прозванный в Китцингене «мастером Аве».

Жестокость... Снова жестокость! Сейчас бы Дюрер не написал того панегирика Лютеру, который создал, узнав о его мнимой смерти. Ко всему прочему, к мастеру в Нюрнберг уже приходили посланцы ландграфа Филиппа с заказом на памятник, который бы прославил в веках «великую викторию». Мастер им отказал — он никогда не создавал памятников и в этом деле неискусен.

Посланцы ушли ни с чем. После их ухода мастер послал слугу к типографу, печатающему его книгу об измерениях, и попросил его приостановить работу, ибо он собирается внести дополнение. Этим дополнением был проект памятника «великой виктории».

Пусть возьмут две квадратных плиты разных размеров, водрузят их одну на другую, расположат на выступах первой плиты, оставшихся свободными, связанных коров, овец, свиней и прочую живность. По углам

второй плиты пусть поставят корзины с сыром, маслом, яйцами, луком и другими овощами. Потом... Что же потом?.. На следующую плиту следует водрузить еще ларь для овса, на него опрокинуть котел для варки сыра, на него сырную форму, накрытую тарелкой, а сверху кадку для масла. Выше! Выше! Ведь памятник должен быть достоин великой победы. Сверху еще кувшин для молока, в него вставлены навозные вилы с прикрепленными к ним другими орудиями — цепами, мотыгами, на них клетка для кур с опрокинутым горшком для сала сверху... Вот теперь, кажется, достаточно высоко. Теперь все следует увенчать фигуркой согбенного крестьянина, которому предательски вонзили меч в спину. Дюрер старательно проставил все размеры согласно правилам, им разработанным.

Когда книга вышла в свет, власти, естественно, обратили внимание на помещенный в ней проект памятника. Но что Дюрер хотел сказать им? Кого высмеивал — победителей или побежденных? В тексте мастер избежал каких-либо пояснений. Для властей было удобнее считать, что это всего-навсего насмешка над крестьянином, дерзнувшим поднять руку на своих повелителей.

Дюрер не опровергал и не подтверждал этого мнения. Он молчал. Он писал своих «Апостолов».

ГЛАВА XI,

в которой рассказывается, как Дюрер создал «Четырех апостолов», как написал он книгу о живописи, создав попутно трактат об укреплении городов, и как, совершив все это, великий мастер умер.

Да, Дюрер теперь бы не написал о Лютере таких проникновенных строк, как во время своего путешествия в Нидерланды. Просто не смог бы. Мечта о том, что Лютерово учение объединит немецкую нацию и все народы, ушла безвозвратно. Пиркгеймер был прав, говоря, что речь идет о смене одних фанатиков другими. Его пророчество подтвердилось. Сторонники Лютера в Нюрнберге теперь требовали от горожан такого же почитания своего учителя, какое раньше оказывалось папам. Лютер занимал место низвергнутых святых. Распространяли в городе гравюру некоего Вольфганга Штубера, на которой доктор Мартин был изображен за переводом Библии. Все детали, весь фон неизвестный Дюреру гравер перерисовал с его «Иеронима в келье», только вместо святого за столом сидел реформатор.

Все реже стал встречаться мастер с прежними друзьями-лютеранами, и это вызывало у них беспокойство. Шпенглер видел здесь козни Пиркгеймера и уже неоднократно пытался выяснить у Дюрера причины его недовольства. Разве он пострадал от Реформации? Или, может быть, жестокость, против которой он восстает, обрушилась на его близких и знакомых? Ведь нет же! Власти уважали его ходатайство. Иероним Андре отпущен на свободу, Зебальду Бегаму разрешено возвратиться в Нюрнберг. Чем же он недоволен? Хорошо, пусть алтари в церквах не пользуются защитой городских властей. Да много ли их им написано? В них видел основную задачу своего творчества? Сейчас он пишет алтарь.

Дело ведь можно повернуть так, что его апостолы будут созданы во имя прославления тех, кто с риском для жизни обновил веру, кто донес до верующих истинное божье слово. Дюрер не спорил, но и не соглашался. Он молчал. И его молчание выводило Шпенглера из себя. Человек, проголосовавший в Большом совете за введение нового вероучения, предпочитает не выступать в его защиту! Это было непонятно. С беспокойством и ревностью наблюдал Лазарус, как Дюрер снова сближается с Пиркгеймером. Настроения Вилибальда ни для кого в городе не были секретом. Поэтому вновь возрождающаяся дружба Дюрера и Пиркгеймера вызывала у Шпенглера опасение, что Альбрехт отшатнется от

сторонников Лютера, как это уже сделали другие. А Шпенглеру нужны были союзники. И теперь больше, чем когда-либо.

Усмирение крестьян усилило противников Лютера в Нюрнберге. Поборники старой веры вновь подняли головы. Сначала шепотом, потом во всеуслышание заговорили в городе о том, что поспешили в Нюрнберге с введением лютеранства, незачем было порывать с Римом. И хотя все больше распространялись слухи о каких-то распрях между Карлом V и папой, разговоры эти не утихали, заставляя Лютеровых сторонников опасаться за свое будущее. Снова наступало такое же равновесие сил, как и до крестьянской войны, и еще не было ясно, кто одержит верх в новой схватке. Не вернется ли Нюрнберг к прежней вере? Такое казалось вполне возможным. Плохо тогда придется Дюреру, прослывшему ревностным сторонником Шпенглера, покровителем смутьянов! Пиркгеймер не менее настойчиво, чем Лазарус, советовал заявить о своей лояльности только другому крылу. Худо быть между двух огней!

Католики вновь поставили вопрос о монастырях, чтобы прощупать позиции противника. Не ослабли ли они? Лютеране вызвали в город Филиппа Меланхтона, одного из лучших проповедников нового вероучения. Ждали от него совета, как действовать дальше. Не знал Шпенглер, что, кроме него, направил такое же приглашение и Пиркгеймер, намереваясь уговорить Филиппа выступить в защиту монастырей. После решения совета многие из них были закрыты, а для тех, которые еще оставались, насильно вводили новые уставы и назначали новых исповедников из числа Лютеровых сторонников. Но все это были полумеры. Вынашивали Шпенглер и Осиандер планы навсегда прихлопнуть рассадники папской заразы. Вот почему серьезно опасался Вилибальд за жизнь своих дочерей и сестер.

В письме к Меланхтону писал Пиркгеймер: ему самому от просветителя ничего не нужно — вопиет он о защите для монастыря святой Клары. Там находятся сейчас две его сестры и две дочери. Жизнь их превратилась в сплошной ад: духовников к ним не допускают, весь пост монахини не смогли исповедоваться. Приходит же назначенный советом пастырь — в большинстве случаев Осиандер, — который свои проповеди, как правило, кончает угрозой, что не останется от монастыря камня на камне, если его обитательницы не перейдут в новую веру. Все эти пастыри поносят папу и императора, называя их тиранами, дьяволами и антихристами. Они же подбивают горожанок, ненавидящих монахинь, идти громить монастырь.

Меланхтон прибыл в Нюрнберг в ноябре. Остановился в доме

Пиркгеймера, который незадолго до этого стал советником императора Карла V. Власти поворчали: мог бы Филипп выбрать и лучшее пристанище, но не решились предписывать «просветителю Германии», что ему надлежит делать. Выступление Меланхтона в совете многих разочаровало. Сводилось оно к тому, что нельзя силой разгонять монахинь, нельзя заставлять родителей забирать своих детей из монастырей. Переглядывались собравшиеся: вон откуда ветер подул — из дома у Главного рынка! Под влиянием Меланхтона разрешили они монахиням пребывать в своих прежних монастырях, но запретили им принимать новых послушниц. Обрекались тем самым монастыри на естественное вымирание. Как и всякая уступка, это решение подняло дух противников Лютера: сдали одну позицию — сдадут и другие. В городе пошли разные толки о возможности нового погрома.

Вот почему пребывал Дюрер в состоянии самой черной меланхолии, когда явился к нему в дом Меланхтон вместе со Шпенглером, чтобы по просьбе Лазаруса укрепить мастера в вопросах веры. Ко всему прочему, Дюрер был простужен и не мог работать. На столе и под столом валялись разорванные листы бумаги. Встреча была прохладной. Художник кутался в драный халат и подчеркнуто молчал. Глубоко запавшие воспаленные глаза смотрели настороженно. Лицо, изборожденное глубокими морщинами, нахмурено, недовольно. Сгорбившись, сидел хозяин напротив гостей и нехотя цедил сквозь зубы односложные ответы на все вопросы.

Дюрер все твердил о какой-то спешной работе, которую необходимо выполнить сегодня же во что бы то ни стало. Косился Меланхтон на стол — узнавал человека, над портретом которого бился мастер, — Эразм Роттердамский. Заказчик торопит, доложил Дюрер, а он ни на шаг не может продвинуться вперед, ибо устал и вынужден то и дело отрываться. Однако Эразм никоим образом не подгонял его — всего только раз в письмах к Ниркгеймеру просил напомнить Дюреру о данном в Нидерландах обещании. Но это было давно — года два или три назад. Дюрер отказался от своего замысла, когда услышал о публичном отречении Эразма от Лютера и, как поговаривали в Нюрнберге, о его переходе на сторону панства. Что побудило его вернуться к гравюре — даже сам он вряд ли мог объяснить.

Чтобы не дать воцариться молчанию, заговорил Меланхтон об Эразме. Сказал, что порицает его за непонимание нового вероучения и значения подвига Лютера. А можно ли строго судить философа за это? Задал такой вопрос Меланхтон и сам же на него ответил: и Эразм ведь всего-навсего человек, а потому ему свойственна слабость человеческого разума,

бессильного постигнуть высшее. В этой связи вспомнил Филипп, что признавался ему сам Лютер: с университетских лет стремился познать истину, но чем глубже погружался в богословские трактаты, тем больше понимал бессилие людей в полной мере постигнуть «божественное откровение». Любой человек, сколь умен он ни был, — это только «слепая кляча», которую ведет господь.

«Слепая кляча», — будто эхо повторил Дюрер, и его лицо приняло страдальческое выражение.

Меланхтон продолжал: взять хотя бы Томаса Мюнцера: так, как он, мало кто знал Священное писание, но выводы из него делал ложные, ибо был искушен дьяволом. Он, Меланхтон, видел Мюнцера, поэтому может смело утверждать: это — сам сатана во плоти. Знал ли его мастер Альбрехт? Дюрер отрицательно покачал головой, Филипп придвинулся к нему ближе. Уж не сомневается ли мастер, что с Мюнцером обошлись чрезмерно сурово? Подобные сомнения нужно выбросить из головы. Лютер во всеуслышание заявил, что смерть Томаса — это дело только его совести: это он, Лютер, убил неистового грешника. Стер с лица земли, ибо тот хотел погубить учение Христа.

Все, что сейчас Дюреру говорил Меланхтон, было ему известно. Он уже не раз перечитал «Страшную историю Томаса Мюнцера и божьего суда над ним». Памфлет Лютера широко распространялся в Нюрнберге проповедником Осиандером. Именно здесь утверждалось, что неистовый Томас — это сам дьявол во плоти.

Дюрер не стал продолжать разговора. Казалось, он по-прежнему нетерпеливо ожидает, когда его оставят в покое. Меланхтон поднялся, чтобы уйти, но Дюрер, однако, попросил гостя задержаться. Быстро, уверенно набросал мастер его портрет на бумаге. Филипп ожидал, что, расставаясь, мастер подарит ему этот рисунок. Однако тот положил его на кипу других, валявшихся на столе.

Предчувствие каких-то серьезных неприятностей, ожидавших его в ближайшем будущем, не покидало Дюрера, хотя он нигде не мог открыть признаков угрожающей ему беды. О деле «безбожников-живописцев» ему никто не напоминал, слава прикрывала его надежным щитом. Но он был человек своего времени и, оглядываясь вокруг, к своему ужасу, не видел могущественных покровителей, способных прийти на помощь в трудную минуту. Умерли Максимилиан и Фридрих. Пиркгеймер окончательно потерял остатки своего влияния, не помогло и звание императорского советника. Шпенглер? Но кто всерьез считается с ним? Теперь все больше

становилось ясным: патриции выдвинули его в качестве разгребателя грязи, когда им нельзя было действовать своими руками, он сделал свое дело и, видимо, скоро должен будет уйти.

Так что не без причин появился прославленный мастер в рождественские праздники 1525 года в домах нюрнбергских бургомистров Иеронима Хольцшюэра и Якоба Муффеля с поздравлениями. Он пришел без обычных в таких случаях подарков, лишь с предложением написать портреты этих великих мужей, прославивших город. Приступая по принуждению к выполнению такого самому себе сделанного заказа, скоро увлекся: впервые представилась возможность написать портреты в чисто нидерландском стиле. И они получились на славу — строгие, без всяких излишеств. Манера полностью отвечала суровым временам и пуританским требованиям новых властителей. Хольцшюэр выглядел подлинным отцом города — тяжелый взгляд из-под насупленных бровей, кажется, проникает в самую душу. Вот человек, который действительно знает все, что творится в Нюрнберге. Якоб Муффель изображен помягче, скорее это портрет доброго старого знакомого. Муффель был тяжело болен, все в городе это знали. Дюрер на его портрете поместил надпись: изобразил-де он Якоба Муффеля в возрасте пятидесяти пяти лет, полным сил и здоровья. Бургомистр скончался ровно через год.

Одним словом, своей новой работой Дюрер остался доволен не менее тех, кого он одарил. Окрыленный успехом, приступил к завершению гравюры с изображением Эразма Роттердамского. Получался портрет не таким, каким он его задумал. Казалось поначалу, что за прошедшие годы подзабыл детали, растерял навыки. А причина, видимо, была в другом. Говорили ему некогда итальянские мастера: если к изображаемому предмету сердце твое остыло, лучше брось кисть и резец. Этим советом он пренебрег, надеялся себя пересилить, да и перед Эразмом было неудобно. Получив гравюру, роттердамский мудрец одним из первых понял, в чем дело. Пиркгеймеру Эразм писал: Дюрер «достоин вечной славы. Если его изображение не совсем точно, в этом нет ничего удивительного. Я уже больше не тот, каким был пять лет назад».

Неудавшийся замысел — вполне достаточный повод, чтобы надолго испортилось настроение. Теперь для него было довольно и гораздо меньших причин. Боже, как был расстроен Альбрехт, когда показал ему Вилибальд вышедший наконец перевод трудов Птолемея! Пиркгеймер и сам был недоволен этим изданием: вопреки его просьбам не перегружать книгу иллюстрациями — она ведь издается для ученых, а не на потеху старым бабам да детям, — страсбургские издатели начинили ее, как

колбасу салом, гравюрами, к делу не относящимися, и картами, давным-давно устаревшими. Дюреровская армилярная сфера в этой компании как красавица среди уродов. Но главное было в том, что издатель оповестил на весь мир: в иллюминировании труда принимал участие сам великий Дюрер. Пришлось умолять Пиркгеймера, чтобы он при рассылке книг друзьям специально оговаривал: Дюрер к ней никакого отношения не имеет.

Ничего иного, кроме желания оградить свое доброе имя, мастер этой просьбой не преследовал. А Вилибальд обиделся: значит, никаких дел он с ним иметь не хочет? Насилу удалось успокоить. Чересчур подозрителен стал Пиркгеймер, заботы последних лет не прошли бесследно. Ему теперь везде чудились враги, о том только и мечтающие, чтобы свести с ним прежние счета.

Все беды Пиркгеймера происходили оттого, что никак не мог он примириться с надвигающейся старостью. Не хватало ему шумных застолий с друзьями, длившихся ночи напролет. Не хватало даже ссор, на которые прежде толкала его буйная натура. И сейчас Вилибальд лез в драку, сцепился со швейцарским реформатором Эколамнадом из-за вопроса о причастии. Швейцарец утверждал, что чепуха все это: никакого тела господня верующий не вкушает, а Пиркгеймер доказывал, что вкушать можно не только в прямом, материальном смысле, то есть посредством рта и глотки, но и в смысле духовном, символическом. Шум развели на всю Германию. И без толку. Потом решил Пиркгеймер поучить своих сограждан, написал трактат «Всем, кто хочет жить благочестиво». Ну и что? Внял ли хоть один нюрнбержец его советам? Впрочем, в книге было одно место, которое пришлось по душе Дюреру. Предостерегал Вилибальд от лжепророков, которые используют божье слово лишь для того, чтобы возвеличить себя самих.

Как был Пиркгеймер неутомимым человеком, так им и остался. Меланхтон, пока гостил у него, пытался направить бьющую через край, несмотря на возраст, энергию на более полезное дело. Хвалил его деятельность просветителя немецкого народа посредством переводов произведений древних, советовал продолжить ее. Вилибальд принял за «Характеры» Теофраста и на время утомился. Но ненадолго. Стараясь, Пиркгеймер все более горевал, что нет у него сына, который унаследовал бы его титул и имущество. Особенное беспокойство вызывала судьба библиотеки. Когда начались неурядицы, задался он целью усыновить незаконнорожденного Себастиана. Сначала казалось, что такой замысел получится. Он даже показывал Дюреру трехлетнего малыша —

продолжателя пиркгеймеровского рода. Но, ссылаясь на законы города, совет наотрез отказал в этой просьбе. Теперь Вилибальд искал для себя подходящего зятя. Его дочь Фелисита, бывшая замужем за Гансом Имхофом, внезапно овдовела, и отец начал подбирать ей нового мужа по своим вкусам. И подобрал — всем на удивление — Иоганна Клебергера. Клебергер — впрочем, на самом деле звали его Шойенпфлуг — был уроженцем Нюрнберга. Быть-то был, да только с малолетства здесь не жил. Отец его, после того как разорился, бежал из Нюрнберга. Никто о нем ничего не слышал. И вдруг — явление: приезжает в город его сын, но под другим именем, и к тому же сказочно богат. Ходили слухи, что состояние он нажил на службе у французского короля. Уже это одно внушало подозрения. Патриции его и на порог к себе не пускали. А Пиркгеймер, можно сказать, ни с того ни с сего — дверь перед ним нараспашку и к тому же прямо-таки стал навязывать ему в жены свою дочь.

Все пытался Вилибальд свести Клебергера с Дюрером, мастер же проявил большую осторожность, чем он. Новый друг Пиркгеймера ему совершенно не нравился. А у неистового патриция новая идея появилась: пусть Дюрер напишет портрет молодого человека — и не как-нибудь, а в прежней итальянской манере. Убеждал Альбрехт Вилибальда, что от такой манеры он уже давно отказался. Не помогало. Вилибальд не отставал. Взялся писать. За те несколько дней, которые провел с Клебергером, достаточно познакомился с характером модели: необуздан, заносчив. Свое наблюдение художник выразил, присовокупив к надписи, обрамляющей портрет, астрологические знаки Солнца и льва, говоря тем самым: не властен этот человек над собою, ибо помыслами и делами его управляют другие.

Чуял сердцем — новая трагедия начинается в доме Пиркгеймера. Так оно и случилось. Но ее конца ему не суждено было увидеть. Клебергер все-таки взял в жены Фелиситу, а через несколько дней таинственно, как и появился, исчез из города. После этого дочь Пиркгеймера тяжело заболела, на глазах таяла, как свеча, и через некоторое время умерла. От этого удара Вилибальд уже не смог оправиться. Будучи уверен, что Клебергер отравил его дочь каким-то медленнодействующим ядом, он поклялся все свои силы отдать его розыску и наказанию. Однако не успел сделать ни того, ни другого. Так что стал последний дюреровский портрет памятником несбывшихся надежд и людского коварства.

В мае 1526 года в Нюрнберг снова прибыл Филипп Меланхтон и привез с собою на этот раз Эобания Хесса, известного поэта и к тому же

профессора латинского языка. Хесс должен был остаться в Нюрнберге и помочь городским властям организовать лютеранскую гимназию, а затем преподавать там поэтику и риторику.

Меланхтон привел Хесса в дом Дюрера. Во время беседы тактично, по настойчиво расхваливал характер и способности Эобания. Подводил к мысли, что станет поэт неплохим другом и советчиком в трудную минуту. Он-де знает несколько языков, хорошо разбирается в философии и религии, особенно в Лютеровом учении. Может он оказать также помощь в редактировании книги мастера. Вот к этому человеку, не то что к Клебергеру, Дюрер сразу проникся доверием, хотя и не особенно понравилось мастеру, что вроде как бы навязывает ему Меланхтон Хесса в качестве некоего вероучителя. В таком предположении была доля истины, впрочем, не слишком значительная. Умолчал сознательно Меланхтон, что Хесс, ко всему прочему, был неплохим врачом и что привел он его к Дюреру не только для поддержания здоровья духовного, но и для наблюдения за здоровьем телесным.

Хесс во время этой встречи говорил мало, больше слушал и наблюдал. А беседовали на сей раз не о Лютере и его учении, а о том, что сейчас больше всего волновало Дюрера — о его книге и возможностях живописи. Полемизировал мастер с Пиркгеймеровым тезисом, что отображать духовный мир человека живопись все-таки не может. Неправда! Нидерландские художники уже близко подошли к решению этой задачи. Ах, как жаль, что нет у него времени последовать их путем, но все-таки и он кое-какой вклад в их дело внес. А потом стал говорить художник, что, если бы сбросить с плеч десяток лет, он бы еще многое успел сделать. Вот в юности стремился он к сложным сюжетам, к разнообразию красок и множеству фигур. Теперь же чем ближе подходит к завершению своего жизненного пути и труда, тем яснее начинает понимать, что основа прекрасного — простота. Интересно говорил старый мастер: и о днях ученичества, и о поездках в Венецию, и о работе своей на покойного императора Максимилиана.

Потом, хитровато прищурясь, достал папку и вынул из нее гравюру. Портрет Меланхтона. В подтверждение своих слов, что прекрасное чуждается излишеств. Все в этой гравюре было просто, но вместе с тем была она вершиной мастерства. От гравюры еще сильно пахло типографской краской — ее мастер специально приготовил к приходу гостя. А затем повел Дюрер гостей в «святая святых» — свою мастерскую. Отдернул занавес, прикрывавший огромные доски. И посетители застыли в изумлении. То, что видели они до сих пор в многочисленных соборах и

церквях Германии, не шло ни в какое сравнение с этими двумя картинами — «Четыре апостола».

Твердо, уверенно стоит на земле Павел, опершись на меч и держа в руке Библию, ищет в Священном писании какую-то важную для него мысль Иоанн. А Петр, склонив к книге лысый череп, помогает ему. Иоанн застыл в неудобной позе, он отвлекся лишь на мгновение. Сейчас он найдет нужное слово, повернется к зрителям и обратится к ним со страстной проповедью. Широко распахнутыми очами взирает на Павла Марк, будто ждет приказания. Он не мыслитель, он больше исполнитель велений божьих, натура деятельная и живая.

После некоторого раздумья сказал Хесс, что дюреровский Иоанн походит чертами лица на Филиппа Меланхтона, и от имени тех, кто знает и ценит «просветителя Германии», благодарит он мастера за великую честь, оказанную их учителю. Движением руки пресек Меланхтон похвалы друга. Он сам хочет сказать об ином. Сетовал вот мастер Альбрехт, что не достиг еще мастерства нидерландских коллег в передаче характеров. Картина его, однако, опровергает сказанное. Только слепой не увидит, что здесь — воплощение всех четырех темпераментов: Иоанн — сангвиник, Петр — флегматик, Марк — холерик и Павел — меланхолик. Так понимает он, Меланхтон, один из замыслов автора. И догадывается, что своими апостолами говорит Дюрер: вот те, кто обрел истину. Отсюда их решимость и страсть. Картины мастера — это гимн, посвященный мысли, той великой силе, которая созидает и переделывает мир.

Выйдя от Дюрера, Меланхтон вопросительно посмотрел на Хесса. Тот печально покачал головой. Стал говорить нечто понятное лишь медикам — об истощении каких-то соков. Завершил свой диагноз словами, которые некогда слышал от итальянцев: вся жизненная сила мастера обычно уходит в последнее произведение, и оно становится недостижимым образцом, но вместе с тем и надгробием на могиле своего создателя. «Четыре апостола?» — спросил Меланхтон. Хесс утвердительно кивнул головой.

При встрече с членами совета говорил им Меланхтон, что могли бы власти Нюрнберга взять под защиту и охрану творения Дюрера. Передергивали собеседники недоуменно плечами: кто же на них покушается? В городе, слава тебе господи, ни одного алтаря до сих пор не уничтожили. Трудно предположить, что в Нюрнберге появится доморощенный Карлштадт. До сих пор и волоса не упало с головы Дюрера, его ценят и уважают. А вот у совета к нему немало претензий. Несмотря на ясно выраженный со стороны властей намек, он продолжает водить дружбу с опальными художниками, не отказавшимися от своих богохульных

взглядов. Это раз. Поместил в своей книге гравюру и описание памятника «великой виктории», которое составлено так, что его можно толковать по-разному. Это два. Давно даже самые ревностные хулители властей и новой веры отреклись от своих заблуждений и заверили совет в лояльном к нему отношении. Где же заверение Дюрера? Он да еще этот Ганс Сакс пока уклоняются. А почему? В чем причина? Да, написал мастер портреты Хольцшюэра и Муффеля. Но этим лишь выразил свое отношение к самим бургомистрам, но не к городским властям...

Понимал Меланхтон, для чего нужны совету такие заверения именно от Дюрера, на которого в городе смотрят с обожанием. И не мог найти объяснения, почему мастер отказывается дать их...

Позже, уже после смерти Дюрера, пытался Пиркгеймер объяснить поведение своего друга: «Я признаю, что вначале я также был хорошим лютеранином, как и наш покойный Альбрехт, потому что мы надеялись, что исправлено будет римское мошенничество, как и жульничество монахов и попов, но как посмотришь, дела настолько ухудшились, что евангелические мошенники заставляют тех мошенников казаться невинными... Прежние обманывали нас притворством и хитростями, теперешние же хотят открыто вести порочную и роскошную жизнь и при этом до слепоты заговаривать людей, способных видеть, уверяя, что не следует судить о них по их делам. Но Христос учил нас другому, и хотя хорошие дела не всегда можно легко узнать, но если кто-нибудь действует зло и дурно, то видно сразу, что он непорядочный человек, что бы он ни говорил о вере, ибо вера без дела мертва, как и дело без веры».

Все лето 1526 года Дюрер работал над второй книгой, посвященной учению о пропорциях, лишь на непродолжительное, время отвлекаясь от нее, чтобы закончить «Апостолов». По сути дела, обе картины давно уже были готовы. Убеждая себя в том, что они все-таки нуждаются в доработке, мастер оттягивал тот момент, когда придется расстаться с ними. После того как из разговора с Меланхтоном он понял, что так и не дождется выступления Лютера в защиту картин, у него больше не оставалось сомнений: его «Апостолы» должны покинуть Нюрнберг, перебраться туда, где они были бы в безопасности. Только где найти такое место?

Несколько раз навещал его Шпенглер, с изумлением взирал на «Апостолов», и, видимо, одолевали его те же мысли, что и мастера. От Лазаруса слышал Дюрер о беседе Меланхтона с членами совета и о нежелании большинства из них гарантировать защиту его картинам со ссылками на решение об «адиафоре». Ведь оно ни для кого не делает исключения. Лазарус советовал продать или подарить «Апостолов» совету,

тогда он будет вынужден позаботиться об их безопасности. Может быть, такой жест мастера к тому же сможет быть расценен как его заверение в лояльности. Дюрер просил времени на раздумье. Собственно говоря, каких заверений требуют от него? Кому и в чем?

Приходил Хесс — забирал мочу, колдовал над ней. Убеждал Дюрера, что вот так, опираясь на опыт и рекомендации лучших врачей, сможет он установить характер недуга, подрывающего силы мастера, и уж потом наверняка найдет средство борьбы.

Тянулись в дом Дюрера живописцы, случайно оказавшиеся в городе и прослышавшие о чуде, сотворенном нюрнбергским мастером. Им с трудом приходилось преодолевать заслон, установленный Агнес. Но и прорвавшись в мастерскую, только немногие удостоивались чести видеть «Апостолов». Будто любимое детище от дурного глаза, оберегал их Дюрер.

В конце сентября привел к нему Андреа молодого гравера, прибывшего в Нюрнберг из Саксонии, просил Дюрера помочь юноше встать на ноги, приобщить к высокому мастерству гравюры. Отнекивался Дюрер, как обычно, ссылаясь на занятость. Но тем не менее разговор шел ладный, душевный. Чем-то напоминал подмастерье Бальдунга Грина, даже рисунки его были выполнены почти в той же манере. В беседе угораздило гостя сказать, что слышал он недавно, как где-то в Саксонии фанатики уничтожили дюреровский алтарь. Жаль, конечно, что очищение веры сопряжено вот с таким варварством. Приносит он мастеру искренние соболезнования. Напрасно Андреа дергал его за рукав. Слово уже было сказано.

Сразу прекратил Дюрер разговор, нахохлился, будто чем-то его больно обидели. Поспешил Андреа увести несостоявшегося ученика Дюрера, который так и не понял, что же произошло.

Долго не находил себе места Дюрер после их ухода, ходил из угла в угол — все думал. Отказался от ужина и ушел к себе. Такое поведение супруга сильно беспокоило Агнес, и она приказала слуге не спускать с хозяина глаз всю ночь. Пристроившись в соседней комнате, слышал слуга, как ворочался мастер с боку на бок и вроде бы сам с собою разговаривал. Потом Дюрер оделся, прошел в мастерскую. Было слышно, как переходил он от одной картины к другой — грузными, беспокойными шагами. Останавливался, видимо, рассматривал их и снова принимался вышагивать по мастерской. Затем все затихло.

Дюрер подошел к «Апостолам» и резко отдернул занавеску. Лунный свет, падающий во все окна, залил четыре гигантские фигуры. Он пододвинул поближе скамью, тяжело опустился на нее. Сейчас,

освещенные луной, апостолы походили на скульптуры. Свободные плащи, укутавшие их с головы до ног, лишились оттенков, приобрели жесткость темного камня. Апостолы продолжали заниматься своим делом. Лишь Павел гневно и осуждающе косил оком на мастера.

Четыре темперамента!.. Дюрер усмехнулся: люди всегда склонны видеть больше, чем есть на самом деле. Может быть, отсюда все их заблуждения и все их страдания? А это — всего лишь апостолы. Величественные, они навсегда застынут в гордом молчании. Пройдут столетия, а они так же сосредоточенно будут читать Библию, отыскивая в ней истину. И они будут молчать, от их имени будут говорить другие, уверовавшие в то, что именно им раскрылась эта истина.

Боже, наставь ходящих во тьме, вразуми их, избавь их от кровопролития, прекрати вавилонское непонимание Друг друга!..

Дюрер поднялся со скамьи, подошел к картине — и в ужасе отпрянул. Апостолы ожили в обманчивом лунном свете. Они вдруг стали отделяться от сковывающего их темного фона. Страшно вскрикнув, грохнулся мастер на пол, и тени, ринувшиеся на него из всех углов, придавили его всей своей жестокой тяжестью...

Дюрер очнулся на постели в своей комнате, погруженной в полумрак. Он не помнил происшедшего. Старался вникнуть в то, что говорил склонившийся над ложем Эобаний, но смысл слов ускользал от него. В ногах, согнувшись в три погибели, сидел Вилибальд Пиркгеймер.

Несколько дней мастер пролежал неподвижно. Силился что-то вспомнить, нечто важное для него, о чем думал в ту злосчастную ночь. Нет, не припоминалось. Пришел навестить его Шпенглер и начал с извинений: не мог зайти раньше — много занимался городскими делами. По-прежнему приходится удерживать от крайностей враждующие партии. Рассказывал о новостях. Дюрер слушал его без интереса. И вдруг лицо его прояснилось — глядя на Шпенглера, вспомнил наконец то, о чем думал тогда, ночью, перед «Апостолами». С большим трудом понял Лазарус, чего хочет от него мастер. Язык еще плохо ему повиновался. Пусть он разузнает у членов совета, не согласится ли Нюрнберг принять в дар его последнюю работу — его «Апостолов». Ответ Шпенглер принес в тот же вечер: совет не имеет ничего против дара мастера Альбрехта, но... Дюрер понял. Приказал принести чернильницу и перо. Стал диктовать.

«Благоразумным, достопочтенным, мудрым и любезным господам. Хотя я давно уже намеревался преподнести Вашей щедрости на память мою недостойную живопись, я вынужден был откладывать это из-за слабости и незначительности моих работ, ибо я сознавал, что не мог

достойно предстоять с ними перед Вашей мудростью. Теперь же, написав в недавнее время картину, в которую я вложил больше старания, чем в какую бы то ни было другую живопись, я не считаю никого более достойным сохранить ее на память, нежели Вашу мудрость...»

Художник ставил условие — одно-единственное: на картинах должны быть сделаны надписи. Он сам сочинит их. После некоторых колебаний Шпенглер с ним согласился, но сказал, что предварительно эти надписи будут представлены совету. Через день Дюрер передал ему текст, содержащий всего несколько фраз: «Все мирские правители в эти опасные времена пусть остерегаются, чтобы не принять за божественное слово человеческие заблуждения...» И все. Далее шли четыре цитаты — из Павла, Иоанна, Марка и Петра. Четыре точные выдержки из Евангелия. Предостережение Петра и Иоанна от лжепророков и сект и обличение Марком и Павлом падения нравов и развратного образа жизни.

Шпенглер понимал, что трудно возразить что-либо против Священного писания, но ведь Дюрер таким образом выражал свои собственные мысли, и они вновь не походили на «заверение в верности». Смысл его желания поместить на своих картинах именно эти цитаты оставался для Лазаруса открытым. Их можно было толковать по-разному. Можно было допустить, что раздельно они обличали и приверженцев старой веры, и безбожников, хотя изречения из Иоанна и Петра, направленные против лжепророков, явственно перекликались с заключительными страницами книги Пиркгеймера «Все, кто желает жить благочестиво», где клеймились не только сторонники Мюнцера. Взятые вместе слова апостолов могли быть истолкованы как осуждение всего ныне происходящего в Нюрнберге, как призыв вернуться к единству и примирению. Шпенглер знал, что ему не добиться каких-либо пояснений от самого Дюрера. Он оставил это дело на усмотрение совета, скрыв, однако, от него свои сомнения.

6 октября 1526 года отцы города постановили внести в «Книгу совета» свое очередное решение, которым предписывалось: сообщить мастеру Альбрехту, что его картины понравились им и они принимают их в дар. Дюрер отказался от вознаграждения, совет тем не менее «оказал ему честь» и обязался выплатить сто гульденов ему лично, двадцать гульденов его супруге Агнес и два гульдена — слуге.

На следующий день к Дюреру пришел городской писец Иоганн Нейдорфер и сделал на картинах надписи согласно желанию мастера. Под вечер явились дюжие слуги совета, бережно подняли две огромных доски и на руках отнесли их в ратушу, где в одном из залов для них уже было приготовлено место. Через несколько дней совет изъяс у церковных

властей портреты императоров Карла и Сигизмунда и тоже поместил их в здании ратуши.

В городе сразу стало известно и о даре Дюрера, и о надписях, сделанных им на картинах. Они были названы «завещанием и предостережением» мастера своему родному городу.

Дюрер умирал — медленно, трудно. Смерть уже не приводила его в ужас, как прежде. Она воспринималась как освобождение от всех мук, как обретение долгожданного покоя. До сих пор он никогда не думал о том, что человек просто может устать жить. Завершив «Апостолов», он уже не брался за кисть, штихель тоже бездействовал. Все, что интересовало мастера, ушло в прошлое.

И он сам уходил... Но, покидая милую землю, не хотел ни в чем оставаться должником. Почти все полученные деньги Дюрер употребил на погашение оставшегося долга за дом у подножия бурга — 275 гульденов. Агнес теперь могла быть спокойна — ни один ростовщик не тронет ее.

Был у него еще один долг — основной, перед собратями по искусству, — и все свои помыслы Дюрер устремил теперь на завершение книги о мастерстве художника. Работать было трудно — у него не осталось помощников. После суда над «безбожниками-живописцами», вышедшими из его мастерской, Дюрер не принял ни одного ученика, хотя ему рекомендовали многих. Вездесущий и все понимающий Андреа привел к нему мастера-гравера Шёна, хвалил его опыт и, самое главное, его бескорыстное желание помочь Дюреру. Новый помощник должен был готовить иллюстрации к труду мастера. Дюрер согласился. Он определил темы необходимых гравюр, достал старые наброски и даже попытался сделать новые. С грустью смотрел Шён, как старается мастер унять дрожь пальцев, выводящих некое подобие прямых. Трудно было сейчас представить, что эта рука могла некогда рисовать окружности, не прибегая к помощи циркуля.

По совету Андреа, Шён не сказал Дюреру, что основная цель, приведшая его к мастеру, заключалась в создании гравюры-портрета Дюрера. Ее собирались напечатать и распространить. Это был бы лучший памятник славному шоребержцу. К заговору Андреа присоединился и Хесс. Напугали они Шёна предстоящими трудностями: терпеть не может Дюрер своего старческого образа, давно уже бросил писать автопортреты и избегает зеркал. Рисовать тайком от мастера, которого он боготворил, Шён не мог. Поэтому честно признался в своих намерениях и, к немалому удивлению, получил согласие Дюрера, Мастер даже закрыл глаза на то, что

Шён рисует его в профиль, хотя именно этого ракурса в своих изображениях терпеть не мог. Из-за горбатого носа. Но Шён этого не знал, и никто его не предупредил. На гравюре не походил пятидесятишестилетний мастер на самого себя. Исчезли морщины, волосы стали черными как вороново крыло. Этаким крепыш-ремесленник, которому все по плечу. Уважив просьбу коллеги, Дюрер не проявил ровно никакого интереса ни к самой гравюре, ни к ее судьбе. Прекратил он внезапно и работу над трактатом о живописи.

Новая тема завладела им полностью. На этот раз писал Дюрер быстро, не прибегая к посторонней помощи. Сразу набело — без черновиков. Удивился Пиркгеймер, когда узнал, что пишет его друг. Теперь, заставая Дюрера за столом, он как-то особенно пристально приглядывался к нему. Лишь после того, как Андреа отпечатал эту книгу и Вилибальд ее прочитал, он признался: опасался он, не тронулся ли Альбрехт умом от хвори, ибо название нового его сочинения гласило: «Наставление к укреплению городов, замков и пространств».

Из посвящения штатгальтеру Карла V в Германии королю Фердинанду ясно было видно, что подвигнула Дюрера на этот труд забота о судьбе родины. Плохо ей приходилось: все еще не прекращались внутренние распри, стоившие многих сил и большой крови, враги — турки — вошли в Венгрию, а император, будто не замечая опасности, затеял свару со своим бывшим союзником — римским папой. Папа, покинутый Карлом V, не растерялся — заключил союз с французским королем. В результате вторгся в Германию враг и с запада. Боялся Дюрер осады Нюрнберга французами: ведь им сюда — всего несколько переходов. Звучал в его ушах упрек Чертте: беззащитна Германия перед внешним врагом, ничего не сделано для укрепления ее рубежей и границ города, за спорами о вере забыли о главном — все они дети одной земли. А ведь и к нему, Дюреру, был обращен тот упрек и то порицание. Давно он уже понял: порох — страшное оружие в руках человека. В свое время немало спорил о том, есть или нет от него защита. Пришел к определенным выводам — и ничего не сделал.

Возвращались на родину участники итальянских походов Карла V. Искалеченные, на всю оставшуюся жизнь напуганные. Побывали в передрягах — не приведи господи! Видели ад на земле. И все из-за этого пороха? От них узнал Дюрер, что в Италии размышляют над тем, как оградить города от пагубных последствий артиллерийского обстрела. И это подтолкнуло его на то, чтобы записать свои мысли. Может, и они пригодятся. Пришел он к выводу, что лучшей защитой от орудий могут быть лишь сами орудия: огонь гасит огонь. Беда только в том, что для

обороняющейся стороны нет возможности эффективно применить их. Артиллерию на стены не втащишь, против ворвавшегося в город противника ее не применишь — мешает радиальная планировка. Значит, начинать надо с переустройства городов и отказа от прежних догм. Нюрнбергские оружейники, с которыми он до болезни не переставал водить дружбу, высказывали некоторые соображения насчет обороны против пушек. Их он и взял за основу. Опираясь на них, суждения сведущих в оружейном искусстве людей, заявил: есть защита и от огнестрельного оружия, это прежде всего земля, насыпанная в валы, а также иная конфигурация крепостных укреплений и новая планировка самих городов, которая устраним скученность, а следовательно, уменьшит потери.

Первые три части «Наставления к укреплению городов...» Дюрер посвятил строительству оборонительных сооружений, призванных защищать город и от орудийного огня, и от штурмующих войск. Не отказавшись от привычных стен и рвов, он предлагал дополнительно насыпать земляные валы. Для использования в полную силу орудий, находящихся внутри города, изобрел новый вид укрепления — «бастион», и это был его большой вклад в военную науку и искусство фортификации. Бастион, имеющий по фронту овальную форму, глубоко вдаётся в ров, окружающий город. Тыльная его часть представляет четырехугольную платформу, на которой можно свободно разместить до двадцати орудий. Под платформой — казематы для укрытия солдат, склады боеприпасов и продовольствия. По его замыслу, каждый бастион должен представлять самостоятельную единицу в системе обороны и выдерживать длительную осаду, даже будучи отрезанным от основной группы войск.

Тема городских укреплений была исчерпана полностью. На бумагу она легла легко, и три первые части не отняли много времени. Гораздо медленнее продвигалась работа над четвертой частью, трактующей о новой планировке городов. Основную идею Дюрер заимствовал из писем Кортеса о покорении им Вест-Индии, к которым был приложен план Теночтитлана — сказочного города, созданного язычниками и разрушенного христианами. Ему было чуждо презрительное отношение к народам, придерживающимся иной веры, а что касается индейцев, то еще в Нидерландах он имел возможность восхищаться их искусством. То, что Теночтитлан построили какие-то там ацтеки, мало смущало его. В отказе от строительства городов в виде концентрических кругов и в приверженности к прямым линиям он видел преимущество. Поэтому в основе его идеального города лежит не круг, а квадрат. В центре — замок правителя.

Не останавливаясь на принципах его строительства — желающие могут прочитать об этом у Витрувия, — Дюрер все свое внимание сосредоточивает на планировке самого города, который должен дать защиту «нужным людям». Кто же они? Это прежде всего искусные в ремеслах, умудренные опытом и, естественно, благочестивые оружейных дел мастера, воины, кузнецы. Он включает сюда и живописцев, и зодчих, и золотых дел мастеров. Эти люди, пишет Дюрер, представляют наивысшее богатство любого города. Ну а как же король? Король живет себе в замке и следит за тем, чтобы там не было людей, не пользующихся его доверием.

Начиналось время создания утопий — четвертая часть книги нюрнбергского мастера положила им начало.

Доводы, приведенные в книге Дюрера, были столь убедительны, что с ними согласился даже Вилибальд, прочитавший рукопись. Ни за что бы не поверил старый волк, что человек, не державший ни разу в руках оружия, может столь здраво мыслить. Придрался лишь к одному: если столько городов надо перестраивать, то где он думает взять на такое дело денег? Тоже правильно! Поразмыслив, Дюрер внес дополнение: не только денег, но и времени в эту трудную пору нет на перестройку всех городов, поэтому нужно пока стремиться к тому, чтобы дополнительно укрепить их стены, срочно окружить рвами и насыпать земляные валы. Хотя, конечно, даже и сейчас некоторые из них можно было бы начать перестраивать. Ах, да — деньги! Пусть никого не пугают расходы, они будут меньше тех, что потребовались на сооружение египетских пирамид. Но фараоновы монументы бесполезны, а здесь выгода очевидна: это — единственный путь, чтобы отечество устояло.

А в мире между тем творилось невесть что. Войска Карла V, находившиеся в Италии, не получив обещанного им вознаграждения, принудили своих полководцев Бурбона и Фрундсберга вести их на Рим. Там надеялись они получить плату за свои «труды». В мае 1527 года Рим пал. «Святой город» был предан огню и мечу. Испанские католики и немецкие лютеране позабыли диспуты о вере. Некогда. Они не щадили усилий в другом — грабили, убивали, насиловали. Достигнув с помощью порицаемых им еретиков своей цели и отдав им на разграбление Вечный город, Карл V, находившийся в это время в Испании, почувствовал угрызения совести. Говорили: он не мог без слез выслушивать донесения о бесчинствах ландскнехтов, поселившихся в Сикстинской капелле и превративших ее в конюшню. Скорбь его по этому поводу была столь велика, что он отменил торжества по случаю рождения инфанта Филиппа. Впрочем, на это к тому же и не было денег.

В Нюрнберге перестали что-либо понимать в происходящем. Начались распри между Советом сорока и Большим советом, патриции стремились вновь обрести ту власть, которая чуть было не ускользнула у них во время крестьянской войны. Город плыл в будущее без руля и без ветрил. Сегодня принималось одно решение, а завтра другое, прямо противоположное. Граждане карались в равной степени за несоблюдение и первого и второго постановлений в зависимости от того, какая партия в совете переорала другую.

Еще сложнее было понять, куда Совет сорока направлял Нюрнберг. Исподволь укреплялись позиции католицизма. Ссора императора с папой мало что здесь изменила. Проповедник Осиандер подвергал преследованиям издателей гравюр, высмеивающих пап. Пострадал и Ганс Сакс, написавший к ним язвительные стихотворные подписи. Городские власти конфисковали прямо в типографии часть тиража и послали специальных эмиссаров на ярмарку во Франкфурт, чтобы скупить и уничтожить ушедшие от них экземпляры. Ганс Сакс, дававший по поводу своего проступка объяснения в совете, резонно спросил: какой все-таки веры придерживается сейчас Нюрнберг? Вместо ответа ему прочли решение, коим ему запрещалось писать стихи, а устно порекомендовали вернуться к тачанию сапог и впредь в дела, в которых ничего не смыслит, носа не совать.

Походило на то, что патриции выискивали поводы, чтобы раздавить иди унижить сторонников лютеранства. Был вызван в совет и Дюрер. Его обвинили в нарушении постановления властей о соблюдении чистоты в городе, принятого еще во времена оны. Судья напомнил ему, что этим решением даже свиней, патроном которых был святой Антоний, запрещается выпускать на улицу. А он соорудил отхожее место не в той части своего дома, в какой положено. Ссылки на слабость здоровья и связанную с этим ограниченную способность передвигаться были отвергнуты. Законы писаны для всех. В итоге нерадивый домовладелец Дюрер был присужден к значительному денежному штрафу. Можно было бы урегулировать дело без этого всеобщего позорища. Разве отказался бы он исправить свою оплошность? Но властям, видимо, было важно «наказать» его. Ничего не изменили здесь ходатайства Шпенглера и Пиркгеймера. Решение оставили в силе: «отцы города никогда не ошибаются». Правда, согласились вернуть деньги. Смотрите, мол, насколько скуп ваш знаменитый мастер и насколько щедр совет. Формальность была соблюдена: казначей получил с Дюрера Штраф и тотчас же вернул его гульдену. Наказание свершилось. Мастер ходил как

оплеванный. Даже выход в свет в октябре 1527 года «Наставления к укреплению городов» его не взбодрил. Не радовал его и успех книги. В том же месяце Андреа пришлось печатать второй тираж. Мастер Иероним только разводил руками: надо же — кажется, книга на любителя, а пользуется почти таким же спросом, как и проповеди Лютера.

Чувствуя, что силы уходят от него, Дюрер торопился закончить книгу о живописи. После позорного дела о нужнике он перестал появляться в городе. Но 12 ноября 1528 года все-таки отправился в ратушу — следовало получить проценты за заем, который он предоставил городу на «вечные времена». Но это был лишь предлог. На самом деле он шел проститься с «Апостолами». Под гору идти нетрудно, но этот путь показался бесконечным. Он останавливался через каждый десяток шагов, хватал ртом воздух, испытывал лишь одно желание — присесть хотя бы на несколько минут.

Получив деньги и собственноручно написав расписку, Дюрер срывающимся голосом попросил проводить его в зал заседаний. Но сегодня ведь нет никаких заседаний? Да, он знает о том. С помощью писца он с огромным трудом осилил лестницу. Юноша распахнул перед ним тяжелую дубовую дверь, ведущую в зал, и Дюрер, попросив оставить его одного, направился к своим картинам. В зале царила гнетущая тишина. Сумрак осеннего дня приглушал краски, его апостолы выглядели мрачно, детали терялись. Человек, сотворивший их, сидел перед ними, опустив голову. Он боялся взглянуть на свое создание. Опасался вновь пережить кошмар той сентябрьской ночи. Временами мимолетная улыбка касалась лица: его картины были в безопасности, он перехитрил всех...

Так ли? Воображение вдруг рисовало Сикстинскую капеллу и стоящих там на постое ландскнехтов. Зачем ему только рассказали об этом! Он постарался забыть о своих сожженных картинах. Он вдавливал в голову мысль, что его «Апостолы» надежно укрыты. А можно ли перехитрить судьбу? И все-таки искусство бессмертно. Своей книгой он доказывает, что его нельзя уничтожить. Оно вечно. Оно восстает из пепла, возрождается в каждом новом творении. Искусство живет несмотря ни на что. Он, Альбрехт Дюрер, нюрнбергский мастер, всю свою жизнь отдавший поискам прекрасного, не кривя душой говорит об этом тем, которые придут после него и произведений которых он уже не увидит. Он верит: эти творения будут прекрасны. Иначе не может быть. Иначе не стоило бы жить.

Обратный путь к родному дому мастер преодолел лишь с помощью двух слуг совета. Это был его последний выход в город.

Эобаний Хесс встревожился не на шутку. Как врач, он понимал, что

медицина уже бессильна сохранить жизнь мастеру. Составленные им снадобья приносили только временное облегчение. Да, по правде говоря, он и не преследовал теперь других целей. Хесс видел также, что Дюрер знает о приближающейся смерти. Мастер перестал интересоваться чем бы то ни было, кроме своей книги, торопился закончить ее, не находил себе места, понимая, что может не успеть. Раньше Хесс больше всего опасался, что его предложение о помощи приведет Дюрера к утрате способности сопротивляться болезни, к обострению недуга. Поэтому Эобаний косо смотрел на участие Шёна в создании гравюр для книги об искусстве. Но теперь он видел, что мастер и сам хочет помощи, и лишь ввевшаяся с детства привычка обходиться своими собственными силами мешает ему сказать об этом. И тогда Эобаний предложил свои услуги. Закончив дела в гимназии, он торопился в дом у подножия бурга — приводил в порядок рукопись, писал под диктовку Дюрера. Наутро его записи оказывались перечеркнутыми — за ночь мастер переделывал их.

К работе над книгой о живописи Хесс привлек и Йоахима Камерария — ректора своей гимназии. Камерарий преподавал греческий язык, но превыше всего ценил звучную латынь. С Камерарием Дюрер договорился о том, что он переведет его книгу на язык ученых Европы. Но пока еще этой книги не существовало. Камерарий иногда подменял Хесса, записывал мысли мастера. В перерывах между работой — а они теперь все больше учащались — Йоахим читал вслух стихи Горация:

Создал памятник я, бронзы литой прочней,
Царственных пирамид выше поднявшийся.
Ни снедающий дождь, ни Аквилон лихой
Не разрушат его, не сокрушит и ряд
Нескончаемых лет, время бегущее.
Нет, не весь я умру, лучшая часть меня
Избежит похорон...

Хесс старается прервать чтение: не следует напоминать художнику о смерти и похоронах. Мастер угадывал смысл намеков, печально улыбался. Он ценил деликатность врача. Но зачем все эти предосторожности, Хесс? Когда еще тебя не было в Нюрнберге, а они со Шпенглером баловались стихотворчеством, он, Дюрер, написал стихотворение, которое начиналось словами о том, что от надвигающейся смерти ничто не поможет... Пиркгеймер отрывался от рукописи друга, задумчиво шептал: нет, не весь я

умру... Горация обожал Цельтес. Далеко ушли те времена, когда поэт-лауреат декламировал оду древнеримского поэта в доме на Главном рынке.

Чувство ревности — не он, а Хесс помогает Дюреру — заставляло Пиркгеймера почти каждый день появляться в доме у подножия бурга, хотя эти прогулки стоили Вилибальду поистине героических усилий. Отбирая у автора и его помощника Хесса готовые листы рукописи, он правил написанное, устранял стилистические погрешности.

Дюреру посвятил Пиркгеймер свой перевод «Характеров» Теофраста. Он поспешил выпустить книгу в свет в сокращенном виде — сил на то, чтобы сделать полный перевод, Вилибальду уже не хватало. Посвящение нового Вилибальдова труда начиналось словами: эту книгу, подаренную некогда ему, Пиркгеймеру, ученым другом, решил он преподнести в дар Альбрехту Дюреру — не только в знак их трудной дружбы, но и для того, чтобы тот, будучи столь великим в искусстве живописи, увидел, как похоже старый и мудрый Теофраст умел изображать человеческие характеры и страсти. Стареющий упрямец! Он и свое посвящение использовал для продолжения спора о том, какое из искусств обладает наиболее совершенными средствами для передачи чувств и мыслей человека. Да, немало они поспорили за свою жизнь, отходили друг от друга, снова сходились. Их дружба действительно была не из легких, но, может быть, именно потому она продолжалась всю их жизнь.

Друзья всегда окружали Дюрера. Вот и сейчас они вместе с ним: Шён, терпеливо вносивший поправки в уже готовые гравюры и не считавший замечания блажью мастера, Хесс, появлявшийся каждый день в его доме, чтобы поддержать его силы и помочь в написании книги, Пиркгеймер, терпеливо вычитывавший рукопись, Андрея, взявший на себя труд напечатать трактат, Шпенглер, обезопасивший его картины. Ганс Бальдунг в своем далеком Страсбурге прослышал о болезни учителя и просил себе на память локон его волос. Теребя поредевшую гриву, шутил Дюрер: сейчас ему каждый волос дорог. Грустно улыбнулся своей шутке и заказал присутствовавшим: после его смерти отправить Грину прядь его волос и передать на словах, что считал он молодого живописца одним из немногих, кто был способен продолжить начатое им дело.

Как трудно давалось ему это сочинение, уже обретшее название «Четыре книги о пропорциях». В нем снова возвращался он к математическим расчетам, приводя в неистовство Вилибальда, у которого все еще не прошла оскомина от перевода «Начал» Евклида. Пиркгеймер порой даже отбрасывал перо: ну скажите на милость, к чему живописцу разбираться, прав или не прав в тех или иных вопросах грек-геометр?

Живописцу, конечно, важно знать, что Евклид ошибался в своих выводах, так как не принимал в расчет кривизну земной поверхности и что поэтому две параллели обязательно пересекутся или в центре земли или где-то в бесконечном пространстве!

Дюрер его утешил: это ведь только начало обширного труда о живописи. В других своих книгах он опишет ее законы, расскажет о методах и красках, объяснит, что такое прекрасное. Здесь пока что не более чем введение. За тридцать лет, отданных этой теме, передумано столько, что не уместить всего на какой-то сотне страниц. Пиркгеймер умолкал, переглядывался с Хессом. Они понимали друг друга без слов: напрасные мечты, не дано Дюреру закончить начатого им.

«Четыре книги о пропорциях» уже достаточно продвинулись вперед. Явственно проглядывала их структура. Первая часть — подробное описание того, как, прибегая к измерениям, можно сконструировать правильное изображение человеческого тела или его отдельных частей в натуральную величину. Во второй — таблицы, чертежи с проставленными размерами: мастер, отказавшись от первоначальной идеи создать одну-единственную фигуру-идеал, теперь уже рассматривает восемь образцов мужской фигуры и десять женской, обосновывает их пропорции и сравнивает между собой.

Нет, напрасно ворчит Пиркгеймер, что потратил бесполезно время на Евклида, что зря просиживал в библиотеке Региомонтана, пытаясь постигнуть тайну удвоения, утроения и прочих увеличений объемов. Вот результат его помощи — третья часть трактата. Объясняет здесь Дюрер живописцам, как, используя вспомогательные построения, можно по желанию уменьшать или увеличивать нарисованную человеческую фигуру, не нарушая ее пропорций. Разве этого мало? Живописец поймет и оценит этот подвиг. Да, Вилибальд, конечно, это было непросто, Евклид не давал здесь готовых решений. Тебе ли говорить об этом — ведь вместе продирались сквозь чащобу его постулатов? Не ворчи — время потрачено не зря. Третья книга заканчивается панегириком в честь учения о пропорциях. В четвертой части пытался Дюрер решить проблему изображения тела в движении, ту самую, ради изучения которой изобрел свою знаменитую куклу. Да, неплохо они поработали тогда с Зебальдом — десятки рисунков сохранились с тех времен. Теперь вместе с Шёном отбирали для гравюр наиболее удавшиеся, дорабатывали те, что не были тогда доведены до конца.

Книга приближалась к завершению. Пиркгеймер правил последние листы рукописи, где Дюрер объяснял метод, как с помощью кубов можно

создать контуры человеческого тела в различных положениях и позах. Кубы служили каркасом. После того как они выполнили свою роль, живописец закруглял их углы, смягчал ребра, превращал в живое человеческое тело. Вилибальд ворчал: пусть Дюрер покажет ему картину, созданную по этому дурацкому методу, который он навязывает другим живописцам! Никогда он не поверит в то, что Альбрехт писал своих «Апостолов» по этим рецептам.

После рождества забрал Андреа рукопись — готовить к печати. Унес Шён доски с гравюрами, сверив напоследок с мастером каждый штрих, каждую проставленную на чертежах цифру. Перестал появляться Пиркгеймер. Говорили, что новый приступ подагры уложил его в постель — а скорее всего ему просто опротивели частые встречи с Агнес. Но по-прежнему каждый день приходили Хесс и Камерарий: Эобаний наблюдать за состоянием больного, а ректор для того, чтобы Дюрер разъяснил ему те или иные живописные термины и математические понятия, которые встречались в его книге.

Камерарий уже принялся за перевод дюреровского труда на латинский язык. Забирал у Андреа готовые листы и переводил прямо с них. Дело продвигалось крайне медленно: Камерарий не знал толком ни математики, ни живописи. А к тому же мешал ему и Пиркгеймер, который требовал, чтобы Дюрер доверил этот перевод ему: это, мол, его долг перед другом и святая обязанность. В результате остановилась вся работа, ибо сил у Вилибальда осталось ничтожно мало. Дряхлели некогда могучие и мудрые львы!

Закончив «Четыре книги о пропорциях», Дюрер не мешкая приступил к следующей, в которой собирался рассказать о своем понимании живописи, о ее роли и о значении прекрасного в жизни, он хотел обрушиться на истребителей картин, дать советы, как воспитать настоящего живописца. Снова извлек на свет божий записи, сделанные много лет назад, но рукопись почти не двигалась с места: совсем ослаб мастер, руки не слушаются, память стала дырявой — вычеркивал вечером непонравившиеся строчки в надежде утром изложить мысль более четко и ясно, а на следующий день уже не мог припомнить, что, собственно, намеревался сказать. Тем не менее не прервал работы даже в дни масленицы, которую в этом году после долгого перерыва — не знали, соответствует ли карнавал новому вероучению или нет, — отмечали по-старому: шумно, беззаботно, а главное, весело.

Из окна видел Дюрер, как тянулись из близлежащих переулков, из городских ворот, спускались от бурга толпы разряженных людей, веселящихся в предвкушении обильной еды и питья, интересных зрелищ и

забавных происшествий, разговоров о которых хватит на весь год. Распри забыты, домашние свары отложены на целых три дня. Наступило царствование шутов — «дурацкое время». Шуты возьмут правление городом в свои руки, «низложив» городской совет. На рыночных площадях будут разыгрываться поучительные, обличительные, зубодробительные «фастнахтипили». Народ потешится и над отцами города, и над напой, и над Мартином Лютером, и над самим императором. В эти три дня все можно, все разрешено. Потом горожане успокоятся на год до следующего карнавала.

После карнавала Дюрер призвал к себе Андреа и отдал ему заметки о живописи, отказавшись продолжать их, превращать в новую, еще более обширную книгу. Андреа должен был поместить их в виде вступления к «Четырем книгам о пропорциях». Через неделю он прислал типографу еще несколько листов посвящения — свою книгу он вверял заботам Вилибальда Пиркгеймера. Обращаясь к нему, писал: «Хотя я, милостивый господин и друг, не сомневаюсь, что некоторые попытаются порицать это мое начинание за то, что я, человек неученый и малого разума, одаренный малым искусством, осмеливаюсь писать и учить тому, чему сам я никогда не учился и никем другим обучен не был, тем не менее, поскольку Вы не раз настоятельно просили меня и почти даже заставляли, чтобы я выпустил в свет эти мои книги, я готов скорее подвергнуться злословию, нежели отказать Вам в Вашей просьбе...

Чтобы эти мои книги приобрели защитника от злословия и чтобы, выразить, хотя бы на словах, если уж я не могу сделать этого своей работой, все мое расположение к Вашей чести за ту любовь, дружбу и доброту, которых Вы в течение долгого времени высказывали мне многими путями, я посвящаю их Вашей милости с просьбой, чтобы Вы поняли это мое намерение в лучшем смысле и оставались моим милостивым господином и покровителем, каким Вы всегда были. Это будет мне достаточным утешением, я постараюсь заслужить это, как умею».

Так было принято: унижая себя, возвеличивать того, от кого ждали помощи.

Дюрер торопил Андреа с изданием трактата — он хотел увидеть его напечатанным, ибо здоровье ухудшалось с каждым днем. В эти дни Андреа и его подмастерья не знали отдыха. В марте мастер Иероним начал передавать. Дюреру готовые листы для последней правки и уточнений. Но этим Дюрер уже не мог заниматься. Уставшая рука мастера нежно перебирала их. Он честно пытался читать, но не мог сосредоточиться, порою смысл написанного ускользал от него. Глаза его закрывались, он

засыпал. Тогда неслышно появлялся Пиркгеймер, забирал часть листов и уносил к себе домой, чтобы выполнить ту работу, для которой у его друга уже не хватало сил.

Дни мастера были сочтены. Хесс не скрывал этого от Вилибальда и не тешил его ложными надеждами. Да тот и сам понимал, что неотвратим день, прихода которого они все боялись...

Мастер открыл глаза. Увидел склонившееся над ним озабоченное лицо Хесса, перевел взгляд на стоявших поодаль Пиркгеймера и Андреа. И они все, как ему кажется, о чем-то его спрашивают. Да, да, он наконец понял. Что такое прекрасное? Они хотят услышать ответ на этот вопрос, пока он в состоянии говорить. Он кричит им — громко, так, чтобы они слышали все: он так и не постиг того, что есть истинно прекрасное, об этом, видимо, ведаёт лишь бог!

Крика не было, был лишь глухой протяжный стон. Хесс наклонился почти к лицу умирающего. Чего он хочет? Но Дюрер умолк, весь напрягся, словно к чему-то прислушиваясь...

Из глубины моих скорбен
К тебе, господь, взываю.
Слух приклони к мольбе моей,
Я в муках изнываю...

Хесс опустил его сухие, как пергамент, веки.

Это случилось 6 апреля 1528 года...

На звоннице церкви святого Зебальда ударил колокол. Тягостный звук поплыл над городом, натолкнулся на крепостные стены, эхом отдался в домах Нюрнберга. Колокол продолжал бить. Люди прислушивались, считали число ударов. Их было пятьдесят шесть... Но и без того весь город знал, что Великий Мастер умер.

8 апреля 1528 года Нюрнберг хоронил Альбрехта Дюрера.

Мастер не успел высказать каких-либо пожеланий относительно места последнего своего успокоения. Видимо, он предпочел бы лежать рядом с могилами отца и матери. Но власти города удовлетворяли прошение Агнес и распорядились иначе: Дюрера хоронили на кладбище святого Иоанна, в фамильном склепе Фреев. Ему не оказывалось особых почестей: как ремесленник он не имел на них права. Многочисленные друзья, сменяя

друг друга, несли гроб на руках. Молчание царило в окрестностях Нюрнберга. Лишь под ногами траурной процессии всхлипывала набухшая весенней влагой глинистая дорога.

Пиркгеймер шел вместе со всеми, низко опустив седую голову, с трудом вытаскивая искалеченные ноги из цепкой дорожной грязи. Невероятно трудно давался ему этот путь от церкви святого Зебальда мимо изваяний, созданных мастером Адамом Крафтом на темы страстей Христовых, к склепу семейства Фреев. Но он осилил его до конца.

У могилы Эобаний Хесс произнес прощальное слово. Говорил, давясь от слез. Не на его глазах прошел жизненный путь Дюрера и не был он свидетелем его вознесения к славе. Но не менее тех, кто знал живописца с детства, скорбит он о кончине замечательного человека и непревзойденного мастера. Уйдя в вечность, обрел Дюрер бессмертие, и Лета будет не в силах поглотить его имя. Обратился Хесс и к художникам, чей долг — продолжать дело Дюрера: пусть запечатлеют они в сердцах и памяти своей облик Великого Мастера, прежде чем земля скроет его навсегда! Им, живущим, останется лишь его посмертная маска и его бессмертное имя...

Только здесь спохватились, что именно маски и не останется — в предпохоронной суматохе ее забыли снять...

Пиркгеймер и с кладбища святого Иоанна возвращался пешком. Скорбь уняла боль, во всяком случае, он ее не чувствовал. Погруженный в тяжкие мысли, он волочил свое грузное тело к городу, не обращая внимания на других участников похорон, обгонявших его и предлагавших свою помощь. Он не замечал их, как не замечал и собственного слугу, который в двух шагах от него вел оседланного коня.

Вилибальд добрался до городских ворот и, окончательно обессилив, опустился на каменную скамью. Не раз сидели они здесь вместе с Альбрехтом, наблюдая за состязаниями городских лучников. Свежая весенняя зелень весело и дерзко протягивала апрельскому солнцу первые неприхотливые цветы. Проклюнулись листочки на ветвях склонившейся над ним ольхи. И тут почему-то пришло на ум, что он ни разу не видел и на дюреровских рисунках и гравюрах изображения зимы. Там всегда буйствовала весна, дышало зноем пышное лето. Дюрер не любил снега и холода. Мастера теперь нет, уже никогда не будет, но останется жить и цвести та земля, которую он воспел в своих творениях...

Нет, не весь я умру, лучшая часть меня
Избежит похорон...

И тогда сама собой сложилась эпитафия, о которой Пиркгеймер думал все это время. Создать ее тоже было его долгом — долгом друга, оставшегося жить: «То, что было смертным в Альбрехте Дюрере, покоится под этим холмом. Он почил 6 апреля 1528 года». Эту надпись и высекут на могиле Великого Мастера.

На следующий день нюрнбергские живописцы и скульпторы всеми правдами и неправдами добились от городских властей разрешения вскрыть могилу Дюрера, чтобы снять с него посмертную маску. Пиркгеймер отказался присутствовать на этой процедуре.

Изготавливая маску, мастера срезали с головы Дюрера волосы и разделили между собою. Одна прядь была отправлена Гансу Бальдунгу Грину в соответствии с устным завещанием его учителя...

ЭПИЛОГ,

в котором рассказывается о некоторых событиях, происшедших после смерти Альбрехта Дюрера, но имевших к нему отношение, и о дальнейшей судьбе некоторых лиц, близких ему.

31 октября 1528 года книга Альбрехта Дюрера вышла в свет. К ней была приложена элегия Пиркгеймера на латинском языке, в которой он оплакивал смерть друга. Скорбь искренняя, неподдельная звучала в каждой ее строчке. По всеобщему мнению, в этом стихотворении Пиркгеймер превзошел самого себя — лучшего он не создавал до сих пор и уже не создаст, ибо после смерти Дюрера Вилибальд прекратил служение музам. К книге прилагалось также уведомление городских властей Нюрнберга о том, что согласно воле императора Карла V в течение десяти лет ни один труд живописца не может быть издан без согласия его супруги Агнес Дюрер. Ей также предоставлялось единоличное право пользоваться доходами с этих изданий.

Пиркгеймер так и не приступил к переводу труда Альбрехта Дюрера на латинский язык, ибо распоряжение властей о праве наследования Агнес фактически лишало его возможности когда-либо опубликовать свой перевод. Агнес ни за что не позволила бы ему это сделать. Однако Камерарий проявил большее упорство — начатый им перевод был доведен до конца. Он перевел бы и издал и другие трактаты, как и оставшиеся после мастера записи, но на все просьбы предоставить возможность ознакомиться с ними вдова Дюрера ответила решительным отказом. Любые доводы, что в этих бумагах может содержаться много полезного и поучительного не только для современников, но и для потомков, натолкнулись на глухую стену. Агнес просила передать: бумаги ее покойного супруга принадлежат ей одной, и только она одна вправе решать, есть ли в них что-либо полезное и поучительное. Более того, по совету «доброхотов», которые теперь увивались вокруг богатой вдовы, она не разрешила печатать также и латинский перевод книги ее супруга: с его публикации она не получала никаких доходов, а теряла много, ибо кто станет читать немецкий оригинал, если существует текст на латинском языке, понятном всей Европе. Не найдя издателя в Германии, Камерарий напечатал в 1532 году свой труд в Париже — слава богу, императорская воля не была законом для французского короля. Узнав об этом, Агнес добилась того, что в том же году Андреа спешно отпечатал вторую

латинскую версию труда Дюрера, которая и сбывалась в немецких землях.

Если бы Андреа не чтит память Дюрера и не старался бы способствовать распространению его трудов, хотя за это ему почти ничего не выпадало от Агнес, то он бы отказался перебегать дорогу Камерарию. С Дюрершей Андреа избегал споров после того, как стычка с ней летом 1528 года чуть было не привела его снова в «дыры» под городской ратушей. Вместе с Зебальдом Бегамом он собрался издать труд о пропорциях лошади на основе дюреровской рукописи. История того, как она оказалась собственностью Бегама, была туманна, и теперь, после смерти учителя Зебальда, ее невозможно было прояснить. Во всяком случае, некоторые члены совета пришли к единодушному убеждению, что Бегам похитил рукопись у Дюрера, когда отправлялся в изгнание. Уверен был в этом и Пиркгеймер. Агнес не стоило и спрашивать — для нее Зебальд оставался безбожником, от которого, кроме пакости, ничего иного ждать не приходилось.

22 июля 1528 года совет Нюрнберга принял решение, запрещавшее Андреа печатать книгу Бегама, пока не выйдет в свет труд Дюрера. Тогда не кончились те времена, когда не на всякое решение городских властей следовало обращать внимание. Андреа и Бегам его игнорировали — в августе книга была отпечатана. Однако Бегам не успел забрать ее из типографии — его опередила городская стража, которая конфисковала весь тираж. После этого стражники направились к дому, где проживал Зебальд, имея на руках предписание арестовать его за неповиновение. Дом был пуст — Зебальд предпочел бежать. Он возвратился лишь через год, чтобы распродать оставшееся имущество, и после этого навсегда покинул Нюрнберг.

Судьба рукописей и рисунков Альбрехта Дюрера волновала его друзей. Но двери дома мастера после его смерти навсегда закрылись для них. Неоднократно они пытались найти подходы к Агнес, ибо до них доходили слухи, что вдова Дюрера уничтожает какие-то бумаги покойного. Пиркгеймер не раз предлагал Агнес огромную сумму за рукописи умершего друга, надеясь, что деньги в конце концов соблазнят эту «мегеру» — иначе он ее теперь и не называл, — по ненависть пересилила жадность. Подставные лица, посланные им в дом Дюрерши, возвращались ни с чем — им тоже указывали на дверь. Ненависть обострила нюх Агнес. Она безошибочно угадывала среди покупателей помощников Вилибальда. Да что там рукописи! Агнес отказалась продать Пиркгеймеру даже какие-либо вещи, принадлежавшие Дюреру. Для Пиркгеймера они были дороги как память о друге.

Вилибальд отомстил Агнес по-своему. В письмах друзьям он не уставал изливать свой гнев на вдову Дюрера. В них представлял облик Агнес как наиглупейшей бабы, помешавшейся на деньгах, сварливой и злой. Пиркгеймер прямо писал, что именно она ускорила смерть Дюрера, отравляя его последние дни бранью по всякому поводу и заставляя его работать ради денег даже тогда, когда силы мастера были подорваны болезнью. Письма Пиркгеймера сохранились. Из всех людей, близко знавших супругов Дюрер, только он один оставил несколько слов об Агнес. И потомки уже не в состоянии увидеть ее иной, чем она представлялась Пиркгеймеру.

Вилибальд пережил своего друга Альбрехта только на два года. Болезнь, подозрительность, а к тому же и последовавшая вскоре таинственная смерть любимой дочери окончательно превратили его в желчного старика, раздражавшегося по малейшему пустяку. Он повсюду видел сговоры и заговоры. Остаток дней он провел без друзей, не веря никому и ничему. Повсюду ему мерещились отравители и наемные убийцы.

Лазарус Шпенглер умер спустя шесть лет после смерти Дюрера. Мастер был свидетелем начала заката его карьеры. Его все больше оттесняли от городских дел, и наконец Лазарус счел за благо вообще удалиться от них. В последние годы жизни Шпенглер всецело посвятил себя нюрнбергской гимназии, созданной по его инициативе и благодаря его настойчивости. Правда, он отказался и от руководства ею, и от преподавания там, однако, коль скоро речь заходила о ее нуждах, отдавал ей и все свои силы, и все деньги.

Незадолго до истечения десятилетней привилегии Карла V, выданной Агнес Дюрер на издание произведений ее мужа, она пригласила к себе в дом теолога и математика Томаса Венатория, чтобы тот посмотрел: нет ли среди оставшихся бумаг ее покойного мужа каких-либо пригодных к публикации. Кроме того, Агнес намеревалась переиздать учение об измерениях. Венаторий нашел рукописное наследие мастера в образцовом порядке, но среди бумаг не обнаружил ни одного письма, полученного мастером от друзей, живописцев и просто хороших знакомых. Не осталось даже клочка бумаги, рассказывающего о поездках Дюрера в Венецию. Бережно сохранялся лишь дневник его путешествий в Нидерланды, однако Венаторий не счел его пригодным для опубликования. Посмотрел теолог и рисунки Дюрера, среди которых не оказалось ни одного с изображением обнаженной натуры.

Венаторий добросовестно отнесся к поручению. Готовя второе издание книги Дюрера, он тщательно учел все исправления, сделанные мастером

накануне смерти. Ученый Томас дополнил ее найденным им описанием и изображениями двух приборов для упрощения процесса рисования. В свое время Дюрер не стал их публиковать, полагая, что и они сами, и принцип их действия хорошо известны живописцам. Книга вышла в свет в 1538 году. Венаторий не остановился на этом: среди бумаг Дюрера он обнаружил рукопись Альберти о живописи. Он купил ее у Агнес и спустя два года издал в Базеле.

Уничтожение архива Дюрера, предпринятое по совету святош, окружавших Агнес в последние годы ее жизни, служило цели, которую она всегда ставила перед собою, — превратить живой образ своего супруга в благостную личину добропорядочного набожного ремесленника. В какой-то мере вдове мастера и ее окружению удалось это: постепенно мерк образ живописца Дюрера с его неумейной жаждой жизни и знаний, ищущего и заблуждающегося человека, умевшего работать до кровавых мозолей, но не чуравшегося веселых застолий и бесед с друзьями в тесном кругу. Возникал образ другого Дюрера — глубоко религиозного человека, презиравшего все плотские наслаждения, раскаявшегося в конце жизни в своих «заблуждениях» и умершего в лоне католической церкви. Именно в этом смысле стали толковать его надписи на «Апостолах».

Агнес Дюрер умерла 28 декабря 1539 года. Страх перед бедностью, который отравил всю жизнь не только ей самой, но и ее мужу, оказался беспочвенным. Хотя сразу же после смерти Дюрера совет урезал проценты с предоставленного мастеру городом займа «вечных денег» до сорока гульденов, Агнес никогда не нуждалась в деньгах для удовлетворения не только своих потребностей, но и своих прихотей. Наследовал ей брат Дюрера — неудавшийся золотых дел мастер Эндрес. Все перешло к нему, кроме «вечных денег». Агнес распорядилась обратить их в фонд, из которого выплачивались стипендии студентам-теологам. За это они обязывались замаливать перед богом грехи мастера Дюрера. В глазах Агнес супруг так и остался великим грешником.

«Апостолы» Дюрера украшали зал ратуши в течение века. Даже в самые трудные годы Нюрнберг предпочитал расставаться со многими сокровищами, но только не с творениями своего великого сына. Он отказался продать их самому императору Рудольфу II, страстному поклоннику искусства Альбрехта Дюрера. Лишь спустя ровно сто лет с того дня, когда их согласно воле автора поместили в зале ратуши, Нюрнбергу все-таки пришлось уступить свое бесценное сокровище баварскому курфюрсту, владения которого сжимали имперский город кольцом. Получив картины, повелитель Баварии, чтобы утешить горе

нюрнбергских граждан, приказал отправить им точные копии «Апостолов», а заодно и возвратить отпиленные от досок надписи-«предостережения», так как усмотрел в них порицание католической веры и поругание апостольского престола...

Спор о Дюрере продолжался. Остался ли он перед смертью лютеранином или же вернулся к католицизму? Обладали ли он силой воображения, фантазией или же просто старался отобразить окружающий мир? Много ли дают его книги художникам, или же это скорее всего пособие по математике? И так далее и тому подобное.

Но Дюрер остался Дюрером. Гигантом немецкого Возрождения, человеком новой эпохи. Об этом сказал его соотечественник Ф. Энгельс — о том времени и о нем самом:

«Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености. Люди, основавшие современное господство буржуазии, были всем чем угодно, но только не людьми буржуазно-ограниченными. Тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества... Альбрехт Дюрер был живописцем, гравером, скульптором, архитектором и, кроме того, изобрел систему фортификации, содержащую в себе некоторые идеи, которые позднее были подхвачены Монталамбером и новейшим немецким учением о фортификации...»

1971 — 1982 гг.

Основные даты жизни и деятельности Альбрехта Дюрера

1471 г., 21 мая. — Рождение Альбрехта Дюрера в семье золотых дел мастера Альбрехта Дюрера и Барбары Хольпер.

1481—1482 гг. — Обучение в общественной латинской школе при церкви святого Лоренца в Нюрнберге.

1483—1486 гг. — Работа в мастерской отца в качестве ученика.

1484 г. — Первый дошедший до нас автопортрет Дюрера (рисунок серебряным карандашом).

1486 г., 30 ноября. — Начало учения в мастерской известного нюрнбергского живописца Михаэля Вольгемута. Участие в иллюстрировании «Всемирной хроники» Г. Шедля (издана в 1493 г.).

1489 г. — Окончание учения у Вольгемута. Работа в мастерской отца. Портрет отца.

1490 г., 11 апреля — 1494 г., 18 мая. Странствования в качестве подмастерья. Посещение Нидерландов. Посещение братьев известного живописца Мартина Шопгауэра в Кольмаре. Пребывание в Базеле. Иллюстрирование комедий Теренция, «Корабля дураков» С. Брандта, «Турнского рыцаря». «Автопортрет с чертополохом». Посещение Страсбурга.

1494 г., 7 июля. — Женитьба на Агнес Фрей.

1494 г., осень — 1495 г., весна. — Пребывание в Венеции. Знакомство с Джентиле и Джованни Беллини и Якобо Барбари. Поездка в Павию. Начало дружбы с Вилибальдом Пиркгеймером.

1495 г. — Открытие собственной мастерской в доме отца.

1496 г. — Совместная с М. Вольгемутом работа над росписью дома Шрайера. Первый заказ курфюрста Фридриха Мудрого.

1497 г. — Гравюры «Четыре ведьмы», «Сон доктора» и др. Появление монограммы АД.

1498 г. — Портреты Тухеров и Освальта Креля. Начало работы над серией гравюр по дереву «Страсти Христовы». Издание «Апокалипсиса».

1500 г. — «Автопортрет в шубе». Приезд Барбари в Нюрнберг (20 апреля). Начало работы над учением о пропорциях.

1501 г. — Начало работы над серией гравюр «Жизнь Марии».

1502 г., 20 сентября. — Смерть отца.

1504 г. — Моделирование человеческого тела из геометрических фигур. Гравюра «Адам и Ева». Продолжение работы над «Жизнью Марии» (завершена в 1510 г.).

1505 г., поздняя осень — 1507 г., февраль. — Второе путешествие в Италию. Работа в Венеции над «Праздником четок». Портрет неизвестной «Венецианки». Знакомство с Тицианом. Отклонение предложения Синьории остаться в Венеции. Поездка «ради тайн божественной перспективы» в Болонью, Милан и Рим. Встреча с Лукой Пачоли.

1507 г. — 1508 г. — «Мученичество десяти тысяч христиан». «Адам» и «Ева». Выкуп отцовского дома. Завершение наумгартнеровского алтаря.

1509 г., август. — Геллеров алтарь.

1509 г. — Начало работы над серией гравюр по меди «Страсти Христовы». Назначение членом Большого совета Нюрнберга. Покупка собственного дома у Тиргэртнертор (14 мая).

1511 г. — Издание «Страстей Христовых» (гравюры по дереву и по меди), «Жизни Марии» и второе издание «Апокалипсиса». Алтарь «Поклонение всех святых» для Ландауэра.

1512 г. — Работа над портретами Карла Великого и Сигизмунда для «камеры реликвий». Встреча с Максимилианом I и получение от него первого заказа. Продолжение работы над учением о пропорциях. Покупка загородного участка у «Семи крестов».

1513 г. — Гравюра «Рыцарь, смерть и дьявол».

1514 г., 16 мая — Смерть матери. Гравюры — «Меланхолия» и «Св. Иероним в келье».

1515 г. — Работа над заказами Максимилиана I. «Триумфальная арка», «Молитвенник братства св. Георга». Мандат Максимилиана на выплату Дюреру ежегодного жалованья в размере ста гульденов (6 сентября).

1516 г. — Портрет Михаэля Вольгемута.

1517 г., осень. — Пребывание Дюрера в Бамберге. Знакомство с «95 тезисами» Лютера.

1518 г., лето. — Пребывание в Аугсбурге на рейхстаге в составе нюрнбергской делегации. Портреты Максимилиана и фуггера.

1519 г. — Смерть Максимилиана I. Смерть Леонардо да Винчи и Михаэля Вольгемута. Участие в составе нюрнбергской делегации в переговорах со швейцарскими кантонами. Встреча с Цвингли. Начало серьезного изучения трудов Лютера.

1520 г., июль — 1521 г., август. — Поездка в Нидерланды с целью получения подтверждения мандата на императорское жалованье у Карла V. Знакомство в Антверпене с большим кругом живописцев и выдающихся

личностей, в том числе с философом-гуманистом Эразмом Роттердамским. 23 октября — присутствие на коронации Карла V в Ахене. 12 ноября — получение подтверждения мандата Максимилиана. По возвращении в Антверпен продолжение знакомства с произведениями нидерландских живописцев. Множество рисунков. Ведение дневника. Отклонение предложения города Антверпена поселиться в нем. Возвращение на родину.

1522 г. — 1523 г. — Рейхстаг в Нюрнберге. Гравюры с портретами Варнбюлера, Фридриха Мудрого, Альбрехта Бранденбургского, Вилибальда Пиркгеймера. Гравюра «Тайная вечеря»

1524 г., осень — 1525 г., зима. — Преследование властями Нюрнберга «безбожников-живописцев» — сторонников Томаса Мюнцера, в числе которых друзья и ученики Дюрера. Начало работы над «Четырьмя апостолами».

1525 г. — Выход в свет «Руководства к измерениям» с гравюрой «Крестьянская виктория».

1526 г. — Портреты-гравюры Ф. Меланхтона и Эразма Роттердамского. Преподнесение в дар совету Нюрнберга «Четырех апостолов».

1527 г. — Работа над «Четырьмя книгами о пропорциях». Издание книги «Наставление к укреплению городов». Тяжелая болезнь.

1528 г., 6 апреля. — Смерть Альбрехта Дюрера. 8 апреля — похороны на кладбище святого Иоанна.

1528 г., 31 октября. — Выход в свет «Четырех книг о пропорциях» с посвящением Вилибальду Пиркгеймеру.

Примечания

Рунка — разновидность копья, помимо главного наконечника, имеющего несколько боковых отростков.

Дословно — «мастер-певец».

Квинтал — Старинная мора веса (приблизительно 50 кг).

Клафтер — старонемецкая сажень (приблизительно 180 см).

«К зеркалу» (нем.)